

174139718

63.3 (УУК)

М 36

Нестор Махно

ВОСПОМИНАНИЯ

Книга 2-3

Париж
1936-1937

63.3(2)612
M36

НЕСТОР МАХНО

КНИГА II

**ПОД УДАРАМИ
КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ**

(АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 1918 г.)

Под редакцией, с предисловием и примечаниями
Тов. ВОЛИНА

M 139718

✓
✓
Э

Издание
Комитета Н. МАХНО
Париж

1936

Запорізька обласна
бібліотека
ім. О. М. Гетьманського

ПЕРЕВІРЕНО

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Я очень сожалею о том, что личный конфликт с Нестором Махно помешал мне проредактировать первый том его воспоминаний, вышедший еще при жизни автора. Отсутствие опытной редакторской руки отразилось неблагоприятно на этой первой книжке. А так-как и самое содержание ее не представляет еще исключительного интереса, то неудивительно, что появление этой первой части записок Махно вызвало некоторое разочарование.

Незадолго до смерти Н. Махно, мои личные отношения с ним несколько наладились. Я подумывал предложить ему проредактировать, при его участии, дальнейшие воспоминания. Его смерть помешала осуществлению этого замысла.

После смерти Махно, товарищи, заинтересованные в опубликовании продолжения записок, поручили мне проредактировать их, а также снабдить пояснительным предисловием и некоторыми необходимыми примечаниями к тексту. (Примечания эти читатель найдет в конце книги).

*
* *
*

Считаю необходимым, прежде всего, отметить, что моя редакторская задача сводилась исключительно к приданию запискам Махно минимально литературной формы. Я не только не делал в тексте никаких изменений, которые могли бы хоть отдаленно повлиять на смысл, но больше того: насколько это было возможно, я сохранял нетронутым и самый стиль подлинника, своеобразный и местами очень красочный. Внесенные в текст исправления имели в виду исключительно удобочитаемость книги. Для непо-

священного читателя добавлю, что Н. Махно обладал лишь элементарным образованием, а литературным языком не владел и в малой степени (что, впрочем, — как уже сказано, — не мешало ему иметь собственный характерный „стиль“). Местами, — в особенности там, где он увлекается пространными теоретическими рассуждениями, — его рукопись становится синтаксически безграмотной. Гораздо лучше удаются ему описания живых событий. Страницы, посвященные живому рассказу о таких событиях, могут оставаться почти нетронутыми.

* * *

По своему содержанию, настоящая, II-я книга воспоминаний интереснее первой. Наблюдения Махно во время его поездки через всю Россию летом 1918 г., его встречи и разговоры, его размышления, огорчения, разочарования и, наконец, его окончательное решение — посвятить себя целиком организации крестьянского восстания на Украине для борьбы за новый, безвластный общественный строй — все это чрезвычайно характерно и ярко. Пребывание Махно в Москве, его беседы с Лениным и Кропоткиным — описаны очень живо. Читатель отчетливо видит постепенное нарастание основной идеи Махно. Приближаясь к концу книги, мы превосходно понимаем психологию автора. Перед нами встает яркий образ человека, целиком и бесповоротно преданного своей идее. Конец книги исполнен большой душевной напряженности.

* * *

Настоящий, II-й том воспоминаний Махно доведен до конца июня 1918 г. Автор останавливается как-раз в преддверии того огромного крестьянского восстания, главным вдохновителем и организатором которого он делается после июля. Следующий, III-й том („Украинская революция“), доведенный до конца 1918 г., еще более интересен и значителен. Он дает полное представление о первой, подготовительной стадии движения „махновщины“. Он выйдет в свет непосредственно за II-м томом.

К сожалению, на III-м томе записки Махно обрываются. Болезнь и смерть помешали ему довести работу до конца. Потеря невознаграждаемая, так-как никто, лучше его самого, не мог бы рассказать о движении.

Написанные им три книги дают, однако, достаточное понятие, во-первых, о личной роли и о психологии Махно, а, во-вторых, о как-раз наименее известном периоде „махновщины“: о ее первых шагах и первых успехах. Начиная с 1919-го года, движение лучше известно. Прежде всего, имеется книга П. Аршинова: „История махновского движения“, вышедшая в 1923 г. и ведущая последовательный рассказ, начиная именно с 1919-го года. Затем, живы некоторые участники событий 1919–1921 гг., способные подробно о них рассказать. Наконец, существуют, несомненно, и многочисленные документы, хотя они, в данное время, и рассеяны по частным рукам.

Надо сознаться, что, сравнительно с необычайным размером и значением самого „махновского“ движения, литература о нем до сих пор чрезвычайно бедна, что объясняется наличием целого ряда серьезных помех и препятствий. Некоторые товарищи намерены в ближайшем будущем продолжать историю движения и довести ее до конца. В этих целях было бы очень желательно, чтобы лица, имеющие на руках интересные материалы (воззвания, приказы, комплекты газет, брошюры, фотографии, протоколы и т. д.), предоставили их, в оригинале или в копии, в распоряжение существующей в Париже Комиссии по собиранию и изданию всего, касающегося махновского движения и имеющего общественный интерес. Переписку по этому поводу, равно как и самые материалы, следует направлять заказными пакетами по адресу: Librairie Franssen, 11, rue de Cluny, Paris(5), France, с припиской: Pour Commission Makhno. По желанию, использованные материалы могут быть возвращены обратно владельцам.

* * *

Я не нахожу ни нужным, ни возможным давать в большом предисловии критическую оценку махновщины или же взглядов Н. Махно. Кой-какие замечания, касающиеся некоторых его суждений в настоящей работе, чита-

тель найдет в примечаниях к соответственным главам, в конце книги. Что же касается критического очерка движения, то я предполагаю в ближайшем будущем выпустить небольшую работу, посвященную оценке движения и вытекающим из него — для анархистов и для интересующихся народными движениями — урокам.

Волин

Июль, 1936 г.
Париж.

Глава I.

НА ПУТИ ОТСТУПЛЕНИЯ.

В апреле месяце 1918 г. я вызван был в штаб Егорова — штаб красногвардейских войск. В указанном мне месте штаба, однако, уже не оказалось: он отступил под натиском немецко-австрийских войск, и где остановился, пока не было известно. За время, что я ездил по линиям железных дорог, в Гуляй-Поле произошли крупные перемены. Оно было занято врагами революции — германо-австро-венгерскими экспедиционными частями и их проводниками, отрядами Украинской Центральной Рады.

Красноармейские и красногвардейские отряды бегут. За ними бегут и другой формации революционные отряды. Бежит местами и население, к злорадному удовольствию врагов.

Весть о занятии Гуляй-Поля застала меня на станции Царево-Константиновка и потрясла. А бегство революционных сил я видел сам. Тяжело было смотреть на это бегство. Что-то непонятное, тяжелое сдавило мне сердце и лишало меня возможности яснее представить все то, что произошло там, в Гуляй-Поле, за мою двух-дневную отлучку из него. Все совершившееся настолько потрясло и сковало меня, что я оказался совершенно не в состоянии противопоставить свои физические силы этой тяжести. Тут же, на станции, я прилег, положив голову на колени одного из красногвардейцев, и бессознательно выкрикивал:

— Нет, нет, я этой изменнической роли шовинистов не забуду! Может быть и стыдно революционеру анархисту питать в себе мысли о мести, но они поселились во мне, и я сделаю из них для дальнейшей своей революционной деятельности необходимые выводы...

Об этом мне красноармейцы рассказали впоследствии. Говорили они еще, что я заплакал и уснул в вагоне, на

коленях все того же красногвардейца. Однако я этого не помню.

Мне казалось, что я не спал и лишь чувствовал себя в какой-то тревоге. Это чувство было тяжело, но я мог ходить, говорить. Помню, что я никак не мог сообразить, где я... Лишь когда я вылез из вагона и увидел, что все еще нахожусь на станции Царево-Константиновка, я извинился перед окружающими меня красногвардейцами и направился к вокзалу.

По дороге я встретился с несколькими товарищами и своим братом Саввой Махно, бежавшим из Гуляй-Поля. Это свидание меня обрадовало. Я набросился на них с расспросами о том, при каких обстоятельствах было сдано Гуляй-Поле, какие жертвы понесли отряд анархистов и другие революционные организации.

Но товарищи, увидев меня полубольным, нервным, уклонились отвечать подробно, ограничиваясь самыми краткими фразами, вроде: „Гуляй-Поле сдано, но не все в нем погибли”, и т. п.

Это меня очень бесило, но делать было нечего. Я не мог принудить их рассказать мне подробности, так-как знал, что все воинские поезда были на отходе, и нам нужно было успеть найти в одном из них себе место. Я сказал об этом брату, и он нашел нам места.

Через 5–10 минут мы сидели уже в одном из красногвардейских вагонов и обсуждали, во всей широте и со всей ясностью, создавшееся для революции положение на Украине. Это обсуждение не могло бы быть для нас полным, если бы оно велось вне связи с Гуляй-Подем, с его широким и просторным районом, с той колоссальной работой, какую нам, живя, растя и развивая в нем свои идеи, уже пришлось проделать на пути революционного действия.

Да и сама тема связывала нас с Гуляй-Подем. Занятие врагами этого пункта уносило нас туда, к нашим упущениям в деле организации „вольных батальонов” революции против контр-революции, несшейся на штыках грозных экспедиционных немецко-австро-венгерских армий и жалких по своей боеспособности, но подлых по своим делам, отрядов их прислужницы – Украинской Центральной Рады.

Упущения эти заключались в том, что, при формирова-

нии „вольных батальонов”, нами было допущено свободное вступление в них всякого желавшего, без какой бы то ни было проверки. Это привело в ряды „вольных батальонов” сторонников Украинской Центральной Рады и ее преступного против революции союза с немецким и австро-венгерским правительствами. Правда, лично я в этом упущении не находил большого зла. Большое зло видел я в совершенно другом упущении, как со стороны Революционного Комитета, так и с нашей стороны: упущении, которое помогло пяти-шести сознательным подлецам сыграть на руку немецко-австро-венгерскому командованию и Украинской Центр. Раде в деле занятия Гуляй-Поля без боя и, затем, в осуществлении расправы над многими тружениками. Упущение это заключалось, по-моему, в слишком поспешной и стратегически неразумной (хотя, морально и тактически, по отношению к остальным отрядам, оправдываемой) высылке из Гуляй-Поля на фронт отряда анархистов-коммунистов. Отряд этот нужно было держать в Гуляй-Поле, в непосредственном ведении Революционного Комитета и секретариата группы анархо-коммунистов, до тех пор, пока другие вооруженные революционные части находились здесь же. Лишь в момент общего выступления вооруженных сил на революционный фронт надо было вывести и отряд анархистов, выдвинув его в авангард. В самом деле, очевидцы происшедших в мое отсутствие Гуляй-Польских событий мне рассказали, что арестом Революционного Комитета, членов Совета Рабочих и Крест. Деп. и секретаря группы руководили пять человек, пользуясь в кое-каких случаях поддельными документами, а также вооруженной силой „еврейской роты”, неустойчивой, в массе своей склонной приспособляться. Находился отряд анархистов в то время в Гуляй-Поле (пусть даже в мое отсутствие), заговорщики ни за что не решились бы заменить вне очереди одну дежурную по гарнизону роту другою, именно – „еврейскою”. Командир этой роты, не еврей, склонен был, особенно в тревожное время, ориентироваться в сторону сильных. Он, с помощью самих заговорщиков и при молчаливом подчинении роты, произвел нападение на Революционный Комитет и арестовал его, а затем пустил роту на поимку отдельных членов Совета, стариков-крестьян и рабочих анархо-коммунистов...

Будь отряд анархо-коммунистов в это время не на фронте против экспедиционных армий и отрядов Украинской Центр. Рады, а в Гуляй-Поле, он не допустил бы агентов командования этих армий и отрядов организовать вооруженное нападение на Революционный Комитет и сорвать его работу в деле организации фронта против контр-революции. К сожалению, все то, о чем мы говорили, свершилось. Помню, я говорил тогда своим товарищам: — Теперь в Гуляй-Поле, да и во всем его районе, можно ожидать со стороны крестьян и рабочих крайне нежелательной для дела Революции, недостойной ненависти к евреям вообще. Сознательные и бессознательные враги революции могут эту ненависть использовать, как они захотят. И мы, так много потрудившиеся над тем, чтобы убедить тружеников не евреев, что еврейские рабочие им братья, что их необходимо втянуть в дело общего социально-общественного строительства на равных и свободных началах, — мы можем очутиться перед фактом еврейских погромов. Об этом мы должны тоже подумать, и подумать серьезно...

— Совершенно верно, ненависть крестьян и рабочих к евреям сейчас сильная, — отвечали мне друзья: — но не мы виноваты в этом... Евреи никогда в Гуляй-Поле не были изолированы от общественной жизни не-еврейского населения. И лишь акты еврейской роты 15—16 апреля поставили не еврейское население на путь ненависти к евреям. Покидая Гуляй-Поле, мы не можем не видеть, что в нем появился дух антисемитизма... Но что сделаешь, мы бессильны теперь бороться с ним. Наши силы все в подполье и, в значительной степени, из-за действий еврейской роты...

— Вот в том-то и дело, — настаивал я, — что с торжеством контр-революции, и благодаря глупой выходке еврейской молодежи, над Гуляй-Подем веет дух антисемитизма. И наша прямая обязанность — не дать ему осесть, укрепиться в Гуляй-Поле. Гуляй-Поле — сердце нашей новой борьбы против контр-революции. Мы должны возвратиться в него, чего бы это нам, как группе революционеров-анархистов, не стоило. Находясь в Гуляй-Поле, мы сможем, — и это прямая наша обязанность, — предупредить зло, нашедшее себе место в гуще крестьян и рабочих, после действий еврейской роты... А предупредить его мы сможем тем, что своевременно раз'ясним революционным труженикам, кто

виноват в произведенных арестах... Если мы не проявим надлежащего действия в этой области нашей борьбы, то, помните мое слово, друзья, трудовое еврейское население будет избиваться...

— Ты совершенно прав, — отвечали мне друзья, — но мы здесь не при чем. Не из-за нас же все это совершится... Мы не оспариваем того, что нам об этом нужно подумать серьезнейшим образом, что нам придется против всего этого бороться... Но все это будет тогда, когда мы будем в Гуляй-Поле. Сейчас же мы должны подумать о том, где мы задержимся на временное жительство, чтобы собрать всех своих товарищей, которые будут пробираться к красному фронту и искать тебя...

Мы решили задержаться на некоторое время в г. Таганроге. Последний в это время являлся центром Украинского большевистско-лево-эсеровского правительства. Сюда сбегались со всех мест южной Украины агенты этого правительства. Сюда же отступали в большинстве своем красногвардейские отряды. Здесь, в г. Таганроге, одним из бегущих указывались маршруты дальнейшего перекочевывания, над другими производились аресты, насильственные разоружения и суды.

Итак, в г. Таганроге мы задержимся недельку-две. За это время с'едутся остальные наши товарищи. Здесь мы устроим конференцию, на которой и разрешим окончательно: какими путями и в каком порядке мы начнем возвращаться обратно в свои районы, для подпольной работы против восторжествовавшей контр-революции.

Тем временем, что мы обсуждали этот вопрос, эшелоны отряда Петренко получили распоряжение в спешном порядке покинуть железно-дорожный Цареконстантиновский узел и двигаться по направлению к Таганрогу, под которым красногвардейское командование группировало свои силы, с целью дать повторное генеральное сопротивление немцам и Центральной Раде.

Эшелоны тронулись... Тяжело и больно было расставаться с районом, среди населения которого мы так много работали. Однако, другого исхода не было. Расстаться с ним на время было необходимо не только физически, но и нравственно. Ведь только со стороны можно было теперь проверить все то, во что мы верим, с чем переплеталась ве-

ликая надежда, что торжество контр-революции не прочно: что пройдут месяцы, и Украинское революционное трудовое население, дезорганизованное сейчас, с одной стороны, большевистским Брестским договором, а с другой — гнусной, провокационной политикой немецко-мадяро-австрийского вассала — Украинской Центральной Рады, опомнится и поймет гнусную роль этих вершителей судеб его и Революции. Трудовое население организуется на сей раз самостоятельно, у себя на местах, и низвергнет своих палачей, без опеки провокаторов из лагеря социалистов-шовинистов...

Зная настроение тружеников деревни, с каким они готовились к неудавшейся своей борьбе против нашествия немецко-австро-венгерского юнкерства и банд Украинской Центральной Рады; зная и веря, что это настроение в них было естественным настроением, которое не может измениться только потому, что основанная на нем организация тружеников на первых порах потерпела тяжелые неудачи, я глубоко в себе питал надежду на возрождение этой организации и на новое воспитание, на сей раз более выдержанное в своей тактике и более сильное духом. И я, и мои друзья — Савва Махно, Степан Шепель, Ваня Х., которые были присланы ко мне навстречу из Гуляй-Поля, чтобы предупредить меня ни в коем случае не предпринимать попыток возвратиться нелегально в Гуляй-Поле, — все мы приняли живое участие в переоценке вчерашнего. Мы пришли к тому, чтобы поспешить как можно скорее собрать наших товарищей по группе в городе Таганроге и сообща наметить план организованного возвращения в Гуляй-Поле и его район, с целью продолжать в нем подпольную работу. Правда, мы сознавали всю опасность, которая грозила жизни каждого из нас, как в пути, так и на месте нашего возвращения. Но мы сознавали и то, что разгром немецко-украинской контр-революции, при лояльности к ней, в силу Брестского договора, со стороны русских большевиков, их „пролетарской революционной власти” и организованной этой властью военной силы, может осуществиться лишь в том случае, если планы его будут построены на внутренне содержательном революционном настроении трудовых масс, и притом настроены самими тружениками. И мы не останавливались ни перед чем в своем стремлении

снова очутиться в своих местностях, в рядах тружеников.

Но — повторяю — перед нами было задание предварительно собрать всех отступавших разными путями от контр-революции товарищей и сообща разработать и утвердить планы, как нашего возвращения в свои местности, так и нашей подпольной работы в них.

С этой целью, мой брат Савва Махно выехал из г. Таганрога в зону военно-революционного фронта, верстах в семидесяти от города, разыскивать товарищей и направлять их в Таганрог.

Я же пока связался с некоторыми членами федерации Таганрогских анархистов, а также с другими друзьями, и занялся нашумевшим в те дни в г. Таганроге делом командира одного из анархистских отрядов, тов. Марии Никифоровой.

Глава II.

РАЗОРУЖЕНИЕ ОТРЯДА МАРИИ НИКИФОРОВОЙ.

Как делали все большевистские красновардейские отряды, которые, спасаясь от ударов организованной силы немецко-австро-венгерских экспедиционных армий, находили возможным искать более или менее продолжительных передышек в глубоком тылу, на приличном расстоянии от линии боевого фронта, так поступали и многие анархистские отряды. В этом проявлялся тот дух разгильдяйства и безответственности, который многими, — о, как многими! — из революционеров молча чтился, в результате ли предательства революции в Бресте, — предательства, в котором виноваты и русские большевики, и украинские социалисты, — или в силу других причин, о которых говорить в данной главе я не считаю нужным. Но такое разгильдяйство и безответственность в рядах революционеров, борющихся против контр-революции за революцию, — было. Думаю, и даже убежден, что по причине этого отвратительно „духа”, я очутился в далеком от линии боевого фронта тылу, наряду со многими большевистско-лево-эсеровскими красновардейскими отрядами и анархистскими или, вер-

нее, анархистствующим отрядом анархистки Марии Никифоровой. Большевистско-лево-эсеровская власть, как и всякая власть, не могла простить отряду его окраску и, в связи с этим, придралась к его отступлению в тыл. Власть ведь ставила своей задачей использовать анархистов-революционеров в борьбе против контр-революции так, чтобы эти носители непримиримости духа Революции оставались на боевых фронтах до издыхания; а тут вдруг перед нею отряд, под командой анархистки, вместе с ее большевистскими отрядами, в тылу. Задачи власти дерзко нарушены, и она взялась за дело восстановления нарушенного. Время для этого черного ее дела было благоприятное: это ведь было время, когда Ленин и Троцкий разнуждались совершенно, разгромили анархические организации в Москве, об'явили поход против анархистов в других городах и селах. Левые социалисты-революционеры в центре этому не противились. Вот почему и украинская, большевистско-лево-эсеровская власть поспешила действовать против отряда анархистки Никифоровой, очутившегося вместе с их красногвардейскими отрядами в г. Таганроге.

Украинское правительство приказало своему, бежавшему с фронта, красногвардейскому отряду под командой большевика Каскина арестовать анархистку Марию Никифорову, а ее отряд разоружить. Солдаты Каскина арестовали анархистку Марию Никифорову на моих глазах, в здании УЦИК Советов. Когда ее выводили из этого здания в присутствии небезизвестного большевика Затонского, Мария Никифорова обратилась к нему за разъяснением – за что ее арестовывают? Затонский лицемерно отнекивался: „Не знаю, за что”. М. Никифорова назвала его подлым лицемером. Итак, М. Никифорову арестовали, а ее отряд разоружили.

Однако, отряд М. Никифоровой не разбрелся и не пошел на служение в отряд большевика Каскина. Он настойчиво требовал от власти имущих ответа, где они запрятали Марию Никифорову, и за что его разоружили.

К этому его требованию присоединились все отступившие из Украины в г. Таганрог и таганрогские анархисты. Таганрогский комитет партии левых социалистов-революционеров поддержал анархистов и бойцов отряда М. Никифоровой.

Я в спешном порядке дал, за своей и Марии Никифоровой подписью, телеграмму Главнокомандующему Украинским Красным фронтом – Антонову-Овсеенко, с запросом его мнения об отряде анархистки Марии Никифоровой и просьбой сделать распоряжение куда следует, чтобы освободить т. М. Никифорову, возвратить ее отряду оружие и указать участок боевого фронта, куда отряд должен отправиться по получении своего вооружения и снаряжения.

Главнокомандующий Антонов-Овсеенко на нашу телеграмму дал ответ властям, осевшим в г. Таганроге, с копией нам, по адресу федерации анархистов.

Телеграмма носила чисто-деловой характер опытного командира: „Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и т. Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того, чтоб заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их”. (Подпись).

В то же время много телеграмм, протестующих против поступка властей или просто сочувствующих М. Никифоровой и ее отряду, поступило в Таганрог с фронта, от зарекомендовавших себя в боях большевистских, лево-эсеровских и анархистских отрядов и их командиров.

Екатеринославский (Брянский) анархистский бронепоезд, под командой анархиста Гарина, прибыл в Таганрог, чтобы выразить свой революционный протест зарвавшимся, за спиной революционного фронта, властям.

Все это было не на-руку как тем, кто распорядился арестовать Марию Никифорову и обезоружить ее отряд, так и тем, кто выполнял это распоряжение. Такое положение дела побудило центральную власть, – власть, кочующую по тылам, – собрать ложные данные против Марии Никифоровой и ее отряда: данные, уличавшие ее яко-бы в разграблении Елисаветграда, когда она заняла его в марте 1918 г., выгнав из него украинских шовинистов. Таким образом ей создали уголовное дело.

Нужно сказать правду: большевики – хорошие мастера на измышление лжи и на всякие подлости против других. Они насобирали больше, чем нужно было, данных против Марии Никифоровой и ее отряда, и дело было создано.

В двадцатых числах апреля состоялся революционный суд над Марией Никифоровой. По партийности, суд представлялся двумя левыми социалистами-революционерами

таганрогской федерации, двумя большевиками-коммунистами таганрогской организации и одним большевиком-коммунистом от центральной большевистско-лево-эсеровской власти на Украине.

Суд происходил при открытых дверях и носил характер суда революционной чести. Здесь следует отметить, что левые социалисты-революционеры выявили себя настолько же беспристрастными по отношению к обвиняемой Никифоровой, насколько беспощадными в отношении обвинителей-агентов со стороны власти.

Центральная власть на вербовала из беглецов массу свидетелей против Никифоровой, стараясь всеми правдами и неправдами нацепить ей уголовное преступление и казнить. Но суд был по-истине революционный, беспристрастный и, главное, политически и юридически, в большинстве своем, совершенно независимый от провокации правительственных наемных агентов.

Суд использовал в качестве свидетелей многих из свободных посетителей зала заседаний, придав разбирательству этого дела чуть не характер трибуны, с которой можно было все говорить свободно.

Помню, как сегодня: одним из знавших Никифорову и ее отряд по фронту выступил перед судом тов. Гарин. Он в горячей речи сказал судьям и всем, присутствовавшим на суде гражданам, что он убежден в том, что *если т. Никифорова и сидит на скамье подсудимых сейчас, то только потому, что она видит в большинстве судей прямых революционеров и верит, что, выйдя из суда, она получит обратно свое и своего отряда оружие и пойдет сражаться против контр-революции. Если бы она в это не верила и предвидела бы, что революционный суд пойдет по стопам правительства и его провокаторов, то я об этом бы знал, и заявляю, сказал тов. Гарин, от имени всей команды бронепоезда, что мы освободили бы ее силою...*

Это заявление тов. Гарина возмутило революционных судей. Тем не менее, они ответили ему, что суд сформировался на началах полной независимости от власти и доведет дело до логического конца. Если тов. Мария Никифорова окажется виновной, она свое получит от тех, кто ее арестовал. Если данные против нее окажутся неверными, суд предпримет все меры к тому, чтобы Никифорова полу-

чила свое вооружение и снаряжение и выехала из Таганрога на фронт или куда она захочет...

В результате разбирательства, суд постановил, что осудить Никифорову за ограбление г. Елисаветграда нет никаких оснований. Суд постановил немедленно освободить ее из-под стражи и, возвратив ей и ее отряду отобранное отрядом Каскина вооружение и снаряжение, предоставить ей возможность составить себе эшелон и выехать на фронт, тем более, что она и отряд ее к этому стремятся.

На следующий день, т. Никифорова была уже в федерации таганрогских анархистов. Мы выпустили листовку за подписью Совета анархистов, которая изобличала Центральную Украинскую большевистскую власть и командира Каскина в фальсификации дела против Никифоровой и лицемерно подлом отношении к самой Революции. Листовка эта была написана лично мною и не одобрялась некоторыми из товарищей за ее резкость против Каскина.

Затем, пока отряд Никифоровой формировался, я, Никифорова и один товарищ из таганрогской федерации устроили от имени федерации ряд больших митингов: на Таганрогских кожевенных и металлургических заводах, в центре города, в театре „Аполло” и в других районах города. Тема митингов была: *„Защита Революции на фронте против экспедиционных контр-революционных, немецко-австро-венгерских армий и Укр. Центральной Рады, и в тылу — против реакции власти, которая сильна в тылу и беспоможна на фронте”*. Всюду, на афишах и на митингах, я выступал под псевдонимом „Скромный” (мой псевдоним на каторге). В этом вопросе на многих митингах нас поддерживали таганрогские левые эсеры. Мы имели колоссальный успех.

Помню, на один из митингов (на кожевенных заводах) приехали большевистские „знаменитости” Бубнов и Каскин, от эсеров „центра”. С каким разочарованием большевики принуждены были прекратить свои речи и кричать, топя ногами, на тысячные массы рабочих, когда массы кричали: *„Довольно засыпать нас вопросами! Мы просим тов. Скромного на трибуну, он вам ответит!...”*

Когда я ответил, главным образом, Бубнову (Каскину отвечала Никифорова), массы рабочих освистали Бубнова

и Каскина, крича: „Товарищ Скромный, гоните их с трибуны”.

После таганрогских митинговых выступлений, т. Никифорова занялась подготовлением своего отряда к выступлению на фронт.

Я же занялся подготовлением к конференции Гуляй-Польцев, которые по одиночке начали уже прибывать в г. Таганрог.

Глава III.

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ.

Как только мой брат Савва Махно добрался в условленные участки Красного фронта, он встретил там товарищей Алексея Марченко, Исидора (он же Петя) Лютого, Бориса Веретельника, С. Каретника и многих других. Всех их он направил по указанному адресу в г. Таганрог, а сам оставался некоторое время на фронте. Когда все разысканные нами товарищи съехались в Таганрог, мы назначили день нашей конференции, в Доме Федерации Таганрогских анархистов. Она состоялась в конце апреля 1918 года. Я открыл ее предложением всем присутствующим товарищам высказаться о том, какие мы сделали промахи в организации вольных батальонов и еще о том, замечал ли кто-нибудь заранее признаки того, что агенты Украинской Центральной Рады и немецкого командования решатся на арест Революционного Комитета, членов Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов и членов нашей группы вообще?

Общий обмен мнений привел нас к тем же выводам, какие я делал в разговорах с некоторыми товарищами еще в Царе-Константиновке, а именно: не вышли Революционный Комитет отряда группы анархистов-коммунистов на фронт, а держи его при себе со дня выступления всех боевых частей, заговор провокаторов не имел бы никакого успеха, даже если бы я отсутствовал из Гуляй-Поля. Еврейская рота не была бы вызвана, вне очереди, сменить преждевременно покончившую своего дежурства другую роту. Да и вообще, еврейская рота, при всей ее обывательской

склонности приспособляться к чему бы то ни было, не решилась бы выступить против Революционного Комитета в пользу немцев и Украинской Центральной Рады, если бы она знала, что в центре Гуляй-Поля расположены еще, кроме нее, другие вооруженные части. Но заговорщики убедили ее, что других частей в центре Гуляй-Поля нет, что она должна только начать дело, а завершать его будут немецкие полки и отряды Центральной Рады, которые, дескать, кругом одержали победу и находятся уже недалеко от Гуляй-Поля.

„Евреям-обывателям это было на руку, — говорили некоторые из моих друзей: — они ведь так ладки на прославление их, да еще кем! — высшим начальством завоевателей”... Немецко-австро-венгерское командование их действительно поблагодарило, равно как и главарей этого гнусного контр-революционного заговора.

Конечно, это правдивое освещение роли еврейской роты в заговоре было криком душевной боли тех, кто так много потрудился в борьбе против антисемитизма, и кого евреи не только арестовывали, идя рука-об-руку с антисемитами на это гнусное дело, но готовы были „охранять” до выступления в Гуляй-Поле немцев, австро-венгерцев и шовинистов — прямых погромщиков — украинцев, чтобы затем выдать их на казнь палачам. Заглушить эту душевную боль товарищей было невозможно, находясь в бездействии. У многих на конференции эта боль была так сильна, что некоторые плакали. Но никто, конечно, не помышлял о погромах, о мести евреям за это гнусное дело некоторых из них. Вообще, все те, кто называют махновцев погромщиками, лгут на них. Ибо никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархо-махновцы. Мои записки докажут это неопровержимыми фактами.

Видя, что душевная боль и настроение отчаяния, охватившие почти всех моих друзей, начинают все больше отодвигать на второй план дело обсуждения задач, в которых конференция наша должна была разобратся; сам начинал болеть той же болью, я употребил все свои усилия на то, чтобы преодолеть этот наплыв чувств, и снова поставил перед Конференцией один, основной вопрос: — Возвращаемся ли мы на Украину, в свои районы, или же мы остано-

вимся в каком-либо из городов России, и вот так, как сейчас, будем собираться и хныкать о том, что было, чего уже не вернуть и не исправить?

— Возвращаемся! Возвращаемся! Все возвращаемся!.. — посыпались, один за другим, совершенно бодрые голоса всех тех, кто, всего минуту назад, сидел на стуле, притаившись, как будто его нет в зале.

Затем, мы поставили перед собой еще три вопроса, которые и были разрешены нами в положительном смысле. Вот эти решения:

1. Мы возвращаемся в свой район нелегально и организуемся среди крестьян и рабочих инициативные группы по 5–10 человек, чисто боевого характера, чтобы через них втянуть широкое трудовое крестьянство в борьбу против немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и Украинской Центральной Рады, стараясь, в каждом случае общественного возмущения против этих контр-революционных завоевателей, быть в гуще этих возмущений, придавая им более определенный и решительный характер.

2. Возвращение всех нас в свой район не может быть одновременным; однако, первые же товарищи, очутившись в нем, должны ознаменовать свое благополучное возвращение организацией беспощадного индивидуального террора против командного состава немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной Рады, а также организацией коллективных крестьянских нападений на всех тех помещиков, которые, в дни земельного передела и отобрания у них излишнего живого и мертвого инвентаря, бежали из своих усадеб, а с нашествием экспедиционных армий и подсобных им отрядов Рады, возвратились снова в „свои“ усадьбы. В задачу крестьянских нападений на помещиков должно на первых порах входить уничтожение как самих помещиков, так и тех штабов помещицких карательных отрядов, которые (по заявлениям приезжающих оттуда крестьян) имеют в своем распоряжении особого рода отряды из регулярных немецко-австро-венгерских армий.

Целью этих контр-революционных штабов является руководство отобранием от крестьян земли, живого и мертвого инвентаря, шомполование, порка и расстрелы непокорных.

Целью нами намечаемых организованных крестьянских нападений на помещиков, на осевшие у них эти штабы и их отряды должно явиться: а) обезоруживание помещиков, их штабов и отрядов, б) конфискация их денежных средств, убийство тех из них, кто так или иначе причастен к шомполованию, порке и расстрелам крестьян и рабочих. Причем установлением их виновности в этих злодеяниях должен служить опрос крестьян тех сел и деревень, где эти господа устраивают свои самосуды, или содействуют немецко-австро-венгерскому командованию устраивать таковые.

3. Защита Революции требует вооружения и снаряжения. Эти средства трудящиеся должны добыть у своих врагов. Поэтому, возвращаясь в свой район с одной мыслью: умереть, или разбить фронт контр-революции и жить свободно, во имя нового свободного общества, — мы, все вместе, и каждый в отдельности, должны стремиться организовывать по селам, среди тружеников, вольные батальоны и подсобные им легкие боевые отряды, для внезапных нападений на расположения немецко-австро-венгерских войск и отрядов Рады, с целью обезоружения их, а в минуты жестокого сопротивления — просто, уничтожения.

Эти три простых пункта, выработанных нашей Таганрогской Конференцией для борьбы с теми, кто непрошено пришел на революционную территорию, насильственно осел на ней и казнит всех, кто только осмеливается выступать за свои права на независимую и свободную жизнь, — эти три пункта окончательно и прочно связали всех нас с мыслью о возвращении в Гуляй-Поле.

Разрабатывая детали осуществления этих положений, — детали, которые, как это можно было предвидеть, окажутся чрезвычайно важными в неравной борьбе, я, незаметно для самого себя, стал суровым вдохновителем всех окружавших меня в то время товарищей — на подвиг, который, как нам всем казалось, требовал от каждого из нас самопожертвования и сознания тяжелой ответственности на намеченном пути. Понимание всего этого вселяло в нас тревогу. Тем не менее, мы решили, во что бы то ни стало, напрямь все усилия для достижения цели и испробовать на этом пути свои силы.

Итак, мы возвращаемся в Гуляй-Поле, в его район. Возвращаемся затем, чтобы поднять восстание крестьян и

вместе с ними бороться и, если нужно, умереть в этой борьбе за Социальную Революцию, за расчистку необходимого для этой последней широкого пути, за возможность творческой, созидательной деятельности коммунистического анархизма.

Но как возвращаться? Группами или же одиночками?

Разрешить этот вопрос мы предоставили каждому из нас самостоятельно. Важно лишь, чтобы к концу июня, или в первых числах июля, мы все встретились в Гуляй-Поле, или возле него. Это – время полевых работ. Все крестьянство в поле: косит хлеба. Мы легко сможем с крестьянами встретаться. Говорить, о чем нужно. Узнавать их мнения, истинное настроение. Выбирать из них более стойких и преданных делу освобождения, объединять их, группируя из них авангард для всего Гуляй-Поля и его района. Мы знали, что только Гуляй-Поле может стать центром революционной инициативы в деле поднятия повсеместного восстания крестьян. Мы знали, что несмотря на провокаторский акт агентов немецкого командования и Центральной Рады в апреле месяце, население Гуляй-Поля и района верит в революционную инициативу Гуляй-Польцев. На долю Гуляй-Польцев ложится прямая обязанность восстать первыми и позаботиться о том, чтобы двинуть на этот путь все трудовое население других районов, ясно определив те цели, во имя которых это население должно на него вступить.

– Выработанные Конференцией положения в трех пунктах, – говорил я товарищам, – до некоторой степени уже приближают нас к определению перед трудовым населением тех целей, к которым оно может придти только через повсеместное восстание – восстание крайнего революционного напряжения, как по своей отважности, так и по своей непримиримости. Но положения эти только приближают нас к определению этих целей. Окончательно же мы определим эти цели вместе с трудящимися, на местах, в процессе развертывания, сообщая с ними, нашего прямого действия против контр-революции...

Затем товарищ Веретельник поднял вопрос о члене нашей группы, Льве Шнейдере, и его гнусной изменнической роли в момент Гуляй-Польских событий 15 – 16-го апреля.

Т. Веретельник осветил эту роль члена группы, как предательскую, и по отношению к группе, и по отношению к

идее анархизма. – „Лев Шнейдер, – сказал т. Веретельник, – растерялся ли он в эти дни, или же его революционность незаметно для него самого подменилась обывательской психологией, – так или иначе, он был на стороне тех, где сила... Но этого мало, – продолжал Веретельник: – Лев Шнейдер стал на сторону силы и внутренне: он не только был в рядах еврейской буржуазии, встречавшей немцев и хулиганов из отряда Украинской Центральной Рады с хлебом-солью, но и первый выступил перед контр-революционерами с речью на украинском языке, – контр-революционной речью, – и первый, среди гайдамахи, всколыхнул в бюро нашей группы; первый начал рвать наши знамена, рвать и топтать портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семеновы, которого, по его же заявлениям, он так любил... Вместе с шовинистским хулиганьем он разгромил групповую библиотеку, и это тогда, когда даже в рядах шовинистов были люди, которые тут же подбирали нашу литературу, книги, газеты, прокламации, и уносили к себе, а некоторые передавали потом нашим товарищам, что подобранная ими литература, когда угодно, может быть нам возвращена.

– И я, – волнуясь, заявил т. Веретельник, – я настаиваю на том, чтобы члены нашей группы, присутствующие на конференции, высказались определенно об изменнике Шнейдере. Роль его – провокаторская роль; и я считаю, что Лев Шнейдер должен быть убит за нее...

Все, что говорил тов. Веретельник о Шнейдере, товарищи подтвердили. На вопрос о том, как все мы, или каждый из нас в отдельности, должны поступить при встрече со Шнейдером, мы оставили открытым, считая, что окончательно вопрос этот разрешится в Гуляй-Поле, и всей группой. Сама конференция единогласно полагала, что вопрос может решиться только в смысле убийства Шнейдера.

Закончилась наша конференция предложением всем присутствовавшим на ней товарищам исползовать остающиеся полтора месяца на то, чтобы ознакомиться с положением крестьян и рабочих на Дону, поскольку это позволит военное положение и условия переезда через него. Решено было также посетить ряд больших городов в центре России: Москву, Петроград, Кронштадт, и др., и посерьезнее приглядеться к тому, что делают там, как большевистско-

лево-эсеровские власти, так и сами труженики, которые, хоть и много крови пролили и продолжают проливать в борьбе за новое свободное общество, но не закладывают (нам, крестьянам-анархистам, так казалось) истинного фундамента для этого общества, сами, непосредственно, своими руками, а отдают это прямое свое дело в руки новым властителям...

С этой целью, мы разбились по группам. Я и т. Веретельник решили посетить Москву, Петроград и Кронштадт. Мой брат, Савва Махно, тт. Степан Шепель, С. Каретник решили пойти на фронт, так как думали, сквозь фронт этого боевого участка, пробираться в Гуляй-Польский район.

Тт. Ваня „Степановский“, П. Краковский, Коростелев, А. Марченко, Исидор Лютый, Х. Горелик, Коляда решили тоже посетить Москву, а оттуда повернуть на Орел и Курск. В последнем городе они предполагали задержаться до тех пор, пока я и Веретельник возвратимся к ним, чтобы вместе пробираться на Украину через фронты, в Курско-Харьковском направлении.

Разъехались мы при общем твердом желании – в конце июня, не позже первых чисел июля, встретиться в своем Гуляй-Польском районе, чтобы ликвидировать засевшую в нем контр-революцию.

Глава IV.

ОТСТУПЛЕНИЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОММУН И ПОИСКИ ИХ.

В то время, когда мы с Веретельником покидали Таганрог, я получил сведение, что через Таганрог проследовали эшелоны, в которых отступали члены сельско-хозяйственных коммун, организованных в Гуляй-Польском районе нашей группой. (В первом томе своих записок я уже писал, что был членом одной из них и выполнял в ней известные работы). Получив эти сведения, я расстался с т. Веретельником и поехал в догонку за отступавшими коммунарами. Хотелось повидаться со своей подругой, которая, как член

коммуны, вместе со всеми ее членами отступала, и вообще хотелось видеться со всеми, хотелось обменяться с ними своим мнением о дальнейшем нашем общем деле. Хотелось подбодрить их и искренно, не скрывая ничего, поделиться с ними всем тем, что я мог предвидеть на пути, намеченном нашей Таганрогской Конференцией. Я был одним из первых их вдохновителей в деле организации коммунальной жизни и чувствовал на себе известную ответственность за это. Теперь я направлял все свои мысли им вслед, чтобы нагнать их, обнять, расцеловать – за их смелое начинание, связавшее их на деле с одним из чистейших, прямых революционных практических задач трудящихся.

Перед выездом из Таганрога в Ростов-на-Дону, я встретился с матросом Полонским, командиром Гуляй-Польского вольного батальона, и его братом. Теперь наш Полонский заявил мне, что он не хочет ни идти снова в свою лево-эсеровскую партию, ни оставаться в рядах анархистов, а попытаться изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контр-революции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так-как, дескать, жалеет свое здоровье, „без которого жить нельзя, в рамках существующего“.

Я изрядно посмеялся над ним и, дав ему просимые тысячи рублей из сумм Революционного Комитета, уехал в Ростов-на-Д. В Ростове-на-Д. я три дня лазил по линиям железной дороги, искал своих коммунаров, – но тщетно. Здесь я встретился снова с начальником Красных Резервных войск „Юга Росси“, тов. Велинкевичем, который снабдил Гуляй-Поле вооружением (см. том 1-й моих Записок). Мы, без всяких обиняков, откровенно поговорили об общих причинах столь быстрого отступления красногвардейских войск и, в частности, о Гуляй-Польских событиях 15–16 апреля.

Т. Велинкевич был человеком особенно прямым и откровенным, и эта черта придавала ему вид подлинного солдата революции. Однако, он – большевик, который не только мыслит, но и действует по программе своего центра из трех-пяти „владык“. Это обстоятельство вызвало во мне протест, так как я успел уже пережить, на пути солдата революции, несколько таких моментов, когда необходимо

действовать не по указке из центра, а так, как того требует конкретная обстановка, лишь бы, конечно, эти действия не шли в разрез с руководящей идеей революции.

Белинкевич сообщил мне, что он лично распорядился подать отдельный эшелон нашим коммунарам, чтобы они были свободны в своем отступлении. По его словам, они проезжали здесь. „Сейчас, очевидно, направились далее, в глубь страны, но трудно определить, — сказал тов. Белинкевич, — по Северо-Кавказской ли линии ж. дороги они направились, или же через Лиски и Воронеж. Пускаться вдогонку за ними в направлении на Лиски-Воронеж Белинкевич мне не советовал, так как, по его словам, на этой линии очень часто казацки контр-революционные отряды останавливали поезда и всех мало-мальски подозрительных из пассажиров расстреливали...

Эта предупредительная любезность Белинкевича задержала меня на несколько дней в г. Ростове.

Глава V.

МОЯ ВСТРЕЧА С РОСТОВО-НАХИЧЕВАНСКИМИ И ПРИЕЗЖИМИ В РОСТОВ АНАРХИСТАМИ.

Не знаю, чем занимались наши Ростово-Нахичеванские товарищи в эти тревожные для г. Ростова дни. До того, весь 17-й год и минувшие месяцы 18-го, эти товарищи издавали серьезную еженедельную газету „Анархист”. По газете видно было, что товарищи имели идейное влияние на трудящихся города и окрестностей и вели среди них воспитательную и организационную боевую работу, пытаясь одновременно ввести в строго-организационные формы анархистское движение. Теперь же, в первые дни моего пребывания в Ростове, я не нашел этой газеты и не встретил никого из товарищей Ростово-Нахичеванской группы.

Зато, в первый же день, как только я потерял всякую надежду разыскать членов сельско-хозяйственных коммун Гуляй-Польского района и остановился в Ростове, с целью разыскать анархистов, я натолкнулся на вечернюю газетку

„Черное Знамя”, формата в 1/16 печ. листа, с информационными сведениями на обеих страничках, исключительно о положении фронта революции против контр-революции, с неполными, в большинстве случаев неточными и даже ложными сведениями.

Редакция этого пресловутого анархического органа перемещалась из одного отеля в другой и это затрудняло не только меня лично, но и многих анархистов, прибывших в Ростов из Одессы и других городов Юга Украины, желавших разыскать ее, выявить лиц, представлявших ее.

Помню, я проходил по базару-толкучке, с намерением купить исподнее белье, чтобы после трех недель переодеться. Я встретил на этом базаре товарища Григория Борзенко — серьезного товарища, работавшего в свое время в Одессе и Харькове. Лично мы друг-друга, до этой встречи, не знали. Но при первой же встрече (нас познакомила тов. Рива, один из членов Мариупольской группы анархо-коммунистов) первым моим вопросом к нему было: „Не знаете ли вы, тов. Борзенко, кто издает уличную вечернюю газетку „Черное Знамя”?

Ответ товарища Г. Борзенко был курьезный: „Говорят, что эту газетку какие-то три анархиста издают. Но, мне кажется, ее издают люди, желающиеся пристроиться возле сильных: стало-быть, наши враги”.

Встретиться с издателями этой спекулянтской вечерней „анархистской” газетки мне так и не удалось. Видимо, и многим другим нашим товарищам это не удалось, хотя многие между собой говорили об этой газетке и о ее издателях; говорили, что издают ее люди, которые имеют в кармане деньги и хотят иметь их еще больше. Для меня лично, после прочтения двух-трех номеров этой газетки, было несомненным, что она издается людьми предприимчивыми именно в области торговли, и вещами, и своей совестью: людьми, которые через фронт только проехали, а крестьян и рабочих видели вероятно только тогда, когда, в силу революции и роли в ней трудящихся, последних никак нельзя было обойти, ибо они всюду были впереди, и в часы побед Революции, и в часы смерти за нее.

Но предпринять против этих лже-анархистов сейчас ничего нельзя было. С одной стороны, потому, что наше движение, будучи разрознено на множество групп и группок,

не связанных между собой даже единством цели, не говоря уже о единстве действий в момент Революции, — вмешало в свои ряды всех, кто уклонялся от ответственности момента и бежал из своих лагерей, делая, под прикрытием анархического принципа: „свобода и равенство мнений есть неотъемлемое право каждого человека”, от имени анархизма все, вплоть до шпионства в пользу большевистско-лево-эсеровской власти за денежное вознаграждение. А, с другой стороны, еще и потому, что в это время поход против анархизма Ленина и Троцкого не был еще прекращен, и наше выступление против людей, именовавших себя анархистами, могло быть ложно истолковано, могло сыграть на руку преследовавшей нас власти.

Беда была в том, что, будучи разрозненными, не имея за собой организованных широких трудовых масс, русские анархисты растерялись и в большинстве своем вступили на путь — полумолчаливый путь — симпатии по отношению к делам большевистско-лево-эсеровской власти. Все это власть учла с особым удовлетворением и с намерением извлечь из такого положения известные выгоды, так как самыми опасными оппозиционерами для нее были революционные анархисты.

Власть, шаг за шагом, начала допускать снова выход анархистской прессы; начала разбираться, с какими анархистами следует считаться, а с какими не следует. Отсюда заметно начинает появляться в наших рядах мысль о приспособленчестве, некрасивом, иезуитском приспособленчестве. Наиболее сведущий в области торгашеского приспособленчества элемент перестает думать об организации сил своего движения; он перебегает к большевикам, оставаясь с званием анархиста. И эту свою перебежку часто смешивает с принципом „свободы мнений”, с которым он, дескать, ничуть не порывает связи, а, наоборот, стремится укрепить его в анархических рядах.

В самый тяжелый и для революции, и для анархизма момент, — момент, требующий тяжелых усилий анархического коллективного ума и энергии, — анархисты, получившие образование за счет трудящихся еще до их вступления в анархические ряды, научившиеся как-будто кое-что понимать, научившиеся красиво говорить и писать, потяну-

лись целыми вереницами, понад фронтом борющихся с оружием в руках трудящихся масс, в большевистские культурно-просветительные отделы консультантами... И создавалось впечатление, что, для этого рода анархистов-революционеров, жизнь анархического движения чужда, ибо для движения нужно было слишком тяжело, и с большими опасностями на тяжелом пути, работать. А они призваны, ведь, не работать, а только советовать другим, как надо работать. Этим своим грубо неверным пониманием задач революционного анархизма в момент революции, когда, помимо фронтов контр-революции, появляются и на теле самой революции язвы, ведущие к ужасам политического, а иногда и физического взаимоистребления самих носителей ее идеалов, наши товарищи, с именем и сознанием (в большинстве случаев, неизвестно только чего), наносили удар за удар не только своим единомышленникам, но и тем широким революционным трудовым массам, которые частенько в революциях бывают более чуткими, чем те, кто хотел бы им только советовать, не беря на свои плечи никакой ответственности, даже не задерживаясь на более или менее продолжительное время среди тех, которым советуют. Правда, не лучше понимали задачи революционного анархизма в революции и наши товарищи рабочие, в особенности же рабочие, которые, в силу тех или других условий и обстоятельств, в большинстве своем чисто случайных, тоже возмнили, что они полны сил и знания, чтобы только советовать своим братьям по труду, не беря и не неся за свои советы никакой ответственности. Эти товарищи были еще более наглы в своем профессионализме. Но можно ли их за все это винить? Нет, нельзя. В их поведении виновата та расхлябанность, та дезорганизованность нашего движения, которая порождает в нем всевозможные отрицательные силы, губительно отражающиеся на его росте и развитии.

Моя недолгая жизнь в Ростове-на-Дону, мои встречи с анархистами, в особенности с анархистами приезжавшими в Ростов, а также ежедневный просмотр спекулянтской вечерней газетки „Черное Знамя”, все более притягивали мое внимание к этим, развертывавшимся на моих глазах отрицательным сторонам, силой обстоятельств укрепив-

шимся в нашем движении и раз'едавшим его здоровый революционный организм. Однако, несмотря на все это, и даже на то, что дом ростово-нахичеванской группы, при наступлении на Ростов контр-революции немцев и Белого Дона, был окончательно разграблен отступавшими, с участием, — говорили нам, — тех, кто называли себя анархистами и только поэтому получили в нем приют, чтобы неделями, без всякого стеснения, свободно, как *приезжий, уставший, заслуженный работник движения*, валяться на его роскошной мебели, поплывывая в потолок, — несмотря на все это, я был полон веры и надежд, что впереди я встречу несравненно лучшее среди своих близких, дорогих товарищей. Вера и надежды эти во мне усилились после того, как я побывал на митинге, организованном местными ростово-нахичеванскими анархистами в Ротонде. Мысли, высказанные ими на этом собрании, показали мне, что и здесь имеются наши здоровые силы. Момент общего отступления революции приковал их к своим групповым планам подполья. И не их вина, если *заслуженные приезжие работники нашего движения*, в спокойное время находившие братский приют в доме анархистов, в момент тревоги и отступления не смогли отстоять этот дом, а пошли по течению и содействовали разграблению его обстановки и украшений.

С верой и надеждами на лучшее впереди, я, с 30—35-ю товарищами из разных городов Украины, в дни эвакуации революционного города Ростова-на-Дону, пристроился при артиллерийской красной базе, под командой симпатизировавшего анархистам товарища Пашечникова, и ожидал выезда из Ростова на Тихорецкую, откуда артиллерийская база должна была пройти по Северо-Кавказской линии ж. дор., через Царицын и Балашов на Воронежский боеучасток фронта.

Все мы были зачислены, как команда эшелона, и многие товарищи несли дежурства по охране его. Будучи уже при эшелоне, я еще раза три выступал перед рабочими ростовских заводов и фабрик, от имени крестьянской группы анархистов, с целью оттенить ту позицию, какую занимала спекулянтская вечерняя „анархистская“ газетка „Черное Знамя“, а также осветить роль революционных анархистов по отношению и фронта против контр-революции, и всех тех явлений, которые разрушали его. Однако, момент для

таких выступлений был неблагоприятный. Революционный Ростов, в спешном порядке, готовился к эвакуации. Командующий Ростовским округом, Подтелкин, переселился уже из особняка в вагон, при двух паровозах на полных нарах. Его примеру последовали и другие революционные учреждения. Само собой разумеется, что тревога власти имущих вызывала тревогу и среди населения, поддерживавшего революцию. Приезжее население и разные учреждения в Ростове начали первые бежать из него подальше. За ними потянулись военные и гражданские власти Ростова и его округа, а вместе с ними и то местное население, которое активно поддерживало дело революции.

Картина отступления, одних по направлению Лисок — Воронежа, других на другую сторону реки Дона в Батайск, где красное командование воздвигало фронт и думало держаться до последнего, картина была поистине кошмарная. Тем более, что при отступлении, среди населения, и казачьего населения в особенности, которое в это время в массе стояло еще на раздорожье красной левизны и белой правизны, быстро рождались кадры воров, которые поддерживались профессиональными ворами, вообще раз'езжавшими по стране, хватая то там, то сям рыбку в мутной водиче. Грабежи росли с необыкновенной быстротой и в чудовищном масштабе, росли под влиянием исключительно низменных страстей грабежа и мести: мести и тем, кто радовался победам контр-революции, и тем, кто пообывательски занимал нейтральную позицию...

Наблюдая, поскольку это можно было, за чуждыми революциями явлениями, я не один раз задавал себе вопрос: неужели с этими явлениями нельзя справиться?

И находил ответ: Да, в такие минуты, как поспешное отступление авангарда революции, почти невозможно обращать свои взоры туда, где не можешь и на минуту задержаться и устыдить тех, кто пользуется неограниченным правом свободы, не неся никакой ответственности в борьбе за ее реальное воплощение в нашу практическую социально-общественную жизнь. А между тем, чтобы впитать в себя реальную свободу, эта жизнь нуждается в прямом и искреннем содействии со стороны людей, которые одни только и могут осуществить и защитить для себя и для своего общества, и через общество, такую свободу.

Вставали передо мной и другие вопросы при наблюдениях за ростовскими явлениями в дни эвакуации революционного Ростова. Например: не создаются ли эти явления „официально” подпольными организациями контр-революции? Ведь это так возможно и так выгодно в смысле компротегирования революции в глазах масс, так полезно для подкрепления контр-революционных сил. Но... режущий глаза факт вагонов, переполненных всевозможными проходимцами, переезжавшими на сторону отступавшего населения, в тыл революционного фронта, не позволили мне сделать заключение по этому вопросу. И с болью на сердце, полном сил и боевой энергии революционера-анархиста, я простился с Ростовом, с которым духовно был так связан через газету „Анархист”, которая у нас, в Гуляй-Поле, читалась всегда с особым интересом и крестьянами, и рабочими...

Глава VI.

В ПУТИ С ЭШЕЛОНОМ КРАСНОЙ Артиллерийской Базы.

Вследствие загромождения ж.-д. линии отступающими, мы ехали от Ростова до Тихорецкой около двух суток. Так как у нас не было запасов хлеба и других продуктов, то в Тихорецкой командир эшелона послал наших товарищей на базар купить эти продукты, рассчитывая на недавнее еще право каждого красногвардейского отряда иногда совсем не платить торговцам, а если платить, то одну треть стоимости.

Товарищи пошли, потянув меня с собой. Накупили по списку всего, с расчетом, чтобы хватило до города Царицына, в который мы рассчитывали прибыть через неделю.

Лавочники сами погрузили товар на извозчиков, но когда дошло до расчета и они увидали, что товар у них реквизируется, они резко запротестовали. Протест их опирался на шаткое, беспочвенное положение большевистско-лево-эсеровской власти в этом районе. То было время, когда в этой местности оперировали сотни белогвардейских отрядов, и население молчаливо стояло на их стороне.

На этот протест лавочников сбежались красные власти. Они приказали Тихорецкому гарнизону оцепить эшелон артиллерийской базы и далее не пропускать, до их особого распоряжения.

Когда эшелон был оцеплен верноподданническими войсками (которые, видно было, сами еще не поели своих запасов, даже не реквизированных, а просто набранных у различного рода торговцев), тихорецкие „революционные” власти вызвали от команды эшелона артиллерийской базы двух человек, для выяснения вопроса о попытке реквизировать продукты первой необходимости.

Командир Пашечников упросил меня и тов. Васильева (из юзовской анархической организации) пойти на вызов тихорецких властей и об’ясниться с ними.

Мы пошли, а власти нас арестовали и в вежливой форме заявили, что мы подлежим расстрелу в военном порядке.

Я сперва думал, что представитель власти шутит, и ответил ему: „Хорошо, что мы попадем под расстрел в военном порядке, а не прямо к стенке...” Но, вижу, с нами не шутят. К нам приставили двух вооруженных преглупейших казаков, которые, без всякого стеснения, вслух, говорят между собой, что на нас хорошая одежда, и жаль только, что одна из них, моя одежда, будет мала на них.

Товарищ Васильев говорит мне: „Нужно требовать сюда Председателя Революционного Комитета. Ибо может случиться, что ему доложат, что задержали из какого-то эшелона двух грабителей, а он ответит: „Расстрелять их”. Тогда никакие протесты не помогут. Нас сразу же сплавят”...

Мы тут же начали требовать председателя Ревкома. Но в ответ нас обвиняли в контр-революции. На шум и пререкания наши со стражей прибежал какой-то „революционный” чинишка, накричал на нас и на стражей. Последние, чтобы оправдаться, избили нас прикладами. Это так вывело меня из себя, что я дал пощечину одному из стражей и начал кричать во весь рот: „Давайте сюда товарища председателя Революционного Комитета. Я хочу знать, что это здесь за хулиганье собралось и под знаменем революции проводит свои гнусные, контр-революционные дела...”

Крик и ругань мою услышали во всех комнатах Рев. Комитета, и многие представители власти выскочили к нам. Однако, никто ничем нам не помог. Нам пришлось еще око-

ло часу скандалить, и скандалить так, что наши охранители, в конце концов, отошли от нас к двери и раскрыли ее.

Власти запротоколили скандал. Через некоторое время нас вызвали к Председателю Революционного Комитета. Этот владыка нас опросил и тоже грозил расстрелом, пока товарищ Васильев не заявил ему: „Вы можете расстреливать нас, но сперва скажите нам, кто вы такой? Кто избрал вас главой органа революционного единения?..”

Эти мысли тов. Васильева мною были подхвачены заявлением: — „Не так давно, всего две недели, я оставил руководящий революционный пост по защите Революции. Мне лично приходилось встречать многих революционеров, но я не видел у них такого хулиганства, как здесь у вас”. Я объяснил ему, зачем нас вызвали в Революционный Комитет, что нам об’явили и как обращались с нами представители власти и их слуги-казаки, которым все еще кажется, что и революция на манер самодержавия держит путь через их нагайки и приклады...

Председатель, нервничая, кусал ногти. Иногда перебивал меня. Потом, с извинениями, попросил у меня документы.

Я дал ему сперва мой старый документ, свидетельствовавший о том, что я — Председатель Гуляй-Польского Районного Комитета Защиты Революции; затем документ, свидетельствовавший о том, что я — начальник вольных батальонов Революции против контр-революции немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной Рады.

Владыка наш долго держал в своих руках мои документы, а затем вдруг, поднявшись со стула, сказал: — „Чорт подери, и на самом деле меня окружают какие-то дураки. Вы извините, товарищи, здесь какое-то недоразумение. Я все это выясню. Вы свободны и идите в свой эшелон. Я о нем имею сведения: он должен без всяких задержек двигаться по своему маршруту”.

Так, перенервничав, получив по несколько ударов прикладами, переболев душой и телом за четыре с лишним часа под глупым арестом, мы освободились и приехали к своему эшелону, который все еще находился под охраной местной власти.

Пока мы рассказывали товарищам о происшедшем, охрана эшелона была снята. Эшелон выталкивали из тупи-

ка на прямую линию, с целью дать ему возможность двигаться далее.

Через час, мы уже ехали по линии Северо-Кавказской железной дороги. Перед нами расстилались равнины казачьих земель, частью покрытые зеленью озимых и яровых хлебов, частью же кормовыми травами, в особенности пыреем и целиной-травой, с отдельными, выше ее простилающимися, мелкими, но многочисленными кустиками серебристого ковыля. Плодородие этих земель, на которых когда-то осели потомки монгольских завоевателей (впоследствии, в процессе своего обособленного развития, независимого от княжеских, а затем и царских глупых режимов, образовавшие „казачье войско”, с особыми привилегиями от царей), — плодородие это, по описаниям, было известно мне и раньше. А теперь, когда я увидел эти равнины, покрытые сочными кормовыми травами, озимыми и яровыми хлебами, обещавшими быть урожайными, я сам убеждался в этом необыкновенном плодородии, и радовалась душа, что в этих зеленых, толстых и сочных стебельках растет великая, не подлежащая цифровой оценке, помощь Революции. Нужно только, чтобы революционные власти поумнели и отказались от многого в своих действиях; иначе, ведь, население пойдет против революции; иначе, население, трудовое население, не найдет в завоеваниях революции полного удовлетворения и одним только своим отказом оказать революции добровольную, материальную (в смысле пищи) помощь, нанесет ей удар несравненно более сильный, чем какие бы то ни были вооруженные отряды Калединской, Корниловской или иной контр-революции... Но — в пути мне попадались газетные сведения. И рассказывали они о том, как революционные власти там-то разгромили анархистские группы, там разогнали социалистические собрания, там подозревают крестьян в контр-революционности и готовятся разорвать их трудовой организм на части, с целью обессилить его и произвольно подчинить условиям города... Сведения эти говорили мне, что революционные власти не умнеют, а дуреют, и этому не может воспротивиться даже „мудрость” Ленина. Ибо и она, эта мудрость Ленина, позволившая революционной власти большевиков и левых эсеров так быстро и высоко подняться над революцией и исказить ее подлинный антигосударственный

смысл, оказывается бессильной понять, что, урезывая права анархической мысли на свободу и связанную с ней творческую революционную деятельность среди крестьян, власть тем самым становится на путь контр-революции. А на этом пути, вынужденная в дальнейшем прикрывать свое истинное существо, она уже не может сознавать свои ошибки, ведущие к гибели и революцию, и ее самое. Правда, все эти газетные сведения о дурной – по моим заключениям – деятельности революционной власти казались мне несколько сгущенными. А то обстоятельство, что действия революционных властей на местах не находили себе истинных сторонников в недрах широкой революционной массы на Украине, мне казалось, окажется хорошим уроком для центра, и я смогу еще встретить в России события, которые меня обрадуют и которым я отдам свои, полные энергии, революционно-боевые силы. Да, да, – говорил я себе, это должно быть так... И у меня появилась надежда, что и большевики, и левые эсеры, как революционеры, не откажутся от того, чтобы серьезней подумать о положении революции, о тех силах разрушения и созидания, которыми она живет и, благодаря которым, может еще, при всем своем нынешнем уродстве, выравнять свою линию и оправдать великие надежды трудящихся...

Воодушевляясь этой мыслью, я, при стоянке в Великокняжеской станице, выступил на одном митинге казачьего населения, призывая его порвать всякие связи с прошлым, осудить акты восстания белого казачества и активно выступить на защиту Революции.

– Казачество Дона, – говорил я, – должно раз и навсегда осудить свое прошлое, которое делало казаков палачами всякой свободы, всякого свободного начинания в жизни русского народа. Вместо жалких царско-помещичьих привилегий, которые казачество получало за свою дикую удаль в позорной кровавой борьбе с трудовым народом, казаки должны взять в руки оружие против тех, кто награвдал их до сих пор этими привилегиями, кто дурачил их, используя их боевые силы против народа и его стремления к свободе, к новому свободному обществу...

Казаки говорили: – „Мы все стоим за Революцию”. Некоторые из толпы однако выкрикивали: – „Мы до сих пор не пойдем, за что нам быть: за Революцию или за те земли,

которые Революция у нас отымает, за те косяки (косяки, это табуны лошадей), которых мы растили, а у нас их забирают...” – „Это не у нас коней забирают, их забирают у нашей буржуазии”, – перебивали их третьи голоса из казачьей же толпы... Долго беседовали мы потом на эту тему. Но только, что беседовали, а решений никаких. Это и понятно. Казачество того периода Революции в общем держалось еще крепко за идеи своего старого наказного атамана и Войскового Круга, которые еще верили во внутренние русские контр-революционные силы и, в надежде на их поддержку, подняли большую часть казачества против Революции, под лозунгом обусловленной конституцией царской короны Романовых.

* * *

В дальнейшем пути по линии Северо-Кавказской железной дороги, на одном из полустанков перед ст. Котельниково, наш эшелон был задержан на несколько часов по случаю налета белогвардейского казачьего отряда на близко от станции расположенные хутора. К эшелону собралось много казаков. Все они суетились, высказывая соображения о том, чтобы общими усилиями отбить возможное нападение этого отряда, как на станцию, так и на эшелон артиллерийской базы. Наша команда вооружилась. Установили на платформах в разные стороны легкие полевые орудия, так как отступать назад от количественно незначительного кавалерийского отряда мы не думали. Тем более, что само население было с нами. Оно быстро и аккуратно сообщало нам, когда и где этот отряд останавливался и в какую сторону двигался. Однако, странная суеливость толпы настолько усиливалась, что у меня невольно явилась мысль: нет ли во всем этом какой-либо провокации?

Я предложил командиру артиллерийской базы двигаться вперед, высказав ему свое подозрение, как по поводу черезчур уж аккуратных сообщений нам о белогвардейском казачьем отряде со стороны казачьего населения, так и по поводу того, что толпа казаков, не отходя от нашего эшелона, что-то уж больно суеливо переговаривается между собой. Мое подозрение сводилось к тому, что это казачье

население является сторонником восстания белых и попытается нас обезоружить.

Выслушав меня, командир эшелона расстроился и чистосердечно сознался, что он теряется, не знает, что делать, чтобы население, сгруппировавшееся на полустанке спереди и сбоку нашего эшелона, отошло подальше, в стороны, так как, дескать, если оно намерено нас разоружить, то оно при первом же нашем свистке отхода, бросится на нас. И будет лишняя кровь, будут лишние жертвы, — жертвы главным образом с нашей стороны, если первый наш огонь окажется несвоевременным и не по цели. — „Помогайте мне, — сказал командир: — Я буду рад. Ваша помощь подбодрит меня. Я буду решительнее”. Я предложил командиру, в первых, немедленно распорядиться, чтобы артиллеристам стать у боевых орудий (с целью пристрелки по горизонту, откуда может появиться белогвардейский отряд), а, во-вторых, предупредить машинистов локомотива, а также дежурного по станции: первых — о том, чтобы, раз тронувшись с места, не останавливались уже до следующей станции, а второго — о том, что мы, де, снимаемся с места для продвижения вперед только версты на две-три, чтобы сделать хорошую пристрелку по всем сторонам и возвратиться обратно. (Только в этом случае можно ожидать со стороны дежурного по станции правдивого сообщения о том, свободен ли путь).

Командир сделал все, что я предложил ему, во мгновение ока.

Затем мы попросили казаков, толпившихся возле полустанка спереди и сбоку нашего эшелона, удалиться на время в сторону, противоположную той, куда будут лететь снаряды. И мы тронулись вперед с редкой стрельбой из пулеметов в пространство. Когда полустанок, с многочисленными возле него казаками-ротозеями (которые, быть может, и не думали о том, чтобы обезоружить нас), остался позади, наши локомотивы запыхтели сильнее и чаще, и мы помчались уже полным ходом по направлению к ст. Котельниково, убеждая друг друга в том, что если бы мы оставались на полустанке до ночи, то были бы обезоружены и наполовину, если не все, расстреляны.

Командир эшелона зазвал меня и тов. Васильева к себе в купе и с особым уважением изливал мне свои чувства

благодарности за то, что я натолкнул его на решительное действие. Нельзя сказать, чтобы эта его благодарность не ласкала моих эгоистических чувств. Но я тут же с болью думал о том, как неподготовлены революционеры к практическим, разнообразным по характеру, самостоятельным действиям в революции, несмотря на то, что они всю свою тяжелую жизнь проводят в подготовке революции.

Прибыв на станцию Котельниково, мы узнали, что отсюда редко какой отряд пробивался далее. Все отряды, по распоряжению из центра, здесь задерживались и разоружались, подвергаясь тщательной проверке: из кого они состоят, каким пропитаны духом, и т. д.

Отряды, которым удавалось воспротивиться разоружению здесь, далее г. Царицына все же не продвигались. В Царицыне они разоружались. И отряды, в которых не оказывалось „контр-революционного”, с точки зрения власти, элемента, снова вооружались и вливались в какую-либо красноармейскую часть. Отряды же, в которых обнаруживалась „контр-революционность” (а для этого достаточно было, чтобы командир его был анархистом или беспартийным и имеющим свое суждение о делах новой власти революционером), разгонялись, а то и расстреливались, как это было, например, с Петренко и частью его отряда в Царицыне.

За неумелость и беспомощность новой социалистической власти заинтересовать широкие трудовые массы делом добровольной вооруженной защиты революции, на которую со всех сторон двигались вооруженная контр-революция, тяжелее всего расплачивались отряды, которые были скомплектованы из украинского элемента. С этими отрядами большевистско-левоэсеровская власть абсолютно не церемонилась. Благодаря своей „дальнозоркости”, она видела в этих отрядах то, чего в них не было. И она опасалась пропустить их на Курск и Воронеж, откуда украинские революционные рабоче-крестьянские отряды, отступившие из Украины, думали, с помощью сил русской революции, прорваться обратно в центр Украины, чтобы снова, при помощи уже некоторого быта, сразиться с контр-революцией немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной Рады. Сердце обливалось кровью, когда приходилось наблюдать за черным делом власти, совершавшимся над людьми, в которых было так много револю-

ционного духа, но к которым нужно было уметь подойти, чтобы пробудить в них этот дух и помочь ему пробиться за простор, не мешать его свободным творческим выявлению в общем деле трудящихся, в деле подлинного экономического, политического и духовного освобождения.

Здесь же, на ст. Котельниково, усердные агенты центра поспешили предложить сложить оружие и артил. базе. Для нас, анархистов, ехавших с этой базой, это было особо показательным примером того, как глупы бывают лакеи со звездами на лбу и орденами красного знамени на груди. Они даже не подумали запросить, что из себя представляет наш эшелон, чей он и куда направляется, а просто прислали человека заявить командиру эшелона сложить оружие.

Слушая заявление сложить оружие (в противном случае, дескать, силой разоружат), командир эшелона, зная свои обязанности, имея при себе распоряжение красного командования во-время быть в г. Воронеже, с ума сошел и в отчаянии готов был возвращаться назад, по направлению Тихорецкой.

Мы, анархисты, пришли ему на помощь. Мы убедили его в произвольном, преступном действии агентов центра по отношению к революции. И, на этом основании, мы все предложили ему открыть оружейный и пулеметный огонь по станции, разрушить ее и расстрелять власти, которые так подло действуют во вред делу защиты революции.

Когда команда эшелона заняла свои места у орудий и пулеметов, и властям был предъявлен ультиматум – очистить эшелону путь дальнейшего продвижения или оказаться под нашим огнем, то гнусные контр-революционные (хотя и со звездами на лбу) заправили по разоружению разбежались. Путь для дальнейшего нашего продвижения вперед по направлению к г. Царицыну был свободен. И мы, оставив ст. Котельниково „непримосновенной”, двинулись далее.

В пути, командир эшелона очень беспокоился, что прибег к таким крайним мерам на ст. Котельниково (по отношению, по-моему, контр-революционных властей). Но другого выхода не было. Это он сознавал. И это сознание подговляло его стать перед судом власти – если придется – с достоинством революционного солдата, призванного, как он выражался, сознательно служить делу революции.

...На пути от Котельниково до Сарепты (станция, расположенная в 24 верстах от г. Царицына), я тоже начал хандрить. В голове стали появляться какие-то несурзные мысли о том, что революции суждено погибнуть по вине самих революционеров; что на пути ее развития стоит палач из рядов революционеров, имя которому – Правительство: правительство двух революционных партий, которые, при всех своих потугах, подчас колоссальных и достойных уважения, не могут вместили в рамки своих партийных доктрин ширь и глубину жизни трудящихся. В связи с ростом и развитием революции, – думалось мне, – трудящиеся все яснее и определеннее проявляют свой интерес к ней, свой интерес к тому, чтобы найти в ней тот простор, ту свободу, которая позволила бы им реорганизовать свою жизнь на совершенно новых началах, независимо от тех или других правителей, не живущих их жизнью и, следовательно, беспомощных понимать ее, давать ей то или другое направление... Сперва я думал, что эти мысли о положении революции и о вытекающих из него последствиях – случайные мысли, порожденные контр-революционными явлениями, с которыми я встретился на своем пути с эшелоном артиллерийской базы. Но скоро я убедился, что мысли эти не случайны. Контр-революция жила всюду, где только могла: жила она и в массах, жила она и в тех, кто сидел в центре и приказами заставлял революцию на местах вращать свое историческое колесо. Я ее видел ясно. И от этого мои надежды встретить впереди лучшее начали расстраиваться и уползать. И больно, и тяжело становилось на сердце. Иногда я делался зол на всех и вся, притом на себя в первую очередь, за все те промахи в деле организации вольных батальонов против контр-революции на Украине, которые теперь еще более были мне чувствительны...

Но вот мы на станции Сарепта. Вокруг нее большие лесные пристани, лесопильные заводы. Здесь тысячи рабочих. Я загораюсь страстью побывать на их митингах и в пылу этой страсти забываю все, о чем только что болел сердцем.

А когда командир эшелона сообщил мне, что станция получила распоряжение из г. Царицына, в силу которого путь на Царицын закрыт для всяких военных эшелонов, и что мы задержимся здесь видимо на несколько дней, я совсем подпал под влияние внутренней, бессознательной, но

сильной страсти побывать среди рабочих на их митингах; услышать, что они думают о революции, о ненормальных явлениях в рядах ее носителей и защитников, и т. д., и т. п.

Наши товарищи разбрелись всюду по поселкам... Они узнали, где и когда рабочие собираются. И на другой день (это был день отдыха) мы, несколько человек, выступили на митинге сарептских лесопильщиков-рабочих. Здесь мы выяснили, что рабочие тесно связаны с делом революции; что они все стоят за Советы, в которых первое место и руководящая роль должны принадлежать им, рабочим; что всякие партийные представители могут участвовать в этих Советах в том лишь случае, когда рабочие сознательно считают себя родственно связанными с их идеями...

Мы узнали от рабочих на этом митинге, что они известный процент своих рабочих уже проводили на фронт вооруженной борьбы против „Белого Дона” (так называлось казачье контр-революционное движение).

— „Одного мы никак не можем понять, — говорили нам на этом митинге рабочие: — мы здесь все стремимся к организации своих сил для развития и защиты революции и тех идей, которые двигают революцию. А в Москве и в других больших городах нет такого единства. У нас и большевики, и левые эсеры, и анархисты организованно стоят за то, чтобы разбить контр-революционное движение казаков. Даже, по инициативе анархистов, мы начали практиковать выделение известной части наших сил на фронт, против этого дикого казачьего движения, — с таким расчетом, чтобы и заводы не стояли. А там, в Москве и других городах центральной России, анархистские организации разгоняются, непокорные их представители расстреливаются”... И тут же один из рабочих берет старый номер уже потертой большевистской газеты и просит одного из моих друзей прочесть вслух статью о разгроме анархистов на Малой Дмитровке (в Москве).

— Чем объяснить все эти действия нашей советской власти? — кричали голоса из толпы.

Надо представить себе наше сознание, что мы стояли перед революционными рабочими, среди которых было немало большевиков, эсеров и анархистов, безыменных борцов за свои идеалы; борцов, умевших в минуты дискуссионной страсти, ненавидеть друг друга, кричать друг на

друга, топтать ногами и махать чуть не под носом руками, но умевших в то же время и понимать друг друга, признавать за каждым право на свободную проповедь, „своего”, выступать, бороться за „свое”...

Они, эти безыменные, вышедшие из трудовой семьи, революционные борцы понимали значение для революции проповедываемых ими идей лучше, чем воцарившиеся за счет их труда и усилий верхи, заседавшие в Кремле... Они, эти безыменные борцы, с большим достоинством, чем их верхи, оценивали роль своих идей в революции. Поэтому они признавали равное право за каждым революционером проповедывать свои идеи. Они ценили жизнь этих людей... И поэтому их революционное чувство не могло не тревожиться за гнусные действия своих верхов в центре. Их совесть была беспокойна, ибо она была чиста по отношению к революции, порожденной и двигавшейся так или иначе всеми революционными идеями. А анархическая идея в этом смысле занимала чуть ли не первое место. Сознательные рабочие-революционеры не могли этого не сознавать. И поэтому, когда они услышали о гнусных деяниях своих вождей против анархистов, они болели за это их постыдное хамство.

С особой резкостью против разгрома анархистских организаций в Москве и преследования всюду активных анархистов (как о том сообщала большевистская печать) выступили товарищи Васильев и Тар. Рабочие большевики и л. эсеры с болью в сердце сознавали право за анархистами на такие выпады против зарвавшихся их любимцев — Ленина и Троцкого. Мне же, отступившему из Украины, мне, которому приходилось в таких трудных условиях работать во имя торжества революции, которую теперь оседлал государственный и пытались задушить, — мне было еще больнее, так как я предвидел последствия разгрома анархистских организаций: я предвидел, что теперь всякий неустойчивый и недоброкачественный элемент начнет перебегать из анархических рядов на сторону сильных, отрекаясь трижды от анархизма, и под диктовку сильных будет топтать и грязнить анархизм. Это вызовет еще большую дезорганизованность. Лучшие работники анархизма очутятся в В. Ч. К. и за смелое утверждение высшей социальной справедливости и индивидуальной неприкосновенности чело-

века умрут с великими мучениями по застенкам В. Ч. К.

Но не все то, о чем я думал во время выступления моих товарищей, я говорил на митинге. То был момент, когда я фантастически горел. Революция, выявление в ней анархического бунтарства и его творческих начал в деле практического социально-общественного строительства, были для меня главными путеводителями. На этом деле я надеялся, все-таки, встретить если не всех, то громадное большинство своих идейных товарищей в центре России. Мне казалось, что задача спасения революции поможет анархистам твердо стать на путь выявления тех творческих задач, которые анархизм поставил себе в этой, чуждой буржуазно-республиканского либерализма, Русской Революции. Я верил, что большинство анархистов будут жить надеждой если и не разредить полностью эти задачи, то, во всяком случае, сроднить с нами трудящихся настолько, чтобы трудящиеся поняли эти задачи не в извращенном большевиками смысле и поспешили бы, в новой решительной борьбе за свое подлинное освобождение, разрешить их вместе с анархистами, так как от своевременного и правильного их разрешения будет зависеть весь дальнейший процесс революционного продвижения вперед на пути творческих достижений освободительного движения трудящихся. Поэтому, выступая перед рабочими сарептовских лесопильных заводов, я останавливался главным образом на мысли найти общий революционный язык с широкой массой революционных грузеников, осадить зарвавшихся Ленина и Троцкого и призывать к спасению, общими усилиями, революции, с одной стороны, изнемогавшей под ударами организованной контр-революции, а, с другой, задыхавшейся в петле новой государственности.

Рабочие все были на моей стороне. Ни один из большевиков не протестовал, кроме провокаторов, донесших об этом нашем выступлении в Царицынский Революционный Комитет...

После этого митинга, рабочие обещали устроить еще ряд собраний и просили нас придти и выступить с продолжением того, что мы затронули на этом митинге, но нам больше не удалось посетить этих рабочих. На другой же день после митинга, на станцию Сарепта прибыл Мадьярский большевистский конный отряд из г. Цырицына и, оцепив эшелон

артиллерийской базы, предложил командиру эшелона, тов. Пашечникову, „выдать ему всех анархистов, которые, по их сведениям, пробираются в этом эшелоне в г. Царицын”. Мандат на арест анархистов был подписан командиром Царицынского фронта Гулаком и, если не ошибаюсь, председателем Революционного Комитета, Мишиным.

Командир нашего эшелона заявил скороиспеченным мад'ярам-коммунистам (они все были пленные солдаты австро-венгерской монархической армии): „Под моей командой нет никакой анархической организации. Арт. база обслуживается революционной прислугой, убежденный которой я не знаю, но знаю, что прислуга эта достойна звания революционеров, и с ней я пробираюсь на Воронежский фронт”.

Коммунисты-мад'яры тотчас же выстроились в колонну и, рассчитавшись по порядку номеров, уехали обратно в г. Царицын.

Мы все недоумевали: — Почему они так быстро снялись? Потому ли, что командир своим ответом их удовлетворил? Или потому, что как раз в это время на станцию Сарепта начали прибывать эшелоны чехословаков, которые держали направление на Сибирь, и которых красное командование свободно пропускало, не подозревая, что они объединятся с контр-революцией Колчака и окажут ей помощь в борьбе против революции?

С чехословаками мад'яры ссорились, когда были еще на положении пленных; а теперь, когда и те, и другие были вооружены, они, видимо, как следует поскандалили бы.

Я лично считал, что коммунисты мад'яры поспешили оставить наш эшелон в покое по случаю прибытия чехословаков, ибо ответ командира нашего эшелона, как он ни был хорош по тону, не мог удовлетворить тех, кто имел в руках мандат для ареста анархистов. Этот ответ оказался удовлетворительным для них только тогда, когда прибывавшие чехи, увидя мад'ярские шапочки, начали кричать, гикать и свистать на них.

Через сутки после посещения нас коммунистами-мад'ярами, мы тоже оставили приветливую Сарепту и прибыли в г. Цырицын. Здесь мы расстались с эшелонам артил. базы, ибо надеялись встретиться с анархистами и узнать о действительном положении революционных дел вообще в стране.

Командир и команда эшелона очень грустили. Многие из команды, как и сам командир, хотели бы, чтобы мы вместе с ними продвигались далее, к Воронежу, а там на фронт. Но многие из нас решили в Царицыне разбиться по два-три человека и раз'ехаться по своим организациям, если таковые еще уцелели по городам. Мы простились с командой эшелона и, заручившись разрешением в первые дни пока мы не найдем себе квартир, а эшелон будет стоять на станции, приходиться в него на ночь спать, разошлись по городу.

Г. Царицын был, видимо, в какой-то тревоге: возле Совета — пост с автоброневиком; к Революционному Комитету трудно подойти, стоит усиленная охрана. Красные сыщики, в то время еще не столь опытные, но уже многочисленные, всюду снуют, что-то обнюхивают, кого-то как-будто ищут.

Казалось, над городом нависли черные тучи грозы. Многие мои подорожные товарищи, мне неизвестные, но называвшиеся анархистами, были в недоумении: Что бы это значило, что Царицынские революционные власти так себя охраняют, что трудно добраться до них?..

Всюду: по паркам, в столовых, возле вокзала и в других общественных предприятиях, слышен разговор о герое, не позволившем себя разоружить соплякам, которые сидят в городе, словно кем-то избранные боги.

В чем дело? Это нас интересует. Начинаю ближе и серьезнее прислушиваться. Начинаю расспрашивать, кто этот герой.

— „Да какой-то сибиряк Петренко! — отвечают мне: — Наши то правители, никем не избранные, захотели показать, что они сильная власть и могут все сделать. Они выехали навстречу какому-то красногвардейскому отряду под командой сибиряка Петренко. Так он вот какого задал перцу нашим правителям!.. Ну, вот они, кто остался целехоньким, прибегли и весь город взбунтовали: говорят, пишут, кричат на митингах, что этот сибиряк Петренко идет боем на Царицын. Нужно-де его обезоружить...”

Зная отряд Петренко, а также то, как власти по линии Северо-Кавказской железной дороги поступают с каждым красногвардейским отрядом, я в живых чертах представил себе весь рассказ обывателей Царицына. А через сутки, жители Царицына и облегающих его поселков-хуторов пере-

жили на себе столкновение красногвардейского отряда Петренко с Царицынскими красными правителями и их красноармейскими частями.

Глава VII.

БОЙ ОТРЯДА ПЕТРЕНКО С ЦАРИЦЫНСКОЙ ВЛАСТЬЮ. ХИТРОСТИ ВЛАСТИ И АРЕСТ ПЕТРЕНКО.

Как известно из первой книги моих записок („Русская Революция на Украине”), красногвардейский отряд под командой Петренко отступил (под натиском немецко-австро-венгерских армий) от красного фронта Мелитопольского направления самым последним.

Этот отряд последним отступил из-под Таганрога. Отряд был боевой и числился в рядах первых по боеспособности красногвардейских отрядов, какими были анархистские отряды под командой Мокроусова, Марии Никифоровой, Гарина, и большевистские, под командованием Полупанова и Степанова. Теперь, отряд Петренко, по примеру многих отрядов, направлялся на другие красные фронты. По непроверенным данным, Петренко был из Сибири и получил разрешение из Центра переброситься на Сибирский красный фронт, против контр-революции генералов Дутова-Колчака.

Но власти „Царицынской Советской Республики” приказали разоружить его еще в пути, до Царицына. Отряд Петренко не подчинился этому приказу и, разбив высланные против него красные части, подошел к Царицыну в надежде выяснять недоразумение, тормозящее его передвижение вперед, и поехать далее. Однако, власти, во главе с *Мининым* и *Гулаком* (Ворошилов тогда только подымался и многим не казался еще таким великим, как первые два, хотя он был уже тогда умнее и выдержаннее их), решили разоружить отряд Петренко во что бы то ни стало. Носились слухи, что Военный Народный Комиссар Троцкий тоже был согласен на разоружение этого отряда. Это еще более ободряло Царицынских правителей в их выступлении против отряда Петренко.

Но Петренко, как и его отряд в целом, сознавая за собою крупные революционные боевые заслуги на Украинском

фронте против контр-революции, не мог примириться с тем, чтобы их — ничем противореволюционным себя не запятнавших — имели право разоруживать те, кто, до того времени, революционного боевого фронта даже не видел, а со спокойной совестью сидел себе определенные часы в Ревкомитетах, по городам, и подписывал не всегда для дела революции полезные бумажонки, а в свободное время преспокойно прогуливался в парке, или на катере по широкому раздолью Волги, с одной-двумя „свободными работницами революции”, как их называли грубоватые, но честные сотоварищи Петренко по оружию.

Поэтому отряд Петренко и на сей раз запротестовал против того, что власти приказали ему сложить оружие, и запротестовал так, как может протестовать революционный боец, веривший в идею солидарности равных, но увидевший власть и ее подлое поползновение оседлать революцию, загнать ее в чисто партийные рамки, кастрировать ее в интересах политического господства партии.

Отказ отряда Петренко сложить оружие перед властью Царицынского Ревкома вызвал вооруженное наступление против него. Из города потянулись красноармейские части, которые всего несколько дней как сбросили с себя имя красногвардейских и как-будто стройнее шли на бой, поддерживая престиж армейщины. За ними тянулись пулеметы, орудия. Жители города насторожились. Кто не знал, в чем дело, спрашивал другого.

А контр-революционная сволочь всюду рыскала в толпе и нюхала: не подошли ли казацки белогвардейские отряды к Царицыну, не время ли начать в тылу Революции свои грязные контр-революционные делишки решительнее и более открыто. И когда эта сволочь узнала, что казацки белогвардейские отряды от Царицына слишком далеко, а бой затевается между своими, она, хотя и радовалась, но решительность свою теряла и натягивала поплотнее свои маски.

Какая-то жуть охватывала нас, украинских революционеров, отступивших из Украины и надеявшихся встретить в России всех тружеников за прямым своим делом — за революционным строительством, свободным и самостоятельным, чуждым какой бы то ни было политической авантюры со стороны тех, кто подошел к ним под флаг социализма и на словах стремился помочь им избавиться от векового

рабства. Мы встретили всюду ложь, приказы и окрики начальников, поддерживающих эту ложь.

Вооруженное наступление против отряда Петренко особенно подчеркивало торжество лжи над правдой, — правдой, на основе которой трудящиеся, с первых дней революции, пытались закладывать фундамент своего нового свободного общества и с этой целью распределяли свои силы, группируя их в армии построения этого общества и защиты его. Хотелось броситься навстречу шедшим против отряда Петренко красноармейским колоннам и кричать: — Куда вы идете? Вас ведут убивать своих, — тех, кто честно боролся на фронте революции и не по своей вине отступает с мыслью, чтобы с другой стороны, на другом участке, ударить против контр-революции... Хотелось тем более остановить эти колонны, что они были в шесть-семь раз многочисленнее отряда Петренко и лучше вооружены. Однако, то обстоятельство, что части уже наэлектризованы и двинулись с места, что их уже никто и ничто со стороны не может остановить, меня удерживало от вмешательства, и я, с тяжелой болью в душе, постыдно остановился и стал в ряды нейтральных наблюдателей за черным делом власти: власти новой, рожденной и воспитываемой под влиянием „социализма”.

Царицынские красноармейские войска проходили уже Северо-Кавказский вокзал г. Царицына, вытягиваясь по направлению хутора Ольшанское, где остановился эшелон с отрядом Петренко. Казалось, они его сотрут. Но... закаленные в длительных боях с отрядами Центральной Рады и немецко-австро-венгерскими армиями, рабочие и крестьяне отряда Петренко верили в свою правоту, и эта вера вселяла в них дух стойкости революционных бойцов, держащих в своих руках оружие не по принуждению, а добровольно и во имя подлинного освобождения трудящихся.

„С этой здоровой мыслью, — говорили мне впоследствии бойцы из отряда Петренко, — мы шли на фронт против контр-революции Украинской Центральной Рады и ее союзников — немцев, мад'яр и австрийцев. С этой же мыслью мы решили встретить и людей, продавшихся власти, шедших нас здесь убить”.

Я наблюдал начало боя. Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко

было все население хутора Ольшанское и прилегающих к нему других хуторов. Оно возило воду, хлеб, соль отряду Петренко. Оно собирало винтовки и патроны для него, все время и во-время ставя его в известность о том, откуда его обходят и откуда могут обходить войска власти.

Я видел, наконец, как отряд Петренко, в 6-7 раз уступавший числу своих убийц, обратил этих последних в бегство, заставив бросить не только подбитые автоброневики, но и целые, с ранеными и убитыми бойцами.

Однако, отряд Петренко, как и сам Петренко, этим выгодным для себя положением не воспользовались. Как революционный отряд, до сего времени действовавший в солидарности с революционной властью, он хотел от нее только справедливого разрешения случившегося; или, если она стыдится разрешить в справедливой форме то, что сама же натворила, то от нее требовали только открыт отряду свободное продвижение через Царицын в требуемом направлении.

Тогда власти прибегли к иезуитской хитрости: они предложили переговоры отряду Петренко. А когда переговоры приближались к концу и Петренко нечего было уже остерегаться (как утверждали бойцы его отряда), власти схватили Петренко и заточили в тюрьму, а от отряда потребовали, якобы даже за подписью самого Петренко, сложения оружия. Этот иезуитизм Царицынской власти помог ей обезоружить отряд и, разбив его, влить в красноармейские части, некоторое время не давая разбитым по частям бойцам оружия на руки.

*
*
*

Как-раз в то время, когда Петренко был схвачен и посажен в тюрьму, а его отряд обезоружен и разбит на группы по верноподданническим красноармейским частям, находившимся в эшелонах на Северо-Кавказском Царицынском вокзале, я посетил некоторых из этих бойцов, с целью разузнать о характере переговоров, которые велись после боя их с властью, а также о судьбе арестованного их командира. Бойцы эти знали меня еще из Украины: вместе с ними я и мои товарищи гуляй-польцы отступали до г. Таганрога. Они не ожидали от меня злонамеренных подходов. Они знали, что я анархист-коммунист, и были откровенны в своих раз'яснениях сути дела.

Все они с особой радостью рассказывали мне о том, что они переживали на Украинском фронте, когда боролись, под высшим командованием Антонова-Овсеенко, против нашествия контр-революционных немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной Рады, которая действовала на Украине против тружеников, творивших революцию. При этом, радость их иногда соединялась с чувством счастливого удовлетворения и сознания, что они, труженики села и города, поняли, наконец, что освободить себя они могут только силою оружия и сами, своею твердостью воли и смелостью непосредственных действий в осуществлении своих целей. Но когда речь переходила на их настоящее положение, на положение уважаемого ими всеми их командира Петренко, радость на их лицах быстро исчезала. Некоторые, понуриив головы, замолкали. Другие с горечью рассказывали мне, что к их отряду власти начали придираться от самой ст. Тихорецкое. Придирки эти выражались в саботаже своевременной отправки эшелона, в несодействии закупке провианта, в несмелых, но понятных намеках на то, что отряды, вышедшие из Украины, не могут двигаться вооруженными по России: они должны разоружиться, об'явив себя беженцами, и т. д.

— Для нашего отряда, — говорили они, — хотя он и состоит в большинстве из украинцев, крестьян и рабочих, а не русских, такое отношение революционных властей было крайне обидным. Ибо мы прежде всего — революционные труженики. Мы взяли в руки оружие и боремся за революционные цели тружеников. И нам казалось, что мы имели право ехать по революционной стране, не складывая оружие, тем более, что наш командир Петренко ходатайствовал перед высшим командованием о том, чтобы последнее разрешило нам перебраться в Сибирь против генералов Дутова-Колчака, и высшее командование, якобы, не против этого.

— А правда ли, что ваш командир — житель из Сибири? — спросил я у бойцов.

— Родственники его переселились, якобы, в Сибирь, на поселение. Сам Петренко и его отец живут на Украине. Многие из нас его знают, — ответили мне мои собеседники.

— А что грозит ему? — спросил я их.

— Нам об'ясняют, что он будет освобожден. Но мы это-

му не верим и думаем, что как только получим на руки оружие, мы употребим все свои силы, чтобы освободить его.

Прозвнесший эти слова повернулся к своим товарищам, как-бы за подтверждением, и его слова были подхвачены хором: — „Да, мы не остановимся ни перед чем, когда мы будем вооружены. Наш Петренко должен быть с нами. Это наша гордость. С ним мы пойдем на самый опасный фронт против контр-революции. Вы, — говорили мне мои собеседники, — были с нами на Украине, кажется на ст. Царе-Константиновке. Вы видели, что все чисто большевистские отряды почти первые бежали из этого боеучастка, боясь быть отрезанными немецкими отрядами. А мы оставались на фронте. Наш Петренко сказал нам, что немцы отрезали под Бердянском анархический отряд матроса Мокроусова. Мы старались втянуть в дело все проходившие мимо нас отряды, чтобы помочь Мокроусову выбраться из кольца. И хотя нам не удалось это выполнить, мы оставались на фронте до последней минуты, пока можно было. За это время мы точно выяснили, что отряд Мокроусова прорваться в направлении, куда отступают все красногвардейские отряды, не может, и поэтому грузится в Бердянском порту на баржи и будет к Таганрогу отступать по морю. Когда наш Петренко получил точные сведения, что тов. Мокроусов уже погрузился и благополучно отчалил из Бердянского Порта, тогда только мы, петренковцы, снялись с фронта, на котором несколько дней оставались одни-одинехоньки, и направились по направлению к Таганрогу”.

— Вы, товарищ комиссар, — обращались мои собеседники ко мне, зная меня по пред'явленному мною еще на Украине, на ст. Царе-Константиновке, документу: „Главный Комиссар Временного Комитета Защиты Революции”, — должны знать, чем занимались, в то время, когда мы оставались на фронте, такие хваленые большевистские, в перемену с анархистами, отряды, как отряд матроса Полупанова. Он был далеко от фронта, в г. Мариуполе, и воевал с инвалидами фронтовиками, которых вся вина была в том, что они выявили свое недовольство революционной властью, отказавшейся заботиться об этих калеках, жертвах преступного самодержавия. И вот, этот, сомнительный в смысле революционной чистоты, красногвардейский отряд находится на почетном месте у революционной власти. С ним так

подпо власти не поступят, как поступили с беспартийным революционным героем Петренко и его отрядом!

Этот выкрик рядового бойца из отряда Петренко был стоном души всего отряда. Тяжело было дальше говорить с этими безымянными носителями идеи самодеятельности, которая зашевелилась в проснувшейся от векового рабства широкой массе трудящихся села и города. За ним, за этим стоном, скрывалось слишком много гнева массы против всех, кто не может, или не хочет ее понять.

К тому же бойцы, услышав сигнал к обеду, начали шатаются и спешно уходить на обед. Лишь один из них положил мне на плечо руку и на ходу, подавленным голосом, волнуясь, сказал мне: „Не говорите ни с кем на стороне о том, что вы услышали от нас. Время опасное, нас временно могут, как кур, перестрелять...”

— Я, конечно, нигде об этом не зайкнусь, — ответил я наивноному красногвардейцу: — Но советую вам всем быть осторожными. И если вы думаете силою освободить своего командира из тюрьмы, вы должны точно выяснить, что именно ему грозит, а затем уже, когда узнаете, что обезумевшие власти хотят над ним потешиться, думаю расстрелять, то вы должны выяснить, как ваш командир охраняется, и какие шансы могут быть у вас на то, чтобы его сейчас же вывезти из г. Царицына. Ибо ваши действия на этом пути могут принести слишком большой вред и самому Петренко, и вам, в особенности, если они окажутся несвоевременными и недостаточно решительными.

— „Спасибо за совет, — сказал мне на все это красноармеец Б., — но я должен вам сказать, что мы и не думаем о том, чтобы, когда освободит Петренко, вывезти его сейчас же из Царицына. Мы думаем, что мы теперь не остановимся перед тем, чтобы весь город занять; и мы это сделаем, как только наш боевой командир Петренко будет нами освобожден. Мы знаем теперь настроение в Царицынском гарнизоне, знаем его и среди тех красноармейцев, с которыми мы находимся. Мы уверены, что эти красноармейские части, среди которых мы находимся, мы разоружим в тот момент, когда выделенный из нас отряд пойдет за Петренко. Это все уже обсуждено и рассчитано.

— Я не верю в успех вашего дела, — заметил я своему собеседнику: — Я убежден, что вы провалитесь на этом де-

ле уже по одному тому, что ставите задачей занятие горо-
да, вместо того, чтобы отважно налететь на тюрьму, или
где Петренко сидит (об этом вы должны точно узнать), и,
забрав Петренко, сейчас же переправить его с пятью-
десятью товарищами-красногвардейцами (наиболее надеж-
ными) через реку Волгу или в другие отдаленные от Цари-
цына места... Этого от вас требует и долг по отношению к
Петренко, которого вы все поддерживали в его отказе сло-
жить оружие перед Царицынскими властями, и по отноше-
нию к революции, знамя которой вы не опускаете, а дума-
ете с ним идти еще смелее вперед...

Красногвардеец несколько смутился моим замечанием
и растерянно глянул на меня, а затем, тесно прижав мое
плечо к своей груди, сказал: — Я с вами, товарищ, очень от-
кровенен; и это потому, что я в вас уверовал... Вы помните
меня? Я на станции Царе-Константиновка (еще на Украине)
держал вашу голову на своих коленях, когда вы отдыха-
ли... Правда, тогда я заботился о вас не по своему желанию:
мне это было поручено нашим взводным, который видел
ваши документы (когда их смотрел сам Петренко); он знал,
кто вы, и он приказывал всем красногвардейцам того ва-
гона, в котором вы поместились, чтобы вам место было, и
чтобы все держали себя с вами, как подобает революцион-
ным бойцам. Так я говорю вам, товарищ, я в вас уверовал
и откровенен с вами. Будьте же и вы таким, скажите мне
чистосердечно: вы оправдываете Царицынские власти в
том, что они повели переговоры с нами, а в конце, когда
наш отряд должен был обратиться ко всем отрядам и насе-
лению Царицына и округа с пояснением, что столкновение
между ним и революционной властью произошло по недо-
разумению, что контр-революционеры не могут питать
надежды на то, чтобы, пользуясь этим столкновением, раз-
вивать свое черное дело против революции, и т. д., — они,
эти непрощенные властители, провокаторским образом
схватили Петренко и, при помощи поддельных его подли-
сей, повлияли на отряд, так что он допустил к себе их силы
и дал им разоружить себя?.. Вы оправдываете это подло-
е дело власти?.. Скажите мне чистосердечно... Меня просили
мои товарищи спросить вас об этом.

На все это я ответил: — Я не только против черного дела
по отношению Петренко и всего вашего отряда со стороны

Царицынских властей, я против самой власти также... Но
задуманное вашим отрядом дело — слишком ответственное
дело. Белогвардейцы по всему фронту гонят красные войс-
ка Кубано-Черноморской Советской Республики. Из-под
Ростова-на-Д. красные войска отступают тоже. Насколько
верно (власти это скрывают), на Царицынском боючастке
фронта Революции тоже тревожное состояние. И если ваш
отряд совершит нападение на Царицынский Революцион-
ный Комитет, на штаб фронта, он очевидно всех там пере-
бьет, не рассуждая о том, удержит ли он г. Царицын в своих
руках и не поколеблет ли этим своим действием фронта
против казаков, который и без того шаток. Революционеры
должны все это учесть. В противном случае, все неудачи на
фронте против казаков будут связаны с вашим действием
против Царицынских революционных властей. Все труже-
ники вас обвинят в контр-революционных намерениях и
строго осудят... Это даст право властям, при вашей неуда-
че, перестрелять всех, без всякого суда или опроса вас о
том, что вас побудило на это смелое и открытое повторное
действие против нее в столь тяжелый момент для фронта
революции против контр-революции... Поэтому мое иск-
реннее и, как вы выразились, чистосердечное мнение мож-
ет быть в данном случае только одно: если у вас в отряде
есть дельные товарищи, которые полны отваги и сил, что-
бы вырвать из тюрьмы Петренко или умереть вместе с ним
(ибо если дело будет проиграно, то ни с этими людьми, ни с
самим Петренко революционные власти возиться не будут,
положение дел на фронте заставит их раз и навсегда осво-
бодиться от Петренко и от людей, покушающихся его осво-
бодить...), то я советовал бы вам всем действовать только
через этих готовых на все товарищей и в направлении
только освобождения и увоза из Царицына Петренко. В
этом направлении на вашей стороне много шансов, при
условии, повторю, если действия ваших людей будут сво-
временны и решительны...

— „Гм... гм... А нам казалось дело освобождения Пет-
ренко, занятие города Царицына, разгон из него всех вла-
стей, которые так много наделали нам подлостей и против
которых почти все население города и окрестностей, делом
совсем легким, — медленно, уставшим голосом заметил мой
наивный товарищ красногвардеец и тут же добавил: — Обо

всем, что я сейчас говорил с вами и что вы ответили мне, я сегодня же или завтра, не позже, поговорю со своими близкими, и тогда мы подойдем к делу более решительно... Приходите завтра к трем часам на вокзал. Я вас буду ожидать с двумя хорошими своими товарищами. Мы еще кое-чем посоветуемся с вами. Вы только не говорите, пожалуйста, об этом ни с кем на стороне...

Это были последние его слова о „деле”. Он стиснул мне руку своей крепкой крестьянской мозолистой рукой и, тяжело вздохнув, с тоскливой улыбкой, повернулся и ушел...

Я долго смотрел ему вслед, ожидая, что он оглянется. Но вспомнив, что *украинские крестьяне всегда и везде одинаковы в своей прямоте*, я пошел, также не оглядываясь, в своем направлении.

*
* *
*

По дороге, я продумал все слышанное из уст красногвардейца и ощущал сильную боль на сердце за все, все!.. И в первую очередь за то, что мы, анархисты, так бесшабашны в смысле организованности... Это делает нас такими беспомощными, в смысле влияния на ход революционных событий в стране, что становится стыдно... Стыдно мне было не только перед широкими трудовыми революционными массами, которые в настоящей революции видели средство к их подлинному освобождению от экономического и политического рабства, но и перед самим собою. Я вполне отчетливо сознавал, что в настоящей революции можно будет лишь создать *подлинные средства* для такого освобождения тружеников. И нужно было питаться глубокой верой и порожденными ею надеждами, что анархисты опомнятся и проявят себя в этой области так, как этого требует время, чтобы преодолевать в себе ощущение этой боли.

Ведь будь мы способны организованно войти в ряды трудящихся и оказать им в их прямых действиях в тылу и на фронтах за Революцию надлежащую организованную помощь, то разве воцарившаяся за счет этих борющихся масс большевистско-лево-эсеровская власть позволила бы себе заниматься совершенно безнаказанно такими черными делами, как присвоение себе права, по своему усмотрению, одних революционеров разогнать, другим запретить

иметь свое мнение о ней, третьих, под всевозможными предложениями, обезоружить, расстрелять? Никогда, ни за что! При всей силе соблазненных ею латышских, китайских и мад'ярских штыков, эта власть не осмелилась бы так подличать по отношению к революции, питающей свое широкое русло всеми революционными идеями, всеми на них воспитанными и ими созданными трудовыми силами...

Размышляя об этом, я вдруг почувствовал острую тоску по Гуляй-Полю, по его трудовому революционному району, который теперь был занят настоящими палачами революции на Украине: немецко-австро-венгерским юнкерством и бандами Украинской Центральной Рады. Я мысленно, по тем отрывочным сведениям, которые получал из Гуляй-польского района, будучи еще в Таганроге, представлял себе дикий разгул этих палачей. Все это еще сильнее помогало мне чувствовать справедливое возмущение красногвардейцев-петренковцев деяниями Царицынских революционных властей против как самого Петренко, так и его боевого революционного отряда.

Однако, планы этого отряда освободить Петренко, занять город, разогнать из него всех представителей власти, что, по моему мнению, могло быть успешно осуществлено лишь при поголовном уничтожении сопротивлявшихся, эти планы Петренковского отряда меня тревожили. Зная бойцов этого отряда, видя их и беседуя с ними, я ничуть не сомневался в том, что они, если решат действовать, будут действовать, как львы, с убеждением, что они борются за цель, за которую не жаль умереть. Но цель эта, по моему мнению, должна была создать для них такие условия, из которых им было не выбраться: они все погибнут с запоздалым резким осуждением самих себя.

Поэтому я, учитывая все те опасности, какие могли обрушиться на меня за мое посещение петренковцев, решил все же, во чтобы то ни стало, видаться с ними на другой день в условленные часы и еще раз подчеркнуть им, чтобы они поспешили лишь освободить из тюрьмы Петренко и увести его подальше от Царицына, не думая о бессмысленном занятии всего города и о сведении счетов с его правителями...

На такое решительное отговаривание петренковцев от их планов занять город и посчитаться с его правителями, —

помимо того, что в этих планах петриковцев я видел необузданную жажду мести, бессильную оправдать себя, меня толкало еще и то обстоятельство, что я в этот же день наткнулся на Ворошилова, в то время создававшего 10-ю Армию. Он выступал перед массой портовых рабочих, освещая им положение Царицынского фронта революции против контр-революции. По речи, — чисто деловой, но сильной речи Ворошилова, я понял, что на фронте революции неудачи, что его нужно поддержать свежими силами. Я тут же выступил, после речи Ворошилова, и осветил этим труженикам то, что творят немецкие юнкера и отряды Украинской Центральной Рады над революционными украинскими тружениками. Я тоже призывал их оказать помощь вооруженному фронту революции против казаков, которые своей ближайшей задачей ставили занятие г. Цырицына, как центра группирования революционных сил.

Помнится, Ворошилов тогда имел большой успех. Рабочие вынесли резолюцию, что они пойдут на фронт...

Итак, нарисованное Ворошиловым на митинге портовых рабочих тяжелое положение на Царицынском фронте усилило во мне решение во что бы то ни стало отговорить красногвардейцев-петренковцев от мысли нападения на Революционный Комитет и Совет Раб., Крест., Солд. и Казачьих Депутатов г. Царицына с целью овладения городом и разгона, как петренковцы выражались, засевавших в нем правителей. Поэтому, на другой день, в указанный час я был на месте. И когда красногвардейцы петренковцы встретились со мной (их было на сей раз пять человек), я без стеснения заявил им, что я серьезнейшим образом обдумал их планы и нашел их никуда негодными, а последствия их выступления вредными для нашего общего революционного дела.

Я объяснил им положение на Царицынском фронте; пояснил, какой удар этому положению они нанесут своим выступлением в городе и упорно настаивал, при этом, чтобы они и сами высказались по этому вопросу.

В конце концов, петренковцы сказали мне: — Мы долго обдумывали то, о чем вы вчера говорили с Алексеем, и считаем, что вы правы. Мы решили, что нельзя нам делать то, что и не под силу, и может оказаться непоправимо вредным для всех нас, для нашего общего дела и революции... На этом мы определенно остановились... Но мы не покидаем

мысли о нашем командире, Петренко. Мы хотим его освободить. У нас есть люди, которые рискнут на все, и они к этому готовятся. Беда лишь в одном, что нам до сих пор не выдают на руки оружия. Мы до сих пор болтаемся среди вооруженных без оружия, хотя представляем часть вооруженных.

На мой вопрос: — Ходите ли вы к Петренко на свидание? — я получил ответ: — „Этого нельзя делать: нам говорят, что над ним скоро будет формальный суд, после чего он будет освобожден... Мы этому не верим. Поэтому мы выделяем из себя людей, чтобы освободить его силой“.

— Вот об этом, на мой взгляд, вы должны позаботиться: освободить Петренко от казни — ваш прямой долг, и чем скорее вы его исполните, тем лучше будет для Петренко, да и вы будете спокойны за его жизнь.

На освобождение Петренко силою из тюрьмы я упорно настаивал. На мой взгляд, это могли сделать 8-10 человек, даже без винтовок, а с револьверами и бомбами. А так-как у петренковцев охотников на это дело было, по их уверениям, более двухсот человек, то дело обстояло еще лучше. Из этого количества можно было выбрать 10—25 человек самых дельных, и они бы все сделали... Это я советовал петренковцам. На этом я настаивал, так-как считал сопротивление Петренко и петренковцев зазнавшимся революционным властям актом справедливости, которым они отстаивали свою революционную честь. Наоборот, иезуитские переговоры этих властей с Петренко и затем предательскую западню для него, с помощью которой они уверили Петренко, что конфликт между ними совершенно ликвидируется, и что он через день-два сможет свободно уехать на фронт, а затем схватили его и посадили в тюрьму, готовя для него смертный приговор, я считал хамской наглостью, свойственной именно подлым иезуитам. А ведь Царицынские власти были революционерами в то время! И это возмущало меня; это побуждало меня советовать петренковцам взять своего командира силою оружия из-под стражи этих властителей, хотя бы это стоило больших жертв со стороны тюремных палачей.

В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками сбить с пути чувство долга и справедливости.

Освобождение Петренко самими петренковцами убедило бы воочию Царицынские революционные власти, что, хотя, по глупости, поддерживаемой подкупленными штыками, можно затеять все, что угодно, но — сила долга и справедливости тех, против кого власти что-то обдумывают, могут всегда предотвратить то, что властями затевается.

Я слышал среди „революционных” кругов, отступавших из Украины вместе с Центральной Украинской Советской властью или под ее покровительством до Царицына и днем где-то вылеживавшихся, а с 4-х часов пополудни появлявшихся разодетыми и подпудренными в Царицынском парке; среди публики, прогуливавшейся вокруг клумб, — слышал я в этих кругах разговоры о том, что Петренко давно расстреляли или, если еще не расстреляли, то не сегодня-завтра расстреляют...

Несколько раз я был у председателя Революционного Комитета — Минина. Пытался заговаривать о Петренко с ним и его приближенными. Но в Революционном Комитете я ни разу не слышал таких авторитетных сведений о Петренко, как в „революционных” кругах Царицынского парка. В Революционном Комитете я слышал всегда один и тот же монотонный ответ: „Петренко предается трибуналу. Какие будут решения трибунала, сейчас трудно сказать”...

В парке же, от уставших на Украине в „тяжелой борьбе” (скорее всего, с дамами, и тоже по паркам) „революционных” кругов, отдыхавших теперь в гостеприимном для них Царицыне, я всякий раз слышал о Петренко хотя и меняющиеся, но зато более утвердительные сведения. Это говорило мне, что отдыхавшие „революционные” круги гораздо лучше осведомлены о деле Петренко, — обстоятельство, которое увеличивало их престиж и давало им, как всем нахалам, право быть более смелыми в своих рассказах, как о самом Петренко, так и о том, что над ним уже свершилось, или, если еще не свершилось, то *не сегодня-завтра свершится*.

Все это меня, правда, только злило, но не говорило мне ничего определенного, на основании чего можно было бы дать петренковцам материал, который заставил бы их поспешить забрать Петренко из-под стражи.

Я советовал им спешить с этим делом, и они приняли мой совет во внимание. Они спешили. Но... власти их опе-

редили. Петренковцы, разбитые по группам и влитые в другие, чуждые по духу, красноармейские части, были высланы на фронт... а Петренко был убит в подвале чеки!.. И, характерно, убит он был не как красный командир, не подчинившийся красным правителям, по глупости своей требовавшим от него сложения оружия, а как злостный контр-революционер.

Для меня этот позорный акт революционной власти был настоящим злостным по отношению и к самой революции, и к чести носителей ее идей, что я не находил ему никакого оправдания и на минуту усомнился в том, что эта власть преследует вообще какие бы то ни было революционные цели!..

Этот позорный акт Царицынской революционной власти, — акт, клеймивший Петренко злостным контр-революционером, запечатлелся в моей памяти с такой же силой, как акт агентов немецкого юнкерства и Украинской Центральной Рады в Гуляй-Поле, в апреле месяце (см. первый том моих записок), хотя эти акты позора по существу не сравнимы. Но оба они всегда терзают мою душу, напоминая мне о том, что они *были*, и что имеется почва для их повторения.

Глава VIII.

ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ ИЗ „РЕВОЛЮЦИОННЫХ” КРУГОВ.

Часть коммунаров, из-за встречи с которыми я отстал от т. Б. Веретельника (с ним я должен был посетить гг. Москву, Петроград и Кронштадт), прибыли, недели полторы тому назад, в г. Царицын и, не выгружаясь из вагонов, переезжали с одного вокзала на другой: постоят день-два в одном тупике, а затем их перегоняют в другой. Они, мои близкие, дорогие, за которыми я гнался из г. Таганрога и след которых потерял в Ростове-на-Дону, они теперь в Царицыне. Кто-то из „революционных” кругов, отдыхающих в Царицыне, видел кого-то, кто сказал, что Гуляй-Польские коммунары тоже здесь.

Бегаю, словно угорелый, ищу этого „кого-то“...

С трудом напал, наконец, на след — не своих коммунаров, нет! — на след этого „кого-то“. В парке среди прогуливающих „революционных“ кругов, отдыхающих в Царицыне, я нашел кой-каких осведомленных лиц. Я подробно расспросил их о том, не знают ли они, кто из них видел Гуляй-Польских коммунаров здесь, и где именно?

Мне ответили: — Гуляй-Польских коммунаров видели здесь люди из „революционных“ кругов. Подробности можно узнать лишь завтра, на „базаре-толкучке“. И тут же указали мне, где я могу найти этот базар.

Поблагодарив любезных представителей „революционных“ кругов, я пошел к себе, в отель. По дороге я подумал: лучше всего сейчас же разыскать этот базар, чтобы утром идти туда прямо, не затрудняя ни себя, ни милиционеров расспросами.

Пошел и нашел...

В отеле я встретился с Александровскими людьми. Они принадлежали тоже к „революционным“ кругам. Из них женщины торговали своим телом, а мужчины получали от Царицынского Совета для себя и для этих женщин бесплатные номера в отеле и занимались какой-то другой профессией — какой, за один вечер трудно было определить. Среди этих представителей „революционных“ кругов нашлось много таких, которые меня узнали. Они видели меня, в январские дни, в городе Александровске, в Революционном Комитете, на могиле видного большевистского работника, убитого в те дни из пулемета в Александровском Революционном Комитете. Эти люди напомнили мне даже некоторые подробности: например, после кого я на этой могиле выступал (мы, анархисты, как члены Революционного Комитета, принимали участие в похоронах этого молодого, но славного большевистского работника, нашего сотоварища в Александровском Революционном Комитете). Такие данные этих людей обо мне привели меня к мысли, что я встретился, действительно, с людьми революционных кругов, несколько поопустившимся, вследствие тяжелых условий. И я, не задумываясь, набросился на них с расспросами о том, не видели ли они здесь кого-либо из Гуляй-Польских коммунаров. — Как-же, видели, и даже ели у них вареники, — получил я ответ.

И эти люди рассказали мне, что на берегу реки Волги, на одном из тупиков линии железной дороги, стоят эшелоны с беженцами: „Мы там были и наткнулись на Гуляй-Польских коммунаров, которые варили на треножниках, в больших чугунных казанках, вареники с сыром. Эти вареники нас заинтересовали, и мы обступили костер, где они варились, а потом попросили попробовать вареников, нам их и дали. — О, чудные вареники! — кричал один. — Я хотел их все закупить для наших людей, так не продали, сказали: мы не продаем, — кричал другой“.

Это повествование о людях, с которыми я вместе рос, долгие годы жил под гнетом самодержавия, от которых затем был оторван тюрьмой, каторгой, и с которыми снова встретился в дни революции на деле организации сельскохозяйственных коммун, — это повествование сорвало меня с места. Я упросил одного из рассказчиков сесть со мной на извозчика и поехать к тому месту, где он ел вареники у Гуляй-Польских коммунаров. Упросил я его с трудом. По общему мнению, именно он был наиболее свободен в 12-ом часу ночи. Остальные были чем-то особо важным заняты.

Вышли из отеля, прошли саженной с тридцать, взяли извозчика, поехали к парходным пристаням. У места, подехали к одному эшелону, соскочили, разбудили в одном из вагонов спавших беженцев. Спросили, откуда? Оказались не те, кого ищем. И так к другому, третьему, четвертому эшелону. Всюду нас брали, но мой проводник знал все денные и ночные порядки г. Царицына: он по-чиновничьи покрикивал на ругавших нас, разбуженных нами, беженцев, и те умолкали. В четвертом эшелоне нам сказали, что Гуляй-Польские коммунары вчера переведены куда-то на другую линию. Но мы дальше не могли уже их разыскивать. Человек из „революционных“ кругов предупредил меня, что он должен спешить обратно в отель, он должен приготовиться к базару. Поэтому мы возвратились в отель.

По дороге в отель, я уговорился со своим проводником, чтоб вместе с ним пройтись на базар, и уже не заходил к людям из „революционных“ кругов, — людям, имевшим право всю ночь жечь свет в номерах, орать, как кому вздумается, и прочее. Я зашел в свой номер, заперся и лег прилечь.

На утро я поднялся, сбежал в столовую позавтракать и заполнил пропущенную часть дневника. Затем поднялся к людям из „революционных” кругов, узнал, когда мой ночной проводник пойдет на базар, вышел во двор, сел на скамейку и начал поджидать его. А когда он вышел с какими-то пачками под руками, мы пошли на базар.

Базар на половину уже собрался. Мой проводник быстро присел возле одного торговца, по виду тоже из „революционных” кругов, но который, как более практичный, успел уже откупить себе на базаре постоянное место и раскладывал на нем всевозможные товары. Товары были различные: здесь лежали мужские и дамские шляпы, часы, ботинки, портмоне, очки и пенснэ, всевозможные, — правда, в не-большом количестве, — парфюмерные товары.

Мой проводник быстро развернул свои пачки, вынул из них свои товары. Они заключались в мужских и дамских кожаных и парусиновых поясах, подтяжках, различного качества и величины цепочках и браслетах. Он обвешал себя ими и сказал мне: — Пока до свиданья. Мне нужно потрговать. А вы поищите здесь людей, которые, вероятно, знают, где ваши Гуляй-Польцы.

Я не удержался и спросил своего проводника: — Да, вы что, и в Александровске торговали этими вещами?

— Что вы, что вы! В Александровске мы работали в производственной управе... Эти товары мы приобрели в Ростове, во время отступления. Мы как знали, на них здесь большой спрос, мы их сбываем, — ответил мне, не краснея и не смеясь, мой проводник.

Я смутился. Бывший мой проводник, сейчас торговец „красивым трудом” приобретенными, пусть даже у грабителей буржуа, товарами, заметил мое смущение и поспешил меня подбодрить следующими словами: — Вы, товарищ Махно, смущаетесь, что видите меня торговцем... Теперь такое время. Все наши, отступившие от контр-революции, этим занимаются...

— Тем позорнее для них, — сказал я ему.

— О, что с вами, тов. Махно, — говорит: — Вы не хотите подумать, как жить. Вы думаете, легко здесь жить? Э-э-э, это не дома. Если бы мы здесь не трудились, мы были бы

голодны и оборваны уже, как жулики. А впрочем, поговорим об этом после... Сейчас некогда, нужно подработать. До свиданья! Ищите здесь знающих, где ваши коммунисты... — заключил мой бывший проводник и исчез в базарной толпе.

„Вот так революционные люди”, — подумал я в ту минуту. Но думы мои быстро сменились новыми впечатлениями. Мне на глаза начали попадаться десятки людей из „революционных” кругов с разнообразнейшими товарами на руках и на плечах. Всех их я видел раньше в Царицынском парке обсуждавшими ежедневно вопросы о революции, о ее успехах и поражениях на многочисленных фронтах борьбы против вооруженной контр-революции...

Среди встреченных мною на этом базаре новых торговцев из „революционных” кругов я видел многих, которых до Царицына встречал среди большевиков, социалистов и анархистов. Это причиняло мне глубокую боль, — мне, веровавшему в революцию, как в единственное средство освободить трудящихся от власти капитала и государства, мне, до фанатизма зараженному верой, что в момент революции все угнетенные примут посильное участие в той или иной области и этим самым помогут ей проявить себя в подлинном трудовом народном духе и творчески завершиться без политических уклонов, без смертельных поражений... И я страдал болью этого фанатика революционера-анархиста. Но в то же время я был счастлив этой встрече с торговцами из „революционных” кругов, отступавших из Украины и нашедших себе отдых с правом торговли всем и вся в гостеприимном г. Царицыне. Я был счастлив потому, что не видел среди них ни одного из своих братьев по классу: крестьян.

Эти люди в большинстве своем были ремесленники, мелкие лавочники, еврей-торговцы, всякие полубуржуа, а в меньшинстве — оторвавшиеся от своего прямого дела в революции рабочие или, по крайней мере, бывшие рабочие. Ни одного крестьянина среди этих людей из „революционных кругов” не было. И это, действительно, поддерживало меня морально. Это делало счастливым меня, верившего в крестьян и надеявшегося с ними еще и еще раз выпрямиться во весь рост в практическом деле революции и сразиться с врагами ее.

Среди всех этих людей я встретил, наконец, человека, который видел моих „коммунистов“ (как он выразился) закупавшими на этом базаре продукты. Этот человек был тот самый, который привел меня на базар и час тому назад убежал от меня. Теперь, со стыдом, изменившим его лицо, он свернул свои товары и провел меня в одну из улиц, идя по которой и никуда не сворачивая, я наткнулся на линию железной дороги, пролегающей над рекой Волгой. Здесь стояли вагоны, в которых помещались Гуляй-Польские коммунары. Еще не дойдя до места, я встретился с одним из коммунаров, т. Васильевым, который и довел меня к месту.

ГЛАВА IX.

ВСТРЕЧА С КОММУНАРАМИ, РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ НА ХУТОРЕ ОЛЬШАНСКОЕ И МОЙ ОТЪЕЗД ОТ НИХ.

Никто из коммунаров не думал встретить меня в России. Все они знали, что сидеть без дела я не буду нигде. И все предполагали, что я вернулся уже на Украину, в свой родной район, и если не попался немцам, то что-либо готовлю для них ужасное, как для палачей революции.

Лишь моя подруга, милая Настенька, — она была накануне родов, — и слышать не хотела о том, что я не постараюсь встретиться с нею перед родами. Она ожидала меня каждый день. Иногда тосковала о том, что ее ожидания, по рассказам коммунаров, могут оказаться напрасными. Теперь ее ожидания сбылись. Теперь, оставив тов. Василевского далеко позади себя, натянув шляпу и понурив голову, я подходил к вагонам, в которых жили коммунары, никем незамечаемый. И когда я подошел умышленно не к тому вагону, в котором помещалась моя дорогая, милая подруга, и сказал, обращаясь к коммунарам: „Как-же вы, друзья, здесь поживаете?“, то все друзья, мужчины и женщины, и их подростки-дети, бросились ко мне, хватая меня в свои искренние, какие могут иметь только крестьяне, объятия и целовали меня. В это время из другого вагона

выскочила моя подруга и за нею все другие коммунары, и радости всех нас не было предела...

Начали обмениваться новостями, какие кой-кто привез из Гуляй-Поля, из окружающих коммун, а также тем новым, что кой-кто пережил уже на пути отступления.

Первое, что я услышал от своих дорогих и близких, была новость (для меня) о их отъезде из Коммуны № 1 (Класенской экономии). Коммуна эта была расположена в 8-ми верстах от Гуляй-Поля. В дни переворота в Гуляй-Поле, заговорщики захватили, при помощи еврейской роты, дальнобойные орудия и, как-раз в то время, когда коммунары грузились на подводы: чтобы выбраться из коммуны, открыли по коммуне ураганный артиллерийский огонь. Все думали, что к коммуне подошли немцы, и потому бросали все, что имели из одежды, и, под взрывами снарядов, вытаскивали своих детишек, никогда не слыхавших такой бешеной артиллерийской канонады и кричавших, заглушая оханья, стоны и крики своих матерей...

Теперь все — и матери и дети — смеялись, рассказывая мне от этого, но тогда они не сознавали, кто что делал, куда, кто и на что бросался...

Далее, мои близкие рассказывали мне, как они отступали, с какими красновардейскими отрядами, как панически покидали Ростов (они, оказывается, отступали в тот же день, что и я, из Ростова), где и как скитались после Ростова. Все их рассказы носили потрясающий характер. — В дороге много наших друзей, — говорила за всех коммунаров одна женщина, — осталось. Не могли переносить того ужаса, какой выпадал на нашу долю в каждом городе при отступлении от немцев. Но мы, вот эти несколько семейств, решили держаться до тех пор, пока не узнали бы, где вы находитесь, Нестор Иванович, а потом поплелись бы все до вас, чтобы вместе с вами идти на свою батьковщину — отвоевывать ее широкие степи и богатые зеленые нивы.

Эти слова молодой коммунарки, окруженной тремя маленькими детками, меня сильно тронули. Но я старался никому не показывать этого и ограничился на сей раз уверением, что ни один из нас не должен и не будет здесь болтаться без дела: все пойдем на вооруженный фронт революции, чтобы спасти ее, ибо только через революцию отвоюем мы те широкие украинские степи и богатые зеленые нивы,

на которых теперь торжествует пьяное немецко-австро-венгерское юнкерство со своими подлыми лакеями — отрядами Центральной Рады, и о которых только-что говорила Мелаша.

Далее, я узнал от коммунаров, что и они попользовались кое-чем из награбленного в Ростове. Красногвардейцы большевистского отряда, под командой матроса Степанова, снабдили их соломенными шляпами.

Говоря мне об этом, коммунары знали, с какой болью я буду выслушивать их. Они знали, что я наброшусь на всех них, буду много говорить им о том, как все это нереволуционно; о том, как вредно для чувств революционера, когда он сознает себя таким; о том, что, взяв себе чуть не в разгрома магазинов приобретенную шляпу, каждый из них показывает погромщикам, что он это тоже сделал бы, что он вполне с ними солидарен на этом пути. Но они не хотели ничего скрывать от меня. Они были честны с самими собою, и хотели быть такими же честными со мною, которого призывали видеть всюду первым *среди равных*. Они дорожили мною, они ценили не на словах, а на деле мое мнение, именно потому, что я был для них равным. И они предпочли выслушать мои резкие нападки на всех, кто сознательно совершил недостойное революционера; они предпочли переболеть из-за этого душою вместе со мною, так же, как я... Они рассказали мне все... А после, среди них нашлись такие, что поломали эти соломенные шляпы и выбросили из вагонов.

Теперь коммунары посмелели. Я предложил им покинуть вагоны и переселиться в квартиры, где-либо близ города. Согласились. Мы — я, товарищ Александр Лепетченко и Гр. Василевский — ушли на весь день искать квартиры. Брат мой, Григорий Махно, пошел разузнать, как дороги в Царицыне ломовые извозчики, чтобы можно было брать первого попавшегося, на случай переезда из вагонов в село...

Остальные коммунары и коммунарки оживленно занялись: одни — хозяйственными работами, другие — связыванием вещей...

Мы нашли на хуторе Ольшанское, в 4-х верстах от Царицына, ряд квартир, по очень дешевой цене. Еще сутки, и мы все переехали на хутор Ольшанское...

Как только все мы устроились в Ольшанском я поставил своих друзей в известность о всем том, что мы обговаривали с рядом товарищей на нашей семейной Таганрогской конференции в конце апреля месяца, и к чему пришли. Друзья узнали, какая на мне лежит обязанность по отношению Гуляй-Польского района. Они поняли, что я не сегодня-завтра заявлю им о своем отъезде от них, и сперва впали в уныние, а потом заявили, что они все — и мужчины, и женщины, и дети — едут со мною. Я резко запротестовал против их поездки со мною, исходя из того, что они все почти семейные и что, коль они так дружно держатся коммунальских заветов, то им, пока-что, следует оставаться здесь.

Моя подруга долго крепилась, все не поддавалась тягелому, перед родами в особенности, чувству одиночества, и теперь плакала...

Все эти разговоры привели нас к ряду серьезных заседаний, на которых мы пришли единогласно к выводу, что сидеть без дела в ответственное время нельзя, что все должны идти на фронт. Поэтому, товарищи-коммунары должны устроить свои семьи, как следует, оставив одного-двух мужчин возле них, для связи с фронтом и для помощи женщинам по хозяйству, а сами идти добровольцами на фронт, здесь же, на царицынском участке, не ожидая того времени, когда фронт не выдержит ударов казачьей контрреволюции и начнет безостановочно отступать.

Мысль эта отстаивалась мною, ибо я глубоко верил, что если нам, гуляй-польцам, удастся организовать восстание на Украине против контрреволюции, и если оно разовьется, то нам легко будет, при содействии красного командования, перевести всех своих людей в Гуляй-Поле.

Товарищи коммунары и коммунарки с этим согласились. Мужчины стали готовиться в добровольцы на царицынский боеучасток фронта революции. А я подготавливал свою подругу к тому, чтобы она мужественно на время расталась со мною, живя вместе с коммунарами, как жила до сих пор, всегда помня, что я оставляю ее во имя великого дела украинских тружеников, которые задыхаются в петле немецко-австро-венгерской реакции.

Подруга соглашалась со всеми моими доводами о том, что я не могу празднично сидеть возле нее, я должен быть к июлю месяцу в Гуляй-Поле во что бы то ни стало; но чувст-

ва брали перевес над разумом и она, словно дитя, рыдала. Все это создавало во мне удручающее состояние духа. Все это наталкивало меня на мысль взять ее с собою, ибо вдвоем с близким, дорогим, легче умирать у дела... Но такое решение она и сама считала безумием. Она уже мало ходила, больше лежала в постели...

Наконец, под стоны и всхлипывания моей подруги, под плач некоторых матерей-коммунарок и всех детей, и под звуки песен моих славных товарищей мужчин-коммунаров, я распрощался со всеми и думал сейчас же оставить город Царицын. Но по дороге, сопровождаемый своими товарищами, я наткнулся на один из царицынских киосков, где красовалась газета под заголовком „Анархия” (то была ежедневная газета наших московских анархических организаций). Я ее сейчас же купил и в ней прочел, что в Москве организован „Союз идейной пропаганды анархизма”. Декларация этого союза подтверждала этот факт.

Эта весть привела меня и моих товарищей в неопишемую радость. Правда, с идейной стороны, эта газета — нашему — далеко уступала газете Ростово-Нахичеванской группы наших товарищей, газете „Анархист”. Но одно то, что газета „Анархия”, после наглого разгрома ее издателей — анархических организаций в Москве на Малой Дмитровке 12-го апреля, все-таки выходит, радовало нас. И под влиянием этой, опять-таки чисто крестьянской искренней радости, я вместе со своими товарищами-коммунарами вернулся обратно на хутор Ольшанское.

Среди коммунаров мы прочитали газету еще раз вслух и долго думали о том, чтобы хоть мысленно представить себе позицию анархического движения в целом, по отношению к катастрофическому положению революции. И долго рассуждали и спорили о том, что анархическое движение, поскольку оно не организовано, является беспомощным поднять массы против зарвавшихся правителей из Кремля, что сейчас оно проявляет себя только в лубочной, безответственной литературе, на деле же оно — жалкое, тщедушное. Для того, чтобы оно было могучим в действительности, нужно его организовать и вооружить средствами социального действия, соответствующими времени и техническому прогрессу, из которого черпают средства враги революции в своей борьбе с нею. — Анархисты, нужно

сказать правду, — говорил я тогда же своим товарищам, проявили себя настолько бесшабашными за год революции, что надеяться на то, что мы увидим свое движение организованным и могучим в смысле влияния на развитие и плодотворные результаты революции, можно лишь, если мы сами имеем силу воли и сами будем работать для этого. А наши силы известно какие...

И больно было за свое бессилие и за силы тех, которые их имеют, но тратить не на то, на что, по-моему, нужно было бы их тратить...

Товарищи и друзья-коммунары заметили мое расстройство при беседе на эту тему и осмелились предложить мне никуда не уезжать, отдохнуть возле них. Я не понял их предложения, а усталость чувствовал большую и лег отдохнуть.

Товарищи думали, что я отложил свой отъезд, и радовались этому. Но через три часа их радость кончилась. Я, как только проснулся и увидел, что время уже позднее, что уже второй мой пароход ушел, — я, вторично уже ни с кем не прощаясь, кроме своей подруги, покинул хутор Ольшанское.

У Царицынских пароходных пристаней я встретил своих товарищей из анархистов других городов Украины. Они пропустили два парохода, в ожидании меня, и за это изрядно меня выругали.

Теперь мы взяли билеты до города Саратова и уселись на пароход.

Еще час, и мы были в дороге к краевому в то время городу Поволжья — Саратову.

Глава X.

Г. САРАТОВ. АНАРХИСТЫ ПРИЕЗЖИЕ И САРАТОВСКИЕ.

МОЕ БЕГСТВО С РЯДОМ ТОВАРИЩЕЙ.

Только по прибытии в город Саратов, я определенно узнал, что Украинская „Социалистическая” Центральная Рада, приведшая шестисот-тысячную немецко-австро-венгерскую контр-революционную армию, под верховным ру-

ководительством барона фон-Эйхгорна на Украину, 29 апреля 1918 г. была низвергнута украинской и русской буржуазией при прямом содействии этих ее же союзников в борьбе против революции.

По газетным сведениям (правда, уже старым для момента), я узнал, что как-раз в то время, когда эта пресловутая Рада была низвергнута, она заседала, принимая проекты земельной реформы, утверждавшей право (для кулаков и помещиков, нужно понимать) собственности на землю не выше 30–40 десятин, и что с 29 апреля Центральной Рады вообще не существует на Украине. Теперь там „выборный царь” – гетман Павло Скоропадский.

Все эти сведения лишний раз подчеркивали правильность моей позиции по отношению Центральной Рады и ее политики. Но во всем совершившемся на Украине в пользу гетманщины виноваты были, по-моему, и большевики, и левые социалисты-революционеры. Первые своей политической брестского договора с немецкой контр-революцией. Вторые – тем, что не разорвали сразу же своего блока с правительством Ленина, не выступили из ВЦИК советов и не повели борьбы против оккупации Украины немецкой контр-революцией вместе с массами, непосредственно, на местах. Это был момент, когда Украинские революционные трудовые массы шли на всякие жертвы во имя недопущения на свои земли, в свои села и города, немецких и австро-венгерских контр-революционных армий, а также разведывательных отрядов, шпииков и провокаторов Центральной Рады, которые указывали этим армиям сокращенные и верные пути передвижения, доносили и помогали пороть шомполами, вешать на телеграфных столбах, загонять в тюрьмы, а затем расстреливать по ночам непокорных и революционных украинских крестьян и рабочих.

Перечитывая все, какие мне попадались, газеты, и видя из них, что свершилось на Украине, я обвинял в происшедшем все политические партии: в первую очередь украинские, а затем, и кремлевские, т.е. большевиков и левых социалистов-революционеров. Принимая все происшедшее близко к сердцу, как, вероятно, каждый революционер, понимавший, что революция совершается не для привилегий партии, а для экономического равенства и социальной и духовной независимости трудящихся от их поработите-

лей капиталистов и их слуги, государства, роль которого выражается в организации грабежа и насилия меньшинства над большинством, я остро почувствовал в себе смесь гнева и жалости по отношению к революционерам всех направлений, и за все. Затем я сейчас же взялся за письма своим друзьям-коммунарам, оставшимся в хуторе Ольшанское. В них я сообщал подробности низвержения Украинской Центральной Рады и восстановления на ее место гетмана, окруженного и поддерживаемого Украинской и Российской контр-революционной нечистью, с одной стороны, и немецко-австро-венгерским юнкерством, с другой.

– Палач воссел на трон Украинского самодержца, – писал я коммунарам, – и ставит своей задачей закончить недоконченную Центральной Радой казнь над Революцией на Украине. Время самое тяжелое для Революции. Я спешу на Украину. Вы же, друзья, поспешите оставить своих жен и детей, идите сейчас же добровольцами в отряды 10-й Красной Армии. При ликвидации контр-революции, – вы извне, мы, подпольщики, изнутри, – встретимся и братски отпразднуем торжество подлинной народной Украинской Революции...

Когда я оторвался от просмотра по газетам событий на Украине, я разыскал Саратовский „Дом Коммуны”. Это – дом-ночлежка для всех приезжающих революционеров. В этой ночлежке я встретил анархистов из Екатеринослава: Льва Озерского и Тарасюка.

Первому из них было простительно валяться в ночлежных домах коммуны. Он из революционера-анархиста превратился в короткое время, чуть ли даже не за время отступления, в крайнего пацифиста, осуждавшего всякое насилие, даже при обороне себя от нападающего.

Второй же оставался революционером анархо-синдикалистом. Над ним я подтрунил, и дошло чуть не до скандала. Правда, я не оправдываю себя целиком. Но мне казалось странным, в дни жестокой схватки революции с контр-революцией, валяться в постели ночлежки до 16 часов в день, пусть даже и во время гонения на нас со стороны оподлевших в то время Ленина и Троцкого с большевистскими и лево-эсеровскими чекистами. Я, в своем миропонимании, мыслил революционера действующим в гуще народа. Видеть товарищей валяющимися по неделям в ночлежных

домах доставляло мне много боли. И я страдал, хотя и отдавал себе отчет, что не одиночки повинны в создавшемся положении. Не сами по себе одиночки повинны в том, что они, словно испуганные вороны, мечутся с места на место, зачастую без всякого дела, просто потому, что, де, „в таком-то городе что-то нашими делается, поеду туда”... И едет такой одиночка иногда недели и месяцы, палец о палец не ударяет, и даже на месте не думает ударять, во имя дела нашего движения... Нет! Не сам этот одиночка повинен в том. Виноваты форма и внутреннее содержание наших анархических организаций. Организации эти нездоровы в своем существе. Они сами приемлют и развивают неправильное понимание цели не только всего нашего движения в целом, но даже своей маленькой организации. „Нет, от подобного рода формы и внутреннего содержания анархической организации надо бежать”, — убеждал я себя: „Момент требует идеологического и, в особенности, тактического объединения анархических сил, ибо только тактическое единство поможет нам творчески выявить среди заинтересованных в успехе революции трудовых масс практические начала анархизма, от которых, в свою очередь, почти полностью зависит рост, развитие и защита революции в том ее понимании, какое приемлемо для ее прямых творцов; а таковыми всегда являются сами трудовые массы в своих непосредственных действиях у себя на местах”.

Тут же, в эти дни, я встретился с членами нашей Гуляй-Польской крестьянской группы анархо-коммунистов: тов. Павлом Сокрутой, Владимиром Антоновым и Петровским. Они искали этот Дом Коммуны, надеясь в нем узнать что-либо о том, что они хотели знать.

Я рассказал им о том, что мы устраивали конференцию в г. Таганроге, и к чему на ней пришли. Все они приняли целиком постановление конференции и решили возвратиться как можно скорее на Украину, поближе к Гуляй-Полю, вера в революционный дух населения которого во всех них жила, как и во мне.

Вместе с этими своими друзьями и товарищами по группе, а также с рядом других, с'ехавшимися в г. Саратове анархистами, при участии наших саратовских товарищей, мы устроили в Саратове конференцию, пытаясь, во-первых, поддержать общими усилиями саратовскую анархическую

газету „Голос Анархии”, которая была в это время накануне своей смерти; во-вторых, мы хотели определить более точно свое отношение к позорным актам Ленина и Троцкого, а через них и всей советской власти на местах по отношению к нашему движению вообще; и, в-третьих, мы надеялись использовать газету „Голос Анархии” для коллективного призыва ко всем анархистам, отступившим под натиском контр-революции из Украины в Россию: призыва установить единство тактики в своих анархических действиях и поспешить возвратиться на Украину, где повсеместно, общими силами, начать организацию свежих сил для организованной борьбы за революцию, за выявление в ней более конкретно ее практической цели.

В этих видах мы все, приезжие анархисты, пожелали выслушать доклад от Саратовских анархистов: Каково положение анархистов и их работы в Саратове, и не будет ли с их стороны помехи нам в намечаемом деле?

Доклад об этом мы заслушали из уст Макса Альтенберг (он же Авенариус). В своем выступлении докладчик сперва объяснил нам, что газета „Голос Анархии” вряд ли будет выходить дальше, из-за отсутствия денег. На это я со своими товарищами по группе ответили тем, что дали редакции денег на один номер.

Далее, докладчик объяснил нам положение анархической работы среди рабочих в городе и среди крестьян по селам. Оно было печальным. Работа Саратовских анархистов в городе и по селам, облегающим его, была очень слабой и для момента неудовлетворительной, так-как она выражалась в освещении теории анархизма и только; практические же стороны его в момент революции, когда с анархическим движением революционные власти считались, а трудовые массы к нему прислушивались, в него верили и надеялись, что из-под боевых знамен анархизма начнется их организация и в деле потребления, и в деле производства, и в деле защиты тех насущных свободных творческих начал, без которых формулировать, развивать и разрешать эти три основных задачи нового социально-общественного строительства немислимо, — эти стороны почти не затрагивались. А если и затрагивались, то, благодаря неподготовленности к ним анархистов, последние не могли ни сами как следует воодушевиться ими, ни воодушевить ими трудящихся,

кровно заинтересованных в торжестве свободы над произволом, равенства над безправием и в переходе к ним, труженикам, завещанного им историей общественного капитала: земли, фабрик, заводов, железных дорог, и т. д., и т. д.

Докладчик, Макс Альтенберг, бессилен был удовлетворить с'ехавшихся в г. Саратов анархистов, как своим пониманием момента революции, так и своим освещением роли нашего движения в ней. Не мог он удовлетворить их и своей осведомленностью о том, в каком направлении и как город Саратов соприкасается с фронтом контр-революции. В этом вопросе докладчик старался затушевать и скрыть от аудитории свою неосведомленность. Не раз повторял он, что он очень близок с „Саратовским Смольным” (Революционный краевой комитет) и бесцеремонно лгал нам, что, дескать, город Саратов — накануне эвакуации. К нему, де, со стороны городов Балашова и Калача, продвигаются чехословаки, а потому, мол, „вы раз'езжайтесь из Саратова”, — присил нас докладчик.

Большинству аудитории нашей конференции было ясно, что докладчик, предлагая нам покинуть Саратов, выполняет поручение его близких, врагов анархического движения, из „Саратовского Смольного”. Из-за этого пункта, многие товарищи, в том числе и я, поссорились с докладчиком. Мы хорошо знали, что чехословацкие воинские части в этой области в то время не предпринимали вооруженных действий против большевистско-лево-эсеровского блока. Поэтому для нас неопровержимо ясно было, что докладчику и его товарищам, после разгрома большевиками анархических групп в Москве и других городах, выгодно было приспособиться к тону „Саратовского Смольного”. Докладчик, как и „Саратовский Смольный”, не хотел, чтобы с'ехавшиеся из Украины анархисты занялись делом анархического движения в Саратове. Чувствуя неопровержимую правильность этого объяснения, ряд товарищей обрушились на докладчика с резкими нападками, и на этом Саратовская Конференция закончилась. Многие товарищи в тот же день раз'ехали по другим областям России.

Здесь, в г. Саратове, я впервые встретился с анархисткой Аней Левин. Помню, товарищи сказали мне, что она — бывшая каторжанка. Последствия режимов царской каторги дают себя чувствовать. Она лежит в больнице. Я не за-

медлил посетить ее. В группе товарищей, отступившей из Украины, оказался товарищ Ани Левин — Рива (член Мариупольской группы анархо-коммунистов). С нею я и пошел в больницу навестить товарища.

Т. Аня приняла нас и долго мило беседовала с нами о прошлом и о настоящем. Помню, как сегодня, я спросил ее о состоянии здоровья, а она в ответ просила рассказать ей, что делается нашими анархическими группами и организациями. Это меня радовало. Я сознавал, что жить и болеть тем, что делается всюду в стране нашими группами и организациями, может только испытанный и искренний товарищ. Именно таким она мне казалась, и я от души желал ей как можно скорее окрепнуть и выписаться из больницы. — Наше движение, — говорил я ей, — могуче, но дезорганизовано; его нужно организовать и вооружить новыми средствами, свежими и здоровыми волею силами.

Прощавшись с Аней, мы оставили ее в больнице. И больно было на сердце, что в такое время, и таким именно товарищам, приходится валяться по больницам, залечивать раны — последствия прошлого строя.

*
* * *

Товарищи мои по Гуляй-Польской группе анархо-коммунистов — Павел Сокрута, В. Антонов, Петровский — выехали тоже, в направлении Украины.

Я же, державший направление на Москву, остался с рядом товарищей, пока-что, в Саратове. Из Мариупольской группы со мной остались тов. Любимов (матрос) и Рива; из Юзовских товарищей — Васильев; из Екатеринославских — г. Гарин. Фамилии и места проживания многих других, оставшихся со мною товарищей я забыл.

Тем временем мои друзья завязали связи с организацией моряков-матросов Кронштадцев и Черноморцев. Эта организация была в то время в г. Саратове единственной силой, которая могла помешать развитию самодурства краевой Саратовской власти. Она и готовилась к выступлению против Чеки и за раскрепощение свободы слова. Мне лично эта организация матросов казалась контр-революционной. Я об этом говорил своим товарищам. Но в ее требованиях,

во имя которых она готовилась к вооруженному выступлению против Чеки, было так много справедливого, что кричать против нее открыто я стыдился. Чека была явно контрреволюционной силой, по сравнению с этой организацией.

В то же время прибыл в город Саратов отряд „Одесских Террористов”. Он насчитывал до двухсот пятидесяти человек. Все были вооружены с ног до головы. Все те бойцы из этого отряда, с которыми я виделся в городе (отряд со своим эшелоном остановился в городке-поселке при г. Саратове), заявляли себя „одесскими анархистами-террористами”. Этот отряд, как и многие другие, отступил из Украины, не остановился на фронте и не дал разоружить себя под г. Парицином. Он пробирался теперь через Центральную Россию на противо-немецкий и гетманский фронт, на Украину, и считал наиболее удобным переход границы в Курском направлении.

Когда этот отряд прибыл в Саратов, он остановился в городке. Но отдельные бойцы его начали шататься по городу, в Саратове. Бдительная краевая „советская” власть, которая в это время уже нащупала организацию матросов Балтики и Черноморья, обратила свое внимание и на этот отряд „террористов”... Помню, некоторые матросы говорили: „Наша организация почти раскрыта. Вследствие этого, многие из нас на время покидают г. Саратов...” „Террористы” же из Одесского отряда заявляли: „А мы не боимся власти. Если она нас затронет, мы ее разгоним из Саратова”...

Все эти обстоятельства заставили меня прибегнуть к некоторой осторожности. Я с т. Васильевым и т. Ривой перешли из гостинницы „Россия” на частную квартиру, подалее от центра города. Остальные наши товарищи остались в „России”. Они имели знакомых среди „Одесских террористов”. Последние манили их в свой отряд, и они, хотя и осуждали название и поведение этого отряда, продолжали с ними встречаться...

Как-то раз, когда ряд „Одесских террористов” ранним утром зашли в гостинницу „Россия” посетить своих знакомых из наших товарищей — попутчиков от самого Ростова, гостинницу оцепили чекисты и обезоружили „террористов”, среди которых оказался и сам командир их, а заодно с ними и всех наших товарищей.

Обрадовавшись тому, что среди обезоруженных „терро-

ристов” находился и сам их командир, по прозвищу „Миша”, Саратовские чекисты, оставив всех обезоруженных в гостиннице „Россия” под охраной двенадцати вооруженных карабинами красноармейцев, сами, схватив этого командира Мишу с собой на извозчика, окружили себя конными коммунистами-чекистами и быстро помчались в направлении городка, чтобы разоружить весь отряд „Одесских Террористов”.

По дороге к „городку”, чекисты наткнулись на троих людей из отряда „террористов”, которые шли в город, — видимо, тоже в гостинницу „Россия”. Чекисты решили и их схватить. Но люди эти, заметив, что останавливавшие их чекисты везут с собой их командира, не задумываясь, начали бросать в гущу чекистов бомбы, в результате чекисты, и пешие, и конные, разбежались, оставив командира отряда „террористов” связанным, но невредимым, на извозчике. Таким образом, и эти три человека, которые метали бомбы в чекистский отряд, пытавшийся их задержать, и их командир, спаслись.

Акт трех человек из отряда „террористов” во мгновение ока стал известен в центре города, в частности в гостиннице „Россия”. Услышав о нем, обезоруженные „террористы” и наши товарищи, оставшиеся в этой гостиннице под охраной 12-ти конвоиров, напали на последних, быстро обезоружили и повязали их, вышли из гостинницы и скрылись.

Через полчаса, двое из них прибежали на одну из квартир наших товарищей и сообщили через эту квартиру мне о случившемся в гостиннице „Россия”, — в частности, об акте трех человек из отряда „террористов”. А еще через час-два, мы, в числе 15–20 человек, по одиночке и по два, сходились у паровой пристани „Русь”, где уселись на один из отходивших пароходов (кажется, по имени тоже „Русь”) и, в после-обеденное время,плыли уже вниз по течению Волги, в город Астрахань, без всяких, конечно, гарантий за то, что нас чекисты не схватят на пароходе и не расстреляют без всякого опроса и разбора. Правда, одна гарантия у нас была: это — револьверы, бомбы и сила воли, чтобы, в случае чего, овладеть пароходом и причалить к берегу там, где нам нужно. Но оказалось, что мы уселись на пароход никем из чекистских сыщиков не замеченные и доехали до г. Астрахани благополучно.

Г. АСТРАХАНЬ. МОЙ УХОД ОТ ПОПУТЧИКОВ.

ПОИСКИ РАБОТЫ. ВСТРЕЧА С АСТРАХАНСКИМИ АНАРХИСТАМИ И ВЬЕЗД ИЗ Г. АСТРАХАНИ.

Как только мы все вступили на мостовую г. Астрахани, мы в первую очередь обратились в Астраханский Совет с просьбой дать нам квартиры. В Совете нам дали записку на занятие номеров в одном отеле, в котором я и переночевал одну ночь. А затем я, с товарищами Любимовым и Ривой, пошли искать работы, чтобы с неделю-две прожить, не навлекая на себя никакого подозрения. Да и хотелось познакомиться с населением Астрахани, с его отношением к революции и к новой власти.

Товарищ Любимов нашел себе работу матросом на частном пароходе. Я познакомился с одним из местных максималистов, который осветил мне положение астраханского фронта и посоветовал мне обратиться в Краевой Астраханский Совет, который помещался в это время в Астраханской крепости, в архирейском доме. Там, дескать, мне посодействуют найти подходящую работу. Товарищу же Риве работы на пишущей машинке не попадалось, и она, оставив поиски работы, возвратилась к остальным товарищам.

Добился я пропуска в Краевой Астраханский Совет. В Совете меня принял товарищ председателя — максималист Авдеев. Долго говорил он со мною, расспрашивал меня то о том, кто я — большевик или социалист-революционер (правый, левый), или максималист, или анархист, то о положении противонемецкого фронта, то о том, как украинские труженики встретили немецкие армии, и т. д.

Обо всем я говорил с ним совершенно свободно и откровенно; лишь не сказал, к какой революционной группировке принадлежу. На желание тов. максималиста узнать это, я ответил тремя десятками слов: — Зачем вам лезть в мою душу? Документы мои говорят, что я революционер и говорят о том, какую я играл роль в известном районе на

Украине. К контр-революционерам я не принадлежал и не принадлежу.

Товарищ Авдеев несколько смутился моим ответом, однако был мил и искренен в дальнейшем разговоре. Он спросил меня, не желаю ли я остаться, пока-что, в агитотделе при Краевом Совете?

Я ответил: — Я хочу работать и буду работать где угодно, кроме чрезвычайки и милиции.

Он вызвал председателя агитотдела, который через 10 минут прибыл. Последний был грузин. Авдеев познакомил меня с этим грузином, „левым” большевиком по убеждениям, и я был зачислен членом отряда агитотдела, на паек хлеба и на бесплатную квартиру. От квартиры я отказался, так-как уже нанял с тов. Любимовым.

В тот же день я перешел от своих товарищей из отеля и поселился вместе с тов. Любимовым. Помню, мои попутчики были недовольны, что я от них ухожу. Но я хотел уединиться, хотя бы в ночное время, от споров и крика. Я вел записи о своем отступлении из Украины, о связанном с ним путешествии; и поэтому, на возмущение товарищей, я не обращал внимания, тем более, что эти мои товарищи нашли себе дешевые номера и решили задержаться в г. Астрахани на несколько месяцев, тогда как я должен был, во что бы то ни стало, быть к 1-му июля на Украине, если и не в самом Гуляй-Поле, то обязательно в его районе. Сперва товарищи удивлялись и моему уединению, и моему бесчувствию к их ропоту; но когда узнали в чем дело, они начали посещать меня, во всем советоваться вплоть до моего отъезда.

За те дни, что я числился в агитотделе, я разыскал астраханскую группу анархистов-коммунистов. Она издавала газету: „Мысли самых свободных людей”. Товарищи из этой группы показали мне очень главными работниками; но они не могли развернуть своей работы; они были связаны чекой. Им нельзя уже было свободно выступать с идейной критикой против всех ужасов, творившихся чекой. В их бюро всегда находились чекисты — правда, не официально, а под видом рабочих или интеллигентов, разочаровавшихся в той или иной идее и теперь ищущих себе духовного удовлетворения в анархизме. Большинство дней моего пребывания в г. Астрахани я и проводил то с тем, то с другим товарищем из группы астраханских анархистов. Тут

же, в Астрахани, в газете „Мысли самых свободных людей“, я поместил первое свое стихотворение, написанное на московской каторге, под названием „Призыв“ и за подписью „Скромный“ (мой псевдоним на каторге).

За эти дни я имел возможность походить по городу, свободно осмотреть развалины его зданий. — Почему он так разрушен? Что здесь жестокие уличные бои были, что ли? — спрашивал я и у своих товарищей, и у официальных максималистов и большевиков. И получал один ответ: — Во время революции здесь восстание против царской власти и власти временного правительства делали кавказцы. В их представлениях, революция тесно связана, в ее практической стороне, с грабежом. Они жгли буржуазные дома, жгли магазины. Требовалась большая организационная сила и энергия со стороны революционеров, чтобы очистить от этой примеси принципы революции.

И, действительно, кто мог взглянуть на этот город в то время, тот мог бы сказать, что спасение другой его части от разрушения стоило колоссальных усилий тем, кто вел за собой массы угнетенных властью, оскорбленных и униженных обратным грабежом со стороны буржуазии всех видов, которая, под покровительством власти, совершала его над этими массами.

Однако, возвращусь к моему агитотделу. За неделю, что я в нем числился и ходил на его совещания, я заметил, что за мною следят, что-то подмечают. Но, не показывая виду, я набрался нахальства: наравне с другими видными членами агитотдела, вносил свои поправки по тем или другим вопросам, вмешивался в споры об экономической и политической стороне жизни страны. И это, как-будто, проходило мне. Но проходит день, другой, третий, — я сдержанно, но определенно, говорю красногвардейцам, уходящим на Петровский боеучасток фронта революции, что *в задачу нас всех, трудящихся, входит одна цель: это — полное экономическое и политическое раскрепощение себя. Революционный солдат должен над этой целью серьезнейшим образом подумать и провозгласить ее лозунгом дня. Это водрузит трудящихся во всех уголках страны, и наша победа над контр-революцией завершится празднеством мира, равенства и свободы, на основе которых и начнется строиться новое свободное коммунистическое общество...*

За то, что я осмелился говорить с революционными солдатами не по программе агитотдела, я получил особое замечание, с выдачей мне на дорогу денег, и с запросом: — „Вы кажется стремитесь в Москву?“

— Да, да, я должен пробираться в Москву, — ответил я своим коллегам из астраханского агитотдела. А затем зашел в группу астраханских анархистов и, попрощавшись с ними, заглянул к товарищу Любимову на работу: попросил его пойти и купить мне на какой-либо паровой пристани билет до Саратова, а сам начал укладывать свои вещицы в чемодан с расчетом, чтобы сегодня же покинуть полуразрушенный, на взгляд социально-демократический, но в действительности чуждый демократизму и социализму город Астрахань.

Товарищ Любимов пошел за билетом, но не купил его. Вернулся ко мне без билета и заявил, что я ошибся, дав ему денег на билет до Саратова: — Тебе, — говорит, — билет нужен до г. Царицына; ведь твои друзья-коммунары и твоя жена находятся под Царицыном...

Словно кипятком ошпарил меня тов. Любимов, не взяв мне билета потому, что я, дескать, ошибся, куда мне нужно было ехать.

Я с ума сходил от досады, тем более, что пароходы были, но теперь уже ушли. Я должен был оставаться еще на сутки в Астрахани.

Итак, я остался, не поехал. Тов. Любимов был рад и не скрывал этого.

Лишь когда я ему объяснил, что могу опоздать во-время возвратиться на Украину, и что мне теперь не до коммунаров и не до жены, поселившихся на крестьянских квартирах и живущих в мирной обстановке, он смутился. От злости теряю равновесие, тычу ему под нос кучу газет, кричу: — На, смотри и читай, что делается на Украине: всюду шомполуют, стреляют, вешают революционных крестьян и рабочих, а ты мне говоришь, что я ошибся в названии места, до которого нужно было купить мне билет. Ты говоришь, будто я думал взять билет до Царицына, а сказал до Саратова. Сумасшедший ты, дружище!

А когда мы оба успокоились и сели за стол ужинать, я снова прочел сведения из Украины о том, как возвращаются в „свои“ усадьбы бежавшие из них во время революции

помещики, и как, с помощью солдат немецкой и австрийской армий, у крестьян отбирают живой и мертвый инвентарь, как крестьян наказывают... Параллельно с этим вспомнил я и сопоставил все те наказания, которым я лично подвергся на каторге за непокорность режиму. Это напомнило мне мое обещание, данное сидя еще в гнусных казематах тюремных стен, вырваться на волю и отдаться всецело делу борьбы трудящихся с бесправием соответствующими временными средствами.

Я перебирал мысленно причины нашего отступления из Украины, все те практические соображения, которые понудили меня, после таганрогской конференции, двинуться, с рядом товарищей, на известное время из Таганрога далее, вглубь России, благодаря чему я теперь путаюсь в полу-разрушенной Астрахани. Я передумывал все это и жестоко укорял себя за выезд из Украины. А время несло свое чередом. И мне казалось, оно так быстро и так много уносит от меня того, что, быть-может, другие будут переживать, на чем, быть-может, многие погибнут там, на Украине, в вооруженной схватке революции со своими палачами...

Все это меня возбуждало, усиливало во мне гнев на самого себя, на товарища Любимова, на всех, с кем я связался в пути следования на Москву... Но больше всего злился я на большевистско-лево-эсеровскую власть, которая мне казалась самой главной виновницей того, что трудовой организм страны разорван на разного рода политические группировки, благодаря чему народ оказался беспомощным поднять все свои силы на борьбу с вооруженной контр-революцией и помешать ей овладеть Украиной. Во имя авантюристических целей отдельных политических шовинистов, во имя их власти над украинским трудовым народом, истреблялось теперь все лучшее в революции, вырывались из ее рядов самые преданные революционные сыны, убивались они, а с ними и надежды многомиллионных украинских тружеников села и города на победу революции. Правда, подлейшая Центральная Рада сдала уже в это время свою власть гетману. Вся эта контр-революционная сволочь, которая, видимо, сама не замечала, куда шла до сих пор и куда вела своих союзников, — немецких и австро-венгерских сатрапов, — была теперь в плену у этих самых союзников. Она уже не могла сама творить того гну-

сного дела против революции, которое она творила и позволяла от своего имени творить этим своим союзникам. И эти „добрые, славные” союзники, на которых Центр. Рада, так надеялась в своей борьбе с большевиками, левыми социалистами-революционерами, анархистами, в борьбе со всей революцией, теперь низвергли свою союзницу и предоставили Украинским буржуа водрузить на ее место Гетмана. Теперь он, этот новоиспеченный царь-бандит, дал свое имя немецким и австро-венгерским бандитам, чтобы они могли творить свое гнусное дело над Украинским трудовым народом. Бандит-гетман обязался перед Вильгельмом II немецким и Карлом австро-венгерским продолжать в союзе с ними дело Украинской „социалистической” Центральной Рады, и продолжать более определенно и с еще большими гарантиями, чем можно было ожидать от Центральной Рады. Немецкие и австро-венгерские цари и буржуа так нуждались в украинском хлебе и мясе, так желали расцвета Украинской Монархии и помощи от нее не только хлебом и жировыми веществами, но и живым человеческим мясом, если не против республиканской Фракции, то хотя бы против Русской Революции, этой рассадницы революционных бурь и пожаров, предвещавших гибель буржуазному классу и, в первую очередь, царям и их коронам!..

На этом деле бандиты нашли общий язык. Украинский бандит, судя по газетам, принял все планы немецко-австро-венгерского военного командования, и в отношении Украинского трудового народа, и в отношении его богатств. Предвиделось полное ограбление тружеников, — ограбление, начатое немцами и австрийцами еще вместе с Радой. Теперь оно имело шансы еще более разрастись. Но неужели же Украинские революционные труженики не восприимчивы ему?.. Нет, они опомнятся, они положат конец всей этой подлости. Нужно ехать к ним, нужно быть среди них...

Так, освещая товарищу Любимову положение на Украине, каким оно мне представлялось по последним сведениям, я просидел почти до утра.

Тов. Любимов заявил мне, что и он едет со мною, но я ему отсоветовал, мотивируя тем, что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по сведениям, на всем своем протяжении бдительно охраняется немцами.

Мы условились, что я из Москвы, а в крайнем случае из Курска, напишу ему подробности о границе, и он немедленно покинет Астрахань.

На утро, я, в сопровождении тов. Любимова и Васильева, был уже на пароходных пристанях и в последний раз наблюдал всероссийское богатство, выражающееся в непрерывном движении тысяч пароходов, шхун, лодок и лодочек, прибывавших и отбывавших с товарами во всех направлениях. Это живописное движение сочеталось с природной красотой дельты реки Волги, окаймленной песчаными берегами и черными заметами на диком пустыре понад берегом. А в десять часов утра, мы все трое пожали друг другу руки, облобызались, обещая встретиться на Украине, и я влез в каюту парохода „Кавказ и Меркурий”. Был час отправки. Покуда пароход отчаливал, мы еще раз перекликнулись двумя-тремя фразами, перебросились, словно дети, двумя-тремя братскими поцелуями, махнули платочками, от чего я расчувствовался... А далее, я выскочил на палубу парохода и устремил взор в оставляемую Астраханскую пристань, на всю ширь Волги, подходящей здесь к Каспийскому морю, и не отрывался от этих видов, пока движение парохода не скрыло их от меня.

Глава XII.

В ПУТИ ОТ АСТРАХАНИ ДО МОСКВЫ.

Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем.

Куда я еду — это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом, а там сяду в поезд и от'еду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь, с кем пожелаю; поговорю, о чем захочу, и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на Таганрогской Конференции!.. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако, я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине, в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть, со всеми явными и тайными силами контр-рево-

люции. И вот, я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине; еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я сознавал замысел великого дела, — в особенности, если мы начнем его удачно, если разоведем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем, хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружеников, сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст, и поведем за собой в бой против контр-революции широкие массы, действие которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции, а это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий, на пути противодействия, характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели неизбежно будут уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно *им самим*... Да, да, все это так... Но правилен ли подход к этому делу? — задавал я себе вопрос. — Можно ли, посредством отдельных групповых выступлений против помещиков, немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающих под военной охраной учреждений, поднять на борьбу широкие трудовые массы? Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружениками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время. Ведь может случиться, что они убаюканы (если не застрашены казнями) этими палачами так, что перестали и думать о своем позорном положении... Может случиться, что весь бунтовской дух Украинских тружеников, под давлением жестоких казней, пал; что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль дерзания на лучшее... Все это может быть, — рассуждал я сам с собою, в своей одинокой тихой каюте...

Но когда я это „может быть” отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли бы я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается

над ее трудовым населением — именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет опутавшего его экономического и политического рабства и ощутив на этом пути свободу, стремились воспринять для своей жизни новые идеи, разобратся в их содержании и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружало ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком, — когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может-быть, Украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утратили свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине. В моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарилась корона гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственно была надежда, что они способны пережить всю деспотию гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае, они восстанут против нее и, не щадя себя, постараются уничтожить, как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной.

Эта моя глубокая вера в Украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины и которые, не имея я в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращения нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство, я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так-как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которую, по моему, Украинское революционное крестьянство должно было в будущем, намечаемом нами, восстании завоевать себе.

*
* * *

Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал: — А может-быть заехать на день-два к своим коммунарам, к подруге, которая вероятно уже родила мне сына или дочь?.. Повидаться со всеми ними... Обнять, поцеловать дитя... И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так-как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров... Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик.

На Царицынской пристани я купил свежие газеты. Они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контр-революционных армий и из армий „державной варты“ Гетмана. Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с Чехословаками, прорывавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в то время нашла себе широкий плацдарм контр-революция адмирала Колчака и возглавлявших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредителей.

Все эти сведения, вместе взятые наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или, если удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия, крестьянской революционно-боевой силы. Эта боязнь за то и за другое иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров, даже о необходимом, и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал.

Так, замкнувшись в самого себя, с подавленным чувством негодования на ход событий, на себя, на людей, так или иначе ответственных за такие зигзаги в ходе этих

событий, не замечая ряда пристаней между г. Царицыном и г. Саратовым, на которых, во время первого моего переезда их, я выходил, делая нужные покупки, наблюдая невольно приковывающие взор отлоги волжских берегов, я приехал в г. Саратов, из которого, всего две с половиною недели тому назад, бежал...

Теперь г. Саратов, как и его краевая „Советская” власть, показались мне совсем другими. За этот сравнительно короткий промежуток времени власть достигла больших „побед”: она разоружила отряд одесских террористов и посадила его в тюрьму; она сразилась на улицах города с организацией матросов Балтики, Черноморья и Поволжья, и, хотя и потеряла свое роскошное здание „Смольный”, в котором заседала и разрешала судьбы „своего” края (это здание было разрушено из орудий восставших), но разогнала и эту организацию. И теперь она, хотя и помещалась в одноэтажном хиленьком домишке, но чувствовала себя полной победительницей и хозяйкой города.

В Саратове я бросился сперва в сторону анархистов, но их уже там не было. Выехали в направлении г. Самары. „Один только тов. Макс, с какими-то двумя барышнями, путается возле Революционного Комитета. Его там всегда можно найти”, — сказал мне один из товарищей, знавших меня со времени Конференции приезжих анархистов.

Разыскивал я этого Макса и возле Ревкома, и в самом Ревкоме, но не нашел. Это был период начала приспособленчества многих анархистов к официальным большевикам. Их трудно было разыскивать в это время приезжому анархисту, в особенности при помощи респросов у тех, возле кого они вертелись. И то, что я не разыскал его, Макса, притом там, где он, по указаниям товарищей, путался, лишь усилило во мне подозрение к нему. Я прекратил респросы и поиски и взял в Ревкоме бумагу на получение внеочередного плацкартного билета до Москвы. На получение такой бумаги я, по своим документам (Председатель Гуляй-Польского Районного Комитета Защиты Революции), имел право, и я получил ее без всяких промедлений.

А через три-четыре часа я был уже снова в поезде и ехал в Москву.

В пути, вследствие каких-то железнодорожных недоразумений, которых мне не удалось выяснить, поезд задер-

живался очень часто на станциях и полустанках. Публика роптала, а кондукторы ее успокаивали пояснением причин таких частых задержек поезда. Причины эти были разные: здесь были и чехословаки, выступавшие против соввласти, и дутовцы... Но, вернее всего, частые задержки поезда происходили от разрушенного железнодорожного транспорта, от нехватки угля, дров, и т. п.

В Тамбове я задержался на целые сутки. Спал в номере отеля. Днем бродил по городу, искал бюро анархистов. Но, увы, найти — не нашел. Попал к левым с.-револ. Среди них встретил немало бывших каторжан, знавших меня с Московских Бутырок. От них я узнал, что в г. Тамбове сейчас что-то никого из анархистов не слышно. Не то ушли в подполье, не то просто, не имея почвы в широкой массе Тамбовских тружеников, раз’ехались из города...

Больно мне было слушать от эсеров такое повествование об анархистах, но в нем была доля правды. Поэтому я опять, как только уселся в поезде на Москву, мысленно бросился за поисками тех социальных средств для социальных действий анархизма, которых анархизм, по-моему, не имеет у себя, без которых анархизм бессилён организовать под своими знаменами широкие массы трудящихся и формулировать им в их решительной борьбе задачи дня.

Копаясь в этих мыслях, я невольно бросал взор на деятельность социалистов-революционеров, левых и правых социал-демократов-большевиков и меньшевиков. В этом лагере социализма я видел кипучую работу среди трудовых масс. Правда, работа социалистов этого рода сводилась, главным образом, к интересам их партии; но работа эта у них имела свое организационное лицо, с определенным выражением их воли, и была колоссальная работа. — Почему бы и нам, анархо-коммунистам, не заняться организацией своего движения и выявлением среди широких трудовых масс деревни и города организационных начал мыслимого нами социально-общественного строя? — задавал я себе вопрос. И тут же отвечал: — Мы не способны. У нас нет сил и нет навыка, нет практики держаться единства действий в целях нашего движения. Мы до сих пор не хотим понять того, что наши группы и группки, в различных, подчас вовсе неанархических действиях, в кото-

рых мы привыкли видеть цели нашего движения, не могут справиться с теми требованиями времени, идя навстречу которым, наше движение становилось бы все понятней трудовым массам, так-что они за него ухватились бы, как за единственно подлинно революционное движение... Но так ли будет у нас, на Украине, когда мы все благополучно возвратимся и займемся делом нашего движения, делом революции?— задавал я себе вопрос, и хотя не отвечал на него, но чувствовал, что так никогда у нас не будет...

Время на восходе солнца. Показалась Москва, со своими многочисленными церквями и фабрично-заводскими трубами. Публика в вагоне заворошилась. Каждый, кто имел у себя чемодан, вытирал его, так-как в нем было, у кого-пуд, у кого пол-пуда муки, которая от встрясок вагона дала о себе знать: выскакивала мелкой пылью из сумок, сквозь замочные щели чемодана... Публика не рабочая. Предлагает попавшемуся встречному бешеные деньги за помощь пронести из вагона, сквозь цепи заградительного отряда при выходе из вокзала, свои вещи. Многие берутся, но большинство отказывается, заявляя:— Боюсь, попаду в Чрезвычайную Комиссию по борьбе со спекуляцией и контр-революцией...

Еще минута-две, и поезд подошел к вокзалу. А еще минута-две, пассажиры, с мукой в чемоданах, отмыкали свои чемоданы перед стоявшими агентами заградительных отрядов, арестовывались и, вместе с мукой, отправлялись в надлежащие штабы.

Глава XIII.

МОСКВА И МОИ ВСТРЕЧИ С АНАРХИСТАМИ, ЛЕВ. ЭСЕРАМИ И БОЛЬШЕВИКАМИ.

По приезде в Москву, как только я вышел из вокзала, я сразу же взял извозчика и поехал на Введенку, № 6, к А. А. Боровому. Лично я тов. Борового не знал, но по газетам узнал, что у Борового можно встретить секретаря *Московского Союза Идейной Пропаганды Анархизма*, тов. Ар-

шинова. Этот последний мне известен был еще с 1907 года, а на каторге я встретился с ним лично. И на каторге, и по выходе из нее, я верил, что мне придется с Аршиновым работать вместе на Украине. Но в скорости мы пошли, каждый, своим путем, то-есть: он, по примеру большинства анархистов, предпочел деревне город и остался в Москве, я же уехал в деревню и, хотя не порывал связи с городом, но работал в деревне, среди широкой массы населяющих ее тружеников.

Теперь, очутившись временно, не по своей вине, за пределами Украины, я решил посетить Москву. В этом центре „бумажной“, как я уже выразился, революции нашли себе прочную оседлость все в и д н ы е революционеры всех толков и направлений. Именно со всеми ними, поскольку мне позволит время, я, проделавший уже до некоторой степени опыт практической борьбы на Украине, и думал встретиться, поговорить, посоветоваться кое-о-чем. Но прежде всего я хотел встретиться с тов. Аршиновым, хотел узнать от него, в каком положении находится наше движение в Москве, после разгрома его большевистско-лево-эсеровской „Советской“ властью, 12 апреля.

Тов. Аршинов, как бывший секретарь „Федерации Московских Анархических Групп“, а в это время секретарь Союза Идейной Пропаганды Анархизма, должен был, помоему, знать положение нашего движения в Москве. Поэтому я его и искал.

Нашел я Введенку. Поднялся в квартиру Алексея Алексеевича Борового. Позвонил. Дверь открылась, и меня встретил среднего роста интеллигентный человек, красивый и хорошо, с особой четкостью, говорящий по-русски. Он провел меня далее, в коридор, и указал дверь в кабинет-библиотеку.

Не успел я перешагнуть порог этой двери, Алексей Алексеевич меня спросил: кого я здесь хочу видеть.

Я ответил:— Тов. П. Аршинова.

Последовал ответ:— Он здесь бывает два раза в неделю: по вторникам (если не ошибаюсь. Н. М.) и пятницам.

Тогда я попросил у Алексея Алексеевича разрешения оставить у него свой чемодан, полный тамбовских белых булок, которые я, слыша, что в Москве хлеба нет, привез с собою. И услышав, что чемодан можно оставить, я оставил

его, простился с Алексеем Алексеевичем и ушел в город.

Время подходило к обеду. Зашел, неподалеку от Пушкинского Бульвара, в ресторан. Пообедал. Обед плохой и дорого, хлеба мало. Здесь я узнал, что хлеба можно достать, сколько хоч, но какими-то задними ходами и за большие деньги. Это меня так рассердило, что я готов был поднять скандал. Однако, не будучи уверен в том, что продажа хлеба за особую цену и задними ходами не производится самим хозяином ресторана, вместе с большевистскими и лево-эсеровскими чекистами, а также имея при себе револьвер, за который чекисты в то время могли даже не довести меня до Дзержинского — расстрелять, я воздержался от поднятия скандала.

И оказалось — был прав. Всего через пять минут по выходе из ресторана, я встретил бывшего своего товарища по каторге, польского социалиста, некоего Козловского. В то время он был уже коммунист-большевик и занимал должность участкового милицейского комиссара. Он с большой радостью встретил меня. Повел меня в свой комисариат, показал мне своих сотрудников и много кое-о-чем говорил со мною, извинительно подчеркивая мне, что если бы не требования революции, он ни за что не был бы на должности милицейского комиссара. Революция, дескать, от него этого требует.

Я изрядно посмеялся над его аргументацией, приведшей его на пост палача революции. Узнал я от него трамвайную линию до Анастасьевского переулка, где помещался комисариат внутренних дел; а возле него (после разгрома Московских анархистов на Малой Дмитровке) большевистско-лево-эсеровская власть милостиво разрешила Московским анархистам занять себе, для нужд секретариата и редакции, помещение-сарай, в котором, до прихода анархистов, „утражнялись футуристы в своих футуристических занятиях”, — сказал мне комиссар.

Мой бывший товарищ, комиссар Козловский, провел меня к нужному трамваю, и я простился с ним, пообещав еще встретиться. Поехал я в Федерацию Анархистов, надеясь встретить там и тов. Аршинова.

Подступ к Федерации для новичков казался прямо-таки опасным. С одной стороны, потому, что он занят был беспрерывно шатающимися агентами чеки, наблюдавшими за

каждым проходящим, чуть не хватая его. С другой же стороны, вид здания Федерации не внушал к себе доверия: казалось, здесь помещается не Федерация анархистов, а живут агенты чеки, охраняющие сбоку стоящее роскошное здание, в котором находился Комисариат Внутренних Дел.

Я долго стоял при входе в этот переулок со стороны Тверской, наблюдая за прохожими. А затем, прошел по переулку, минуя дверь Федерации, пошел дальше, взшел по ступеням к двери Комисариата Внутренних Дел. Она была заперта. Я повернул от двери, спросил чекиста, когда откроется Комисариат Внутренних Дел и, получив ответ: „в три часа”, пошел уже прямо в Федерацию Анархистов.

В Федерации я застал многих товарищей: одни сидели за низким широким столом и что-то записывали в большие книги; другие что-то переписывали; третьи перекладывали большие кипы связанной, видимо, нераспроданной ежедневной газеты „Анархия”.

Как только я подошел к столу и спросил у сидевших за ним, где можно встретить тов. Аршинова, меня сейчас же отослали в другой угол, где стояли три-четыре товарища и о чем-то оживленно говорили между собою. Из них первым заговорил со мною тов. Бармаш, которого я лично знал еще с марта месяца 1917 года. Он сказал мне, что тов. Аршинов сюда редко когда заходит. Товарищ же Гордин младший прямо заявил мне: — Аршинов не захотел работать с рабочими и ушел к интеллигенции. — Он перечислил мне имена интеллигенции: Борового, Рощина, Сандомирского и других.

Я сперва как-будто рассердился на тов. Гордина, а затем подумал: — Быть-может, он прав. Ведь люди, не сознающие того, что без рабочих и крестьян они никогда не воспитали бы в себе революционеров дела (только честно наблюдая за тяжелой жизнью и борьбой рабочих и крестьян, интеллигенты становились и становятся подлинными революционерами дела), эти люди так часто зазнаются перед рабочими и крестьянами. Может быть, что р а б о ч и й Аршинов дальше Москвы не постарался заглянуть в рабочие ряды, именно теперь, в дни Революции. И, может-быть, предпочел рабочим организациям группу интеллигентов...

Впрочем, это были отвлеченные мысли. Как только я ушел из Федерации, я почувствовал еще большее желание

встретиться с тов. Аршиновым и воочию убедиться в том, что услышал от тов. Гордина.

Наступал вечер... Идти в отель мне не хотелось. Поэтому я возвратился опять в Федерацию Анархистов и заявил товарищам, что у меня нет квартиры, где я мог бы ночевать. Товарищ Середа, посоветовавшись со своей подругой, предложил мне ночевать у него, предупредив, что спать придется в одной с ними комнатушке, и на полу, так как, дескать, нет кроватей и постелей.

Предложение тов. Середы я принял и пошел с ним, его подругой и еще несколькими товарищами, которые жили в том же особняке, к нему на квартиру... Здесь, в доме, где жил тов. Середа, я впервые познакомился с известным автором „Ассоциационного Анархизма”, Львом Черным. С этим последним я много говорил о нашем анархическом движении на Украине (которой он никак не признавал и называл только „Югом России”), об организационном ничтожестве там нашего движения. Все, что я говорил тов. Льву Черному, он принимал с особой болью. Но тут же протестовал против моих мыслей о том, что анархизму пора отказаться от раздробленной на сотни и тысячи групп и группок формы организации; что анархизм, благодаря этой своей бессодержательной форме организации, выявил себя в революции беспомощным овладеть трудовыми массами, пойти с ними в бой с капиталом и государством и вывести из этого боя тружеников победителями...

Это был главный пункт нашего собеседования с Львом Черным. На нем мы резко разошлись. Однако, и после часто встречались в том же особняке.

Из наблюдений моих над тов. Львом Черным, я скоро убедился в том, какой он безвольный человек, как он бесхарактерен в своих отношениях и к друзьям, и к врагам. Помню, однажды, он ходил по комнате с записной книжечкой и переписывал мебель. На мой вопрос: — Что вы, тов. Черный, здесь хозяин, что-ли? — я услышал ответ: — Еще хуже...

Я заинтересовался расспросить об этом и его, и других. Я узнал, что большевистско-лево-эсеровские хозяйственники пришли в этот двор и заявили тов. Черному, что отныне он комендант этого двора, он за ним должен смотреть, он за него ответственен...

— И что же вы, тов. Лев, им ответили? — спросил я Черно-го. Он сказал: — Что же я мог им ответить? Они такие нахалы, так навязчивы, что я не мог им отказать в этом. И вот теперь вожусь здесь... Товарищи не понимают моего положения: и на-ночь, и в полночь появляются здесь. Если ворота заперты, лезут через верх, нарушают покой обитателей, которые обижаются, заявляя об этом мне, а я не могу говорить об этом ни товарищам, ни квартальному комитету... Думал как-то сбежать отсюда, но устыдился самой мысли об этом.

Больно было слушать и смотреть на этого деликатного человека, но еще обидней было мне видеть в нем безвольного человека, человека-тряпку, с которым другие делают, что хотят, а он, как безвольное существо, не имеющее необходимого в его положении характера, не может все это презреть и покинуть.

Да разве такие люди, могут что бы то ни было сделать в круговороте революционных бурь, где у человека без воли, без характера, не хватит ни терпения, ни нервов преодолеть те ненормальности, которые первыми всплывут на поверхность практической борьбы: той борьбы, через которую широкая масса трудящихся стремится обрести себе свободу и право на независимость от власти капитала и государства? Разве такие безвольные люди могут быть способны находиться в рядах этой массы и оказывать ей своевременно нужную помощь? Никогда в жизни!.. Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадется верный материал о нем, и если правительственные хозяйственники не будут их назначать в коменданты. Вот с этой лишь стороны они могут оказать помощь: но уже не тем, кто сейчас действует, а идущим им на смену поколениям.

От всей души жалел я тов. Льва Черного, и в то же время возмущался его безволием и бесхарактерностью. Человек этот обладал талантом оратора и писателя, был искренен и в том, и в другом проявлении себя, но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство от той грязи, которая судя по моим расспросам и личным наблюдениям, липла к нему. Эта сторона его индивидуальности мешала ему, как многим известным анархистам мешали другие стороны, выбраться на широкий путь массового действия анархизма

в революции и занять на нем надлежащее место, очень далекое от комендантского поста в московском особняке...

*
* *
*

Расстался я с особняком и с тов. Середой и Львом Черным лишь тогда, когда разыскал, наконец, тов. Петра Аршинова. Последний проживал в одном из отелей на базарной площади (близ Театральной площади) — не комендантом, конечно, а у коменданта, распорядившегося этим отелем от имени Крестьянской Секции при ВЦИК Советов.

Встреча с т. Аршиновым, а также и с комендантом этого отеля тов. Бурцевым, была для меня радостью. Все мы друг друга знали из Московской каторги. Все чувствовали взаимное уважение друг к другу. Это нас сближало без того, что мы все считались анархо-коммунистами.

От тов. Аршинова я узнал, что он действительно ушел от работы федерации московских анархических групп, потому что не нашел в ряде товарищей серьезного отношения к делу нашего движения.

Кто из них прав, я, конечно, не старался выяснить. Я старался понять, чем дышит теперь тов. Аршинов и чем занимается.

В ряде бесед, а также при совместном с Аршиновым посещении Алексея Алексеевича Борового и из беседы с последним, я выяснил, что Аршинов работает в качестве секретаря и организатора лекций для членов „Союза идейной пропаганды анархизма“.

Вскоре после нашего посещения А. А. Борового, тов. Аршинов организовал лекцию „О Толстом и его творчестве“, которую читал тов. Иуда Гросман-Рошин, со вступительным словом тов. Борового.

Эта лекция, как и вступительное слово к ней Борового, меня, крестьянина-анархиста, очаровали; в особенности, должен сознаться, очаровало меня слово Борового. Оно было так широко и глубоко, произнесено с такой четкостью и ясностью мысли, и так захватило меня, что я не мог сидеть на месте от радости, от мысли, что наше движение не так уж бедно духовными силами, как я себе представляю. Помню, как сегодня, что я, как только Алексей Алексеевич окончил свою вступительную речь к лекции Рошина, выскочил

из зала и побежал в фойе, чтобы позвать ему, Алексею Алексеевичу, руку и выразить свое чувство товарищеской благодарности. Зайдя в фойе, я встретился лицом к лицу с Алексеем Алексеевичем, прохаживающимся по фойе. Я был полон радости за него, за его успех перед аудиторией, которая — я видел и переживал это вместе с ней, я был в этом убежден, — аплодировала с такой радостью и чувством благодарности. Затем, разговорившись с ним, я подал ему руку и выразил ему все то, что чувствовал... По-моему, он вполне заслужил такое выражение признательности.

Но Алексей Алексеевич был скромен и, крепко держа мою руку в своей, полусмеясь и глядя на меня и на стоявшего рядом со мной тов. Аршинова, сказал: — Благодарю, но мне кажется, что я несколько обидел тов. Рошина: я заставил его долго ожидать конца вступительного слова.

Я подхватил: — Нет, вам, Алексей Алексеевич, мало времени дали!.. Мы обменялись еще несколькими фразами и разошлись. Он, Алексей Алексеевич, пошел на кафедру и сел возле начинавшего свою лекцию тов. Рошина, а мы, — я и тов. Аршинов, — пошли в зал и уселись на скамьи слушателей.

Тов. Рошин говорил. Публика тихо, с напряженным вниманием, смотрела на него и слушала.

Лекция была серьезная и прочитана она была очень удачно. Успех был колоссальный. Помню, я говорил о ней и с тов. Рошиным, и с тов. Аршиновым, который в то время считал Рошина звездой среди молодых теоретиков анархизма. Заметно было, что тов. Аршинов перед ним таял, хотя и отмечал, что он, Рошин, страшно бесшабашный. (Я думал — это потому, что тов. Рошин на целый час опоздал на свою лекцию; за ним посылали товарища и, как выяснилось, он забыл, что сегодня читает лекцию). Я сказал ему и Аршинову, что лекция очень хороша, но язык, которым она излагалась перед аудиторией, ни к черту не годится. Тов. Рошин смеялся, а тов. Аршинов как-будто был доволен этим моим замечанием.

Вскоре после этой лекции, я попал, в том же зале, на лекцию тов. Гордина. Он тоже показался мне с запасом знания анархизма, но незнания того, что носители его идей должны делать во время революции, где они должны группировать свои силы. В общем же, лекция тов. Гордина мне

понравилась, я этого не скрывал, а тов. Аршинов назвал ее „мусором возле анархизма“. Это мне, правду сказать, не нравилось.

Так протекали июньские дни моей жизни в Москве. Как-то тов. Аршинов затянул меня к тов. Александру Шапиро, который в то время был — если не ошибаюсь — хозяином издательства „Голос Труда“. В этом издательстве Аршинов издавал ряд книг П. А. Кропоткина. Как-раз в этот момент в нем закончилась печатанием книга „Хлеб и Воля“. Тов. Аршинов разносил ее пачками по магазинам.

Тов. Шапиро тоже произвел на меня впечатление опытного и делового товарища. Однако, тов. Шапиро, еще до встречи моей с ним, был мне известен, как крайний синдикалист. Я над этим средством анархизма мало задумывался и продолжал по традиции считать его „меньшевистским“ средством в анархизме. Поэтому я без особого интереса прислушивался к тому, что он говорил о некоторых вопросах с тов. Аршиновым, и без особого же интереса отвечал ему, товарищу Шапиро, когда он расспрашивал меня о том, как трудящиеся на Украине (по Шапиро — на юге России) прониклись идеей революции? Какое сопротивление оказывали оккупационным немецким и австрийским контр-революционным армиям, и т. д.? Раза три я был вместе с тов. Аршиновым у тов. Шапиро, на складе „Голос Труда“. Раза два я застал его одного, с маленькой, казавшейся умненькой, его дочуркой, за работой. Оба раза, при виде Аршинова и меня, он бросал свою работу, подходил к нам и подолгу говорил. И, нужно сказать правду, оставил во мне хорошее впечатление. Но одна мысль о том, что он синдикалист, да еще правого пошиба, который, с рядом своих единомышленников, переехал, вслед за центральной большевистской и лево-эсеровской властью, из Петрограда в Москву только потому, дескать, что *стремится представлять там какой-то центр* (слова чужие), одна эта мысль дробила и разрушала во мне то более или менее цельное впечатление о т. Шапиро, которое я вынес при встречах с ним.

Впоследствии я встречался еще с рядом анархистов из студентов, из которых наиболее яркой фигурой мне показался тов. Саблин. С ним я часто встречался, много говорил. Он был особенно чуток и принимал близко к сердцу все те

слабые стороны нашего движения, которые тормозят его рост и развитие. И глубоко верил, что все это скоро заметят все действующие анархические группы, и вопрос будет выяснен и разрешен в пользу того, чтобы создать определенную организацию и жизненно усилить наше движение.

Однако я должен заметить, что все это, и со всеми, были беседы отрывочного характера, и только. Фактически не было таких людей, которые ввязались бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца. Или, если они и были, то, видимо, не хотели задумываться над катастрофическим положением нашего движения. Между тем, его нельзя было не заметить с первых же дней, как только правящая орда большевиков разбила наше движение, объявив свое право сперва на чистку его рядов, а затем и на ликвидацию его боевых, не склонявших голов перед этой ордой, сил. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление после того, как я встретился со многими товарищами и увидел, чем они занимаются в такой острый момент и для революции, и для нашего движения. Не знаю, сознавали ли все товарищи то, что большинство из них болталось в это время без дела. Я-то видел это отчетливо. Часто тот или другой товарищ, осевши в Москве на более или менее продолжительное время, шатался там совершенно праздно, или же находил такое дело, которое посильна была выполнить только организация, а он за него брался лишь с целью показать, что он и вне организации работает, что он и вне организации проводит дело организации. Все это меня, силою контр-революции оторванного от кипучей массовой революционной работы на Украине и очутившего временно в Москве, убеждало в том, что я был прав, мысля о Москве, как о центре бумажной революции, которая привлекает к себе всех, и социалистов, и анархистов, любящих особенно сильно в революции одно только дело: это — много говорить, писать, и бывающих не прочь посоветовать массам, но на расстоянии, издалека...

Правда, тов. Аршинов мне не раз рассказывал, как товарищи из Московской федерации и известные революционные девицы (двинский полк солдат под командой нашего тов. Грачева) сражались на улицах Москвы. Эти его рассказы не один раз вызывали во мне чувство гордости за московских анархистов и самого тов. Грачева и всех двин-

цев. Однако, и при этих рассказах я не раз задавал себе вопрос: — Почему же многие друзья и товарищи теперь, на мой взгляд, шатаются без дела?

Я не удовлетворялся даже той работой тов. Аршинова в „Союзе идейной пропаганды анархизма“, которая мне была известна. Эта работа, как она товарищам ни представлялась важной и необходимой, казалась мне праздною — по крайней мере, в то время, когда я был в Москве. Дело это было на руках у тов. Аршинова. Но многие, очень многие, считавшие себя работниками нашего движения, слонялись совершенно без дела. И это меня беспокоило. И это ставило передо мной вопрос: — Неужели же и я заражусь этим? — Нет, — отвечал я себе, — никогда, ни за что. Разве не хватит сил, сделаюсь неспособным ходить, говорить с теми, кто может и хочет действовать в революции, растить и развивать в ней силы нашего движения, подымать его положение в жизни и борьбе угнетенных, за свое освобождение, за освобождение всего своего класса, народа, человечества, — тогда не ручаюсь, быть-может придется опуститься до этого... Но пока я в силах ходить, общаться с угнетенными, я до этого не опускаюсь. Ведь цель нашего движения в революции так велика! Здесь есть место каждому из нас. Этого места не умеет найти только тот, кто растерялся перед торжеством враждебных нашему движению доктринерских партий — большевиков и лево-эсеров, — тот, кто, благодаря своей духовной неопределенности и отсутствию твердой воли и практической организованной устойчивости, не видит, где в действительности зарождаются здоровые силы для нашего движения. И я спешил при этом успокаивать себя надеждой на то, что я скоро и благополучно переберусь на Украину, где постараюсь сделать все для того, чтобы на деле показать всем друзьям бумажной революции, где надо искать живые и здоровые силы для нашего анархического движения. И чем глубже я погружался в этот вопрос, тем отчетливее сознавал, что старые методы анархистов, признававшиеся до этого дня, бессодержательны. И поэтому я решительно осуждал их, не думая ими пользоваться в будущей своей работе на Украине.

Здесь же, в Москве, я особенно остро почувствовал, как далеко ушел я, с рядом своих друзей и товарищей по гуляй-польской группе анархо-коммунистов, в понимании

положительных задач нашего движения в революции, от большинства анархистов, которые до сих пор встречались мне на моем пути по России. Это последнее явление меня беспокоило, но не обескураживало. Я был глубоко убежден, что разброду в наших рядах будет положен конец; что мы их выровняем, вооружим новыми, более содержательными методами и средствами борьбы, и положение нашего движения улучшится. Это мое убеждение крепло в ожидании намеченной рядом товарищей из Одессы, Харькова и Екатеринослава конференции. Я был приглашен на нее за неделю ранее и ожидал от нее очень многого.

Глава XIV.

КОНФЕРЕНЦИЯ АНАРХИСТОВ В МОСКВЕ, В ГОСТИННИЦЕ „ФЛОРЕНЦИЯ“.

На конференции присутствовали ряд товарищей из Одессы, во главе с товарищем Молчанским и Красным, тов. Иуда Роцин (Гросман), тов. Аршинов, Борзенко Григорий, какая-то дама, гордившаяся тем, что была контр-разведчицей от большевистско-лево-эсеровского командования, что часто попадалась в руки контр-революционному командованию, что умело все узнавала от последнего и привозила сведения в штаб революционного командования. Был еще и целый ряд товарищей поменьше, болтавших попусту много чепухи.

Все товарищи, присутствовавшие на этой конференции, особо почитали Иуду Гросмана-Роцина. В него все верили, и в особенности товарищи из Одессы: Красный, Мекель и упомянутая дама. От него, тов. Роцина, ожидали чего-то сверх-обыкновенного на этой конференции.

Но тов. Роцин оставался тем же бесшабашным, каким он, видимо, был много лет до этого времени. Он засыпал товарищей фразами, подчас обещая помочь нам всем, желая очутиться на Украине в царстве гетманщины. Конечно, не все из присутствовавших на этой конференции думали о поездке на Украину, и не верили в его обещания. Это было очень заметно. Но те, кто верили, что большевист-

ская власть снабдит их документами и деньгами на дорогу, те упивались его баснями. И лишь когда тов. Красный поставил т. Рошину прямо вопрос, чтобы он пошел к кому следует из большевистских владык и раздобыл средств для бюро по отправке анархистов на Украину для подпольной работы против гетманщины (которое одесситы мечтали создать), и когда тов. Гросман-Рошин от этой миссии отказался, мотивируя свой отказ тем, что он не видит цели этого бюро, лишь тогда у знаменитых одесситов вера в тов. Рошину несколько поблекла и потеряла свою выпуклость — по крайней мере, на то время, что длилась конференция.

После неудавшейся попытки прямых рошинцев использовать самого тов. Рошину (а через него и большевистских владык, которые в то время чувствовали уже оппозицию себе со стороны левых соц.-революционеров и действовали теперь в кое-каких делах на свой риск и страх) для дела, которое одесским анархистам во главе с т. Красным было более всего близко, ряд товарищей поставили перед конференцией общий вопрос: намереваясь пробраться на Украину для подпольной работы самостоятельно, не обращаясь к большевикам за материальной помощью, они хотят установить здесь, на конференции, определенный взгляд анархистов на то, какие методы борьбы наиболее целесообразны в нашей деятельности против реакции гетманщины, за низвержение последней?

По этому вопросу высказались почти все товарищи. Однако, к определенному единому взгляду не пришли, и ограничились лишь общим пожеланием быть бескомпромиссными в своей деятельности, идти в массы и воспитывать их в таком же духе...

Помню, когда мы оставили гостинницу „Флоренция“, я шел по тротуару Тверской с тов. Аршиновым и перебрался с ним несколькими словами о конференции. Он видел мое возмущение идеологическим разбродом и безответственным поведением тов. одесситов, которые, на мой взгляд, определенно склонялись на путь лакейства перед большевиками. Тов. Аршинов, по натуре человек более сдержанный, чем я, не был так резок в своем мнении о роли „одесситов“, т. т. *Красного* и *Мекеля*, на этой конференции. Но в принципе он целиком разделял мое мнение о их поведении.

После этой нашей конференции, я еще раз подчеркнул для себя неопровержимую правду о том, почему наше движение в первые дни революции так быстро увлекало за собою трудящихся, а с течением времени начинает слабеть и отпугивать их от себя. По-моему, все это происходит потому, — записывал я для себя, — что в нашем движении не выявлены положения об общественности. Наше движение не имеет в своем распоряжении тех средств, к которым борющиеся массы питали бы доверие, веря, что с их помощью они могут выйти в своей борьбе на открытый, свободный и независимый путь нового социально-общественного строительства. Наше движение питается все еще чисто философскими принципами в своих подходах к массам и к их повседневной реальной борьбе. И поэтому, при всем превосходстве его идеями государственного социализма, оно бесильно убедить трудящиеся массы в том, что поддерживая его, следуя за ним, они достигнут высшей, более свободной и счастливой формы организации для общественной и индивидуальной жизни.

Но значит ли это, что его нужно признать совсем несобственным справиться со своей исторической миссией в жизни и борьбе угнетенного трудового человечества? Безусловно нет, таким признавать его нельзя. Оно слишком сильно и могуче уже и в наш век. И располагай оно достойными его цели социальными средствами для своих социальных действий, большая часть трудового человечества давным-давно признала бы и усовершенствовала бы его методы борьбы... И оно явилось бы в жизни и борьбе трудящихся руководящей идеей, дающей во-время и на все запросы дня точные ответы.

Увлекаясь этими мыслями, я, однако, отдавал себе отчет, что осуществлять эти мысли в практической борьбе в настоящее время не легко, что для этого нужны силы, а их почти нет в России. При этом, я неоднократно думал о П. А. Кропоткине. Думал: Что же он, этот маститый вождь анархизма, делает теперь? О чем думает? Неужели он не видит тех причин, которые делают анархизм бессильным

выявить в действии, полно и отчетливо, перед трудовыми массами все то, чего он ищет в великой борьбе? Ведь не может же быть, чтобы этот великий борец, награжденный здоровым и сильным умом, — борец, который всю свою жизнь проповедывал идею анархизма и боролся за права угнетенных, — не может быть, чтобы он не думал об этом, не принимал никаких мер!..

Мысленно рассуждая так, я не раз говорил себе: Пойду сейчас к нему, он на все исчерпывающе мне ответит. И потом спрашивал у тов. Аршинова: — Ты не знаешь, П. А. Кропоткин в Москве сейчас? (Хотя я хорошо знал, что он в Москве). А когда получал от тов. Аршинова утвердительный ответ, я находил почему-то неудобным идти к нему и продолжал мучительно терзать себя вопросами, на которые сам не мог дать исчерпывающих ответов.

Однажды, когда я проходил по одной из московских улиц вместе с тов. Аршиновым (кажется, после разности по магазинам вышедшей из печати книги „Хлеб и Воля”), тов. Аршинов мне говорит: — Ты хотел побывать у Кропоткина. Вот здесь недалеко живет Кропоткин. Я советую тебе посетить его...

— С тобою, что ли? — спросил я Аршинова.

— Нет, я сейчас не собираюсь посещать его, но тебе советую; тем более, ты уезжаешь в Екатеринославщину. Перед отъездом стоило бы посетить старика, поговорить с ним...

— Постараюсь зайти, — сказал я в ответ Аршинову и погружился в размышления о том, с чем, с какими важными вопросами я найду к старику, беспокоить его. Вопросов было очень много. На четырех из них — на вопросе об отношении к оккупации немецко-австро-венгерскими армиями в союзе с Украинской Центральной Социалистической Радой, Украины, на роли в этой оккупации украинских социал-революционеров и соц.-демократов, возглавлявших Раду, на отношении к сменившему в это время Раду гетману Скоропадскому и, наконец, на анархических методах борьбы против всех этих видов контр-революции — я сосредоточил свое внимание и собрался к дорогому нашему старику, Петру Алексеевичу.

* * *

Я попал к нему накануне его переезда в Дмитров (под Москвой). Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. И долго говорил со мною об украинских крестьянах...

На все поставленные мною ему вопросы я получил удовлетворительные ответы.

Когда я попросил у него совета насчет моего намерения обратиться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив: — Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить.

Лишь во время прощания он сказал мне: — Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждают все...

Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в этой моей деятельности те черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых говорил мне Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера и в самих себе.

Глава XV.

ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗОВ.

В июне месяце под председательством Максима Горького, открылся с'езд Текстильных Профсоюзов.

— Это — с'езд труженников. Вопросы, которые будут решаться на нем, должны быть важны и для меня, — думалось мне. И, вместе с т. т. Аршиновым, Масловым и другими, я пошел на его заседание, надеясь увидеть там и услышать виднейших специалистов.

Действительно, у стола президиума этого с'езда сгруппировался лучший цвет проживавших в то время в центре

бумажной революции социалистов. Они выступили один за другим, говорили, махали руками, кричали один сильнее и лучше другого. Лишь обиженный лидер центра социал-демократии, гражданин Мартов, который много и временами, — помню, мне так казалось, — неискренно, но дельно говорил, лишь он, этот непримиримый враг Ленина, как ни надувался выкрикнуть громче и сильнее, чтобы как можно ярче оттенять в своей речи то, что, видимо, считал самым важным, лишь он бессилён был кричать. Его хриплый голос не позволял ему сравняться с гораздо менее крупными и по мысли, и по ее выражению, ораторами. Он махал руками, кричал, сопел, но остался мало услышанным, мало понятым, по крайней мере задними колоннами делегатов и простых посетителей съезда. Кроме того, специально большевиками мобилизованные свистуны своим демонстративным шумом и свистками мешали делегатам слушать этого маститого правоверного социал-демократа меньшевика. Правда, эта специально мобилизованная большевиками шайка демонстрантов мешала делегатам выслушивать не только социал-демократических меньшевистских ораторов, но и лево-эсеровских, и даже большевистских. По крайней мере, я был очевидцем того, как один из ораторов большевиков (не помню точно его фамилию) выступил и уже чуть не на половине речи был заглушен свистком. Этот свисток имел большие шансы быть подхваченным и пополненным другими свистками, если бы свистун не был своевременно одернут и предупрежден (видимо, специальным руководителем шайки), что, де, „речь двигает наш, большевик!“

Все вопросы, какие съезд Текстильных Профсоюзов съехался обсудить, а также и решения по ним, меня, крестьянина-революционера, и радовали, и в то же время угнетали.

Радовали они меня тем, что по ним я видел в пролетариях города понимание их трудовых интересов и целей, связанных с этими интересами. По ним можно было убедиться, что боевой фронт городских пролетариев растет, что намечаемые ими пути социальных достижений уже вполне могут быть предохранены от покушения на них со стороны новой государственной политической власти, и что, благодаря этому, можно питать надежду, что револю-

цию, столь во многом уже обкарнанную — во имя государственности и в противовес свободной общественности — двумя господствующими в стране политическими партиями, революционные пролетарии могут еще спасти.

Угнетало же меня в вопросах и решениях съезда то, что я не видел на нем выражения прямой воли представленных здесь пролетариев. Мне лично казалось, что хотя вопросы съезда и разрешались самими, как-будто, пролетариями и именем их класса, кровно заинтересованного в них, они все-таки разрешались под влиянием воли и интересов политических партий, которые, каждая по своему, и в своих партийных интересах, истолковывали перед пролетариями их цели и обязанности в смысле строительства социалистического государства, со всеми его многочисленными органами власти. А это резко отмежевывало всегда, и отмежевывает теперь, городских пролетариев от трудового, не эксплуатирующего чужого труда крестьянства, которое все определеннее и резче проявляет в своей практической жизни оппозицию к власти, к ее претензиям выдумывать и писать для него законы.

Без тесного сотрудничества с крестьянством властолюбивому городу и заражающему поневоле его властолюбием городскому пролетариату самому не построить новой свободной общественной жизни. Эта истина уже подтвердилась на опыте, даже при условии, когда вместо строения подлинного социалистического общества, строилось полусоциалистическое, полукapиталистическое государство, каким, в сущности, являлось, под именем „государства диктатуры пролетариата“, государство большевистско-лево-эсеровского блока. Это государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума и соответственного организационного подхода к общественному делу. За них подходили к нему, по рецепту буржуазного государства, большевики и левые эсеры. Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры.

И если, даже при таком урезанном порядке вещей, город без деревни не мог ничего широкого и плодотворного начать и с успехом закончить, то, при подлинном и полном

социалистическом строительстве, городские пролетарии, без прямого братского содружества с трудовым, не эксплуатирующим чужого труда, крестьянством, засосутся омутом государственнических доктрин, которые крестьянство не признает, и в долгих муках недостатка самого главного — сырья и пищи — принуждены будут или во многом отказаться от государственности, или же пойти против крестьянства, извратить идеи социализма и предаться своему исконному врагу — буржуазии. Это во-первых.

Во-вторых, подчинение пролетариев, как класса, каким бы то ни было политическим партиям, которые никогда не имеют в виду подчинить свои политические цели экономическому освобождению пролетариев, отдаст их, пролетариев, в распоряжение этих партий на самое позорное издевательство во всех отношениях: и в экономическом, и в политическом, и в моральном.

Отсюда, в наиболее политически развращенных уже пролетариях зарождается мысль о борьбе не за полное экономическое и политическое освобождение их класса, а за смену ролей на пути политического господства одного класса над другим.

— Мы осуществили диктатуру пролетариата! — выкрикивали некоторые ораторы на съезде текстильных профсоюзов, — и мы в праве сказать врагам своим, чтобы они замолчали, ибо воля пролетариата — их сокрушить...

Видимо, эти безответственные крикуны, а с ними и их соперники — пролетарии с мест, и не думали о том, что созданием этой диктатуры они разбивали единство своего классового трудового организма на пользу не революции, а врагам ее. Они не думали о том, что, в недалеком будущем, им самим придется бороться против подобного распыления трудовых сил. На это их толкнет само существо власти, — „диктатуры пролетариата“, — которую они, по своему невежеству, создали, и против которой, можно ожидать, окажутся долгое время бессильными бороться реальными средствами, чтобы заменить ее чем-то другим, более соответствующим, которое отвечало бы идеям трудящихся, этого авангарда человечества, который создал все богатства мира и должен ими пользоваться свободно, и в зависимости от потребностей, а не затрачивать снова своих сил на то, чтобы оплатить их еще дороже.

Правда, политические партии, восторжествовавшие в русской революции, над этим менее всего задумывались. Политическая государственная власть, это юридическое шарлатанство, в котором вожди государственного социализма видят средство избавления угнетенных от экономического рабства, была в их руках. Они строили, согласно принципам своей власти, программы борьбы и жизни для тружеников, указывая последним, что, следуя только их программам, можно отыскать, понять и устранить причины рабства, нашедшего себе место в их жизни. Городские пролетарии первые бросились в объятия власти этих программ, первые стремились реализовать их в своей жизни и властвовать, управлять, согласно этим программам, своими братьями по труду — крестьянами.

Отсюда начало развиваться в более отчетливом виде то историческое недоверие крестьян к городским пролетариям, которое нам известно на протяжении всей истории. А это усиливающееся недоверие ставило под прямую угрозу Великую Русскую Революцию и все те прямые завоевания трудящихся, которыми последние начинали жить.

Таково было положение Великой Русской Революции в июньские дни 1918 года. Спрашивается, сознавали ли это положение создавшие его партии? Можно с уверенностью ответить, что нет: они его не сознавали и продолжали свою грызню из-за своего партийного престижа в трудовых массах. Лишь часть городских пролетариев и трудовое крестьянство, под влиянием анархических идей, спохватились, что их обманули, что, за их счет, правящие партии перевели революцию с пути ее прямого действия на путь правительственных декретов и этим загнали ее в тупик. Они, эти труженики, требовали простора для революции. Но их голос заглушался криком Вильгельма Второго, который, через своего посланника Мирбаха, ставил препятствие развитию русской революции, угрожая и ей, и тем, кого пролетарии деревни и города, по своей наивности, допустили управлять ее судьбами. И партия большевиков-коммунистов, во главе с Лениным и Троцким, которая в это время фактически уже брала перевес над партией левых-эсеров, предпочла пойти на уступки Вильгельму II-му, чем поднять выше знамя революции или, по крайней мере, не мешать пролетариям, заметившим, что оно поникло до земли и топчется, поднять его.

Правда, это предательское поведение партии большевиков по отношению к революции раздвинуло окончательно в большевистско-лево-эсеровском блоке трещину, которая с резкой определенностью наметилась уже 3 марта 1918 г., в день заключения Брестского договора. Но, благодаря „мудрости” и особенному политическому влиянию Ленина, эта трещина искусственно склеивалась, сжималась, и временами, казалось, становилась почти незаметной.

Теперь эта трещина раздвинулась окончательно, и „мудрость” Ленина становилась бессильной повлиять на главарей партии левых эсеров, чтобы еще раз склеить ее. Левые эсеры устыдились своего лакейства перед Лениным, который раньше никогда не имел такого авторитета среди российских тружеников и интеллигенции, какой имела их мать — старая, революционно-боевая партия соц.-революционеров: мать, убитая провокатором Азефом. Теперь сироты этой матери — левые эсеры — готовы были на все, но не на то, чтобы идти за Лениным или, что еще хуже, обезличить себя в истории русской революции. Нет, они попытаются поравняться с Лениным и посчитаться с самим „ленинизмом”. По крайней мере, мне это так казалось, когда я прислушивался к голосу большевистских ораторов, которые уже не скрывали того, что левые эсеры готовятся дать им бой по всем вопросам внешней политики на предстоящем V-м Всероссийском Съезде Советов. Хотя, я должен признаться, у левых эсеров шансов на успех этого боя, по моему, не было, потому, что у них не было, кроме двух-трех человек, людей, подготовленных, ну, скажем, на посты Ленина и Троцкого, заменить которых ни Спиридоновой, ни Камковым, ни тем более Штейнбергом, ни даже Устиновым, имевшим до некоторой степени ленинскую практику, в то время нельзя было. Правда, эта партия, за время своего блокирования с большевиками, сумела воспитать и выдвинуть из числа своих членов, под идейным и практическим руководством большевика Ф. Дзержинского, кадр чекистов; и такие из них, как Зак и Александров, были хорошими головами. Но разве из людей, заразившихся аракеевской полицейщиной, могут выйти серьезные политики, какие нужны были в это время лево-эсеровскому государству? Я думаю, что если этого не могли понять некоторые горячие головы среди главарей лево-эсеровщины, то это

понимали в ее же рядах люди с более спокойными нервами и с более трезвым умом. Эти люди, я думаю, способны были так же искренне и честно, как М. Спиридонова и Б. Камков, отстаивать против узурпации большевиков права трудящегося, угнетенного народа. Так же, как Спиридонова и Камков, они могли жертвовать своим личным благополучием, даже самими собой, ради лучшей жизни этого народа, но только не с такой нервозностью, не с таким, до истеричности, пафосом, какими обладали эти два, в своем роде, вожди лево-эсеровщины, когда они блокировались с большевизмом-ленинизмом, когда они примкнули к управлению революционной страной, злоупотребляя доверием страны, попирая, во многих случаях, права революционных трудовых масс на свое свободное, трудовое и независимое от государства, с его полицейщиной, самоопределение.

Правда, левые эсеры не признают таким уж гнусным свое поведение по отношению революционных масс, придерживавшихся анархических идей в русле русской революции. Как говорят некоторые из них, они не признали за большевистскими лидерами — Лениным и Троцким — права на разгром, 12–13 апреля 1918 года, федерации московских анархических групп, о котором знаменитый в своем роде лево-эсеровский чекист Зак, по долгу своей роли в Чека и партии, делал ЦК партии доклад. Говорят, что М. Спиридонова не желала даже слушать этот доклад и, якобы с возмущением, покинула зал, где ЦК партии его заслушивал. Но мы хорошо знаем, что *возмущаться*, это — одно, а *действовать* в согласии со своим возмущением против акта несправедливости — совсем другое. Этих действий, против величайшего злодеяния чекистов и главарей партии большевиков по отношению к анархистам, со стороны левых эсеров не было, потому ли, что возмущение М. Спиридоновой было слабо, сравнительно с другими ее возмущениями, или же потому, что левые эсеры из ЦК партии того времени, упиваясь надеждами низвергнуть большевиков и стать непосредственно у кормила власти, считали для себя удобнее официально скрыть это возмущение и перед большевиками, и перед революционной страной. И они замяли свой протест против палачей, поправших свободу и права анархистов на деятельность в революции. А между тем, анархисты были наипреданнейшими сынами этой

революции. Они шли всюду в ее авангарде. Правда, шли они раздробленными рядами, но первыми и честно отдавая ей эти свои раздробленные силы. Судить анархистов по тем одиночкам, которые попадали в ряды анархизма с корыстной целью и, вместо работы среди трудящихся для общего дела освобождения, раз'езжали по стране из города в город, ничего не делая, — судить по этим одиночкам анархизм и анархистов было нельзя. И если большевистские лидеры прибегали к такой аргументации против анархистов, а левые эсеры с определенной целью обошли этот акт своих союзников молчанием, то виною в этом является та традиционная безответственность и лживость большевиков, которые ведут свое начало еще от Карла Маркса, в его борьбе с М. Бакуниным. Хотя эти черты и известны были левым эсерам, но о них последние, по „долгу“ блокирования с большевиками, напоминать, видимо не могли. Не могли они говорить большевикам, чтобы они устыдились лгать на своих идейных противников и чтобы сознались, что эта ложь по отношению анархистов не может быть полезной для революции. По-видимому, лидеры партии левых эсеров думали, по низвержении большевиков, по провозглашении и утверждении себя у власти над страной и над ее дальнейшим революционным развитием, разобратся в этом исторически и фактически столь важно для дела революции вопроса... Но это только наше предположение, не более.

Глава XVI.

В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕКЦИИ ВЦИК'а СОВЕТОВ.

Как только я приехал в Москву и попал на временное жительство в отель, который находился в распоряжении Коменданта от Крестьянской Секции ВЦИК'а Советов, я заинтересовался этой секцией и ее президиумом, во главе которого стояла лидерша лево-эсерошницы — М. Спиридонова. Ее, как заслуженного революционера, я считал важным увидеть лично, услышать непосредственно. И я посещал заседания этой Крестьянской секции. На этих заседаниях я много раз слышал М. Спиридонову и Б. Камкова. Из левых эсеров, я этими двумя фигурами больше всего интересовался. Они были наиболее популярны в рядах лево-

эсерошницы в тот период. Правда, бывали там иногда и другие столпы лево-эсерошницы, но они широкой массе трудящихся были менее известны. Они были менее воодушевлены и менее привлекательны. Во всяком случае, имена Спиридоновой и Камкова произносились массами всюду с явным чувством уважения к ним. Казалось, они были первыми среди равных главков лево-эсерошницы партии.

На многочисленных заседаниях Крестьянской Секции ВЦИК'а Советов М. Спиридонова проявляла свою яркую волю и знание задач своей партии. Все ее выступления с особой четкостью выявляли задачи партии на предстоящем V-м Всероссийском С'езде Советов. Ее выступления всегда наполняли зал заседания каким-то радостным чувством для революционера, уловившего за судьбу революции. В них всегда можно было уловить, что левые эсеры почувствовали свои промахи и ошибку своего блока с большевиками; что они не сегодня-завтра круто повернут в сторону углубления и расширения революции. А в этом направлении они были бы поддержаны анархистами-коммунистами и синдикалистами, ибо такое направление было бы родственным тем целям, которые преследовались авангардом революционного трудового народа, жаждавшим революции, хотевшим ее и вынесшим ее на своих плечах.

Однако, я относился осторожно к впечатлению, что левые эсеры опомнились. Мне казалось, что, вообще-то, они, как и большевики, менее всего думали о своих первоначальных промахах на пути революции, — промахах, которые положили начало их преступлениям по отношению к последней. Все они не хотели считаться с тем, что революция в селе проявляла себя в явно анти-государственническом духе. Они, как и большевики, не брезгуя нарушением доброй воли крестьянства, уродовали этот дух революции на селе во имя государственности и всех, вытекающих из нее, властнических институтов. Кроме же того, цели политических партий во многих случаях бывают чуждыми целям трудящихся. Это особо ярко показали большевики и левые эсеры, придя к государственной политической власти над страной по низвержении „керенщины“. Всего этого я не мог не замечать в жизни и борьбе трудового крестьянства, находясь в его революционном авангарде. И это ставило передо мной вопрос: смогут ли левые эсеры пойти на-

столько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления о их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком? А если бы так случилось, то станут ли левые эсеры на верный путь революции: не мешать трудящимся углублять и развивать революцию, без указов и приказов лево-эсеровской власти, которую эти люди будут стараться навязать трудящимся. Ибо без нее они не могут быть эсерами. На этот вопрос я отвечал: Нет. У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но очень мало тех сил, которые оказались бы достаточными на такое грандиозное дело, как реорганизация пути революции. Оставаться же на том пути, по которому левые эсеры шли до сих пор вместе с большевиками, им нельзя: они и пять дней не продержатся на нем; большевики разобьют их одним авторитетом Ленина и Троцкого, укреплению которого в массах левые эсеры до сих пор содействовали столько же, сколько ему содействовали сами большевики.

— Ну, а если допустить, — рассуждал я однажды с тов. Масловым, — что левые эсеры окажутся настолько в большинстве на V-м Съезде Советов, что провалят большевиков с их политической ориентацией на „передышку”, то неужели анархисты что-либо выиграют от этого? Конечно нет, и вот почему. Первое: Спор между левыми эсерами, по моему, не есть спор о глубоком, основном идейном расхождении по тем или иным вопросам политики управления революционной страной. Глубокой сущностью этого спора между ними, — отмечал я тогда, — является то обстоятельство, что большевики, по всему фронту советской власти, начали заметно брать перевес над левыми эсерами. Этот факт, с одной стороны, подбодрил большевиков на то, чтобы не считаться с протестом партии левых эсеров против заключения „Брестского Договора”. А, с другой стороны, перед большевиками реально встал вопрос о том, чтобы как можно скорее и полностью развернуть свой авторитет над трудовой революционной страной, а затем заявить левым эсерам, что, де, они, большевики, являются полными господами политического и социального положения в стране, а потому, им, левым эсерам, ничего не остается делать, как только влиться в партию большевиков-коммунистов и заняться более решительно экспериментом „научного” госу-

дарственного социализма-коммунизма. — Или же, нам, мол, с вами не по дороге.

Такова была, по моему, политическая ориентация большевиков по отношению к своим соратникам в борьбе за захват государственной власти. Партия левых эсеров не могла не замечать этого намерения партии большевиков-коммунистов. Она его и замечала. Однако, она создавала, что фактически уже бессильна противостоять большевикам. Она видела, что позорный „Брестский Договор” фактически входит в силу. Другой, более сильной, аргументации против большевиков у нее не было. И это приближало ее, как партию, мечтавшую играть историческое равенство в окончательном решении судеб русской революции, к неминуемому разрыву с большевиками. Вот почему она, эта партия, метала гром и молнии против „Брестского Договора”, даже тогда, когда он уже был подписан. Она стремилась теперь как можно тщательнее затушевать то, что неминуемый разрыв с большевиками у нее должен произойти в силу полного господства большевиков во всех государственных и профессиональных учреждениях, — господства, повелительно требующего от диктаторствующей большевистской партии полной и единой ее воли по всему фронту государственной власти. Для партии левых эсеров было несравненно выгоднее показать, будто этот назревший разрыв с большевиками происходит отнюдь не по причине того, что большевики, окрепшие за счет левых эсеров и вообще революционеров, взяли перевес над ними и теперь, не нуждаясь больше в них, как в самостоятельных социально-политических силах революции, стараются всосать их в свою партию или просто ликвидировать. И партия левых эсеров решила оказать этим замыслам большевиков решительное сопротивление, вплоть до провозглашения их Контр-Революцией. Это руководствовалось в речах и просто беседах левых эсеров — руководителей крестьянской секции В. И. Ц. К-та Советов. Так дело понималось и мною лично, и рядовыми эсерами. Событие ожидалось многими с особым напряжением нервов. Бесцеремонная позиция большевиков, которую последние, в связи со своим явным партийным торжеством над эсерами в деле их обоюдного властвования над революционной страной, уже не скрывали, выявляя ее все ясней и понятней для масс и для неспра-

вившейся с делом организации масс партии левых эсеров, — эта позиция большевиков, оболоченных властью и ее безответственным хозяйничаньем уже не только над безымянной, слепо им доверившейся массой, но и над массой, большевикам не доверившейся, над массой, осознавшей себя и объединившейся под знаменем других революционных партий и организаций, — эта позиция тревожила, заставляла нервничать каждого революционера, и партию левых эсеров в особенности, потому что она начинала понимать, что недооценила своих сил и государственных организационных способностей, на основе коих она мечтала и революцию „спасти“ и партию большевиков оборвать, дав ей почувствовать, что она одна, без блока с нею (с лево-эсеровской партией) не справится с революцией, что революция высвободится из-под ее власти... А если революция действительно высвободится из-под власти, то это, для социалистов-государственников (и большевиков-„коммунистов“ и левых эсеров), почти уже оседлавших революцию, будет прямым историческим позором...

Но партия большевиков уже настолько опьянела от своей фактической и формальной государственной власти в стране, что подумать о чем-либо, связанном с лево-эсеровским политическим беснованием, не находила времени. Она все решительнее толкала свои силы и связанные с ними трудовые массы на то, чтобы целиком и полностью перейти на свой собственный путь, который, в ее партийном представлении, понимался, как путь создания прочного „пролетарского“ государства, с такой же прочной „пролетарской“ властью во главе.

Все то, что я услышал в Москве, за чем наблюдал и в наших анархических рядах, и в рядах социалистов, большевиков-коммунистов и левых соц.-революционеров, — все это меня, вовсе не интересовавшегося „правом“ тех или других на власть, считавшего спасение революции первым и важнейшим делом в этой реакционной обстановке, которая, в силу нашей дезорганизованности, не позволяла анархизму ставить решительные ультимативные условия зарывавшемуся большевизму, — все это, говорю, меня угнетало, подчас так тяжело, что я собирался прекратить все свои наблюдения, все свои знакомства с людьми и их делами, и уехать без всяких документов на Украину, по-

ближе к Гуляй-Полю, раньше, чем это было условлено с товарищами на нашей Таганрогской Конференции. Подчас казалось, что все революционные завоевания народа гибнут по вине самого же народа, и что помешать этому процессу окончательно развиться уже поздно. Кроме того, я заметил, что комендант отеля, наш тов. Бурцев, начинал тяготиться нашим проживанием у него. Это обстоятельство поставило передо мной задачу: использовать мои официальные документы и достать бесплатную комнату от Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов. Я пошел в Совет. Однако, в Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, в ВЦИК Советов, где я должен, де, предъявить свои документы, и уже тогда ВЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский Совет может дать мне ордер на занятие бесплатной комнаты.

Глава XVII.

КРЕМЛЬ. СВЕРДЛОВ И МОЯ БЕСЕДА С НИМ.

Я подошел к воротам Кремля с определенным намерением: во что бы то ни стало повидаться с Лениным и, по возможности, с Свердловым, поговорить с ними.

У ворот, ведущих в Кремль, дежурная комнатуха. В ней сидит доверенное лицо, которое, по предъявлении документа-ордера из Московского Совета, осматривает его, прилагает к нему свой маленький ордерок и отпускает желающего пройти в Кремль. Тут же, сбоку этой комнатухи, прохаживается часовой-красноармеец из латышского стрелкового полка. Проходишь мимо этого часового, при входе из ворот во двор Кремля, и натыкаешься на другого часового. Можешь спросить его, в какой корпус ты хочешь пройти, он тебе укажет. А далее, хочешь — ходи по двору и осматривай разнокалиберные пушки и ядра к ним, допетровских и петровских времен, Царь-Колокол и другие достопримечательности, о которых ты мог только слышать, но до входа во двор Кремля ты их не видел, или же иди в дворцы-палаты.

При входе во двор Кремля я повернул влево, прямо во дворец (не помню его названия), поднялся по трапу, кажет-

ся, на второй этаж и по коридору этого этажа пошел влево, не встречая ни одного человека и лишь читая — на одних дверях: „ЦК партии“ (коммунистов-большевиков), на других: „Библиотека“ (не узнал, какая). И так-как ни „ЦК партии“, ни „Библиотека“ мне в это время не были нужны, то я прошел мимо них, не уверенный даже в том, что за дверями с этими надписями кто-либо был.

Проходя далее по тихому длинному коридору, я встречал еще какие-то надписи на дверях, но все они не говорили мне ничего о тех, к кому я пришел. Я повернул назад и, дойдя до двери с надписью „ЦК партии“, постучал в нее. Раздался голос: „Войдите“. И я вошел. В комнате сидело три человека. Один из них мне показался Загорским, которого я всего два или три дня назад видел в одном из большевистских партийных клубов. К ним, этим сидевшим в гробовой тишине за какой-то работой трем людям, я и обратился с просьбой показать мне, где помещается ВЦИК Советов.

Один из них (если не ошибаюсь, Бухарин) вскочил и, взяв под руку портфель, сказал, обращаясь к своим товарищам, но так, чтобы и я слышал: — Я сейчас уйду и этому товарищу, — показывая на меня кивком головы, — покажу, где ВЦИК. — И в ту же минуту направился к двери. Я поблагодарил их всех и вышел вместе с казавшимся мне Бухариным в коридор, в котором попрежнему царила гробовая тишина.

Мой проводник спросил меня, откуда я приехал. Я ответил ему: — Из Украины. Он очень заинтересовался тем, какой террор царит на Украине, и как я пробрался в Москву. При этом мы уже не шли, а стояли у ступеней, по которым я поднимался на этот коридор.

Затем, мой случайный проводник указал мне на дверь по правую сторону от входа в этот коридор, за которой я, по его словам, мог узнать все, что касается ВЦИК^а, и, попрощавшись, спустился вниз, к выходу из коридора в двор.

Я пошел к указанной мне двери. Постучал. Вошел. Меня встретила девица. Спросила, что мне нужно.

— Я хочу видеть председателя Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих Депутатов, товарища Свердлова, — ответил я на вопрос девицы.

Девица, ничего мне не говоря, села за письменный стол. Затем взяла мой документ и пропуск в Кремль, кое-что выписала из них, написала мне карточку и указала № другой двери, куда я должен зайти.

Там, куда меня направила барышня по особому пропуску, помещался секретарь ВЦИК^а Советов — крупный мужчина, видно выхолненный, но с изнуренным лицом. Он спросил меня, что мне нужно. Я пояснил. Тогда он попросил бумаги, удостоверения. Я дал. Мои бумаги его заинтересовали. Он переспросил меня:

— Так вы, товарищ, с юга России?

— Да, я из Украины, — ответил я ему.

— Вы Председатель Комитета Защиты Революции времен Керенского?

— Да.

— Значит, вы — социалист-революционер?

Я отвечаю: — Нет.

— Какие связи имеете или имели от партии коммунистов вашей власти?

— Я имею личные связи с рядом работников партии большевиков, — ответил я ему. И тут же назвал председателя александровского Ревкома, тов. Михайлевича и кое-кого из Екатеринослава.

Секретарь замолк на минуту, а затем принялся расспрашивать меня о настроении крестьян на „юге России“, о том, как крестьяне отнеслись к немецким армиям и отрядам Центральной Рады, каково отношение их к советской власти и т. п.

Бегло я ему ответил и видел, что секретарь был доволен; а лично жалел, что не мог распространяться с ним на эту тему.

Затем он позвонил куда-то по телефону и тут же предложил мне пройти в кабинет председателя ВЦИК^а, товарища Свердлова.

Это напомнило мне легенду и контр-революционеров, и революционеров, и даже моих друзей — противников политики Ленина, Свердлова и Троцкого, распускавших слухи, что к этим в своем роде земным богам добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посети-

телей и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти.

Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов и свободно подходил к двери кабинета тов. Свердлова. Последний сам открыл нам дверь и с мягкой, казалось, товарищеской улыбкой подал мне руку и повел меня к креслу.

Секретарь вернулся в свой кабинет.

Тов. Свердлов показался мне несколько бодрее, чем его секретарь. Мне показалось, также, что он глубже заинтересовался тем, что в действительности происходило на Украине за последние два-три месяца. Он сразу выпалил мне:

— Товарищ, вы с нашего бурного юга; вы чем там занимались?

— Тем, чем занимались широкие массы революционных тружеников украинской деревни. Трудовая украинская деревня, приняв живое, непосредственное участие в Революции, стремилась к полному своему освобождению. В ее передовых рядах я, можно сказать, был всегда первым на этом пути. Лишь теперь, в силу поражения и отступления общего революционного фронта из Украины, я очутился временно здесь.

— Что вы, товарищ, говорите, — перебил меня т. Свердлов: — ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады.

Я рассмеялся и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляй-Польском районе против нашествия немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и отрядов Центральной Рады.

Т. Свердлов, как-будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить: — Почему же они не поддерживали наших красногвардейских отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом и всюду встречало экспедиционные немецкие войска и отряды Центральной Рады с особенной радостью, как своих освободителей.

Я начал нервничать и горячо осуждать их сведения о украинской деревне. Я сознался ему, Свердлову, что сам являюсь организатором и руководителем ряда крестьянских вольных батальонов для революционной борьбы против немцев и Центральной Рады, и что я знаю крестьянство

могло бы выделить из себя могущественную революционную армию против немцев и Центральной Рады, но оно не видело боевого фронта революции. В красногвардейские отряды, которые вели борьбу по линиям железных дорог, всегда держась своих эшелонов и при первом же неудачном бое не всегда даже грузившихся в эти эшелоны, а отступавших на десятки верст, не видя противника (двигаясь он по их следам или остановился), — в эти отряды крестьянство не верило, ибо сознавало, что, будучи без оружия, оно останется само одиноким в своих селах на растерзание палачам революции. Красногвардейские отряды свои эшелоны не бросят в 10-20 верстах от деревни, чтобы придти в нее и не только вооружить и, подбодрив, толкнуть крестьян на революционный подвиг, в бой против вооруженных врагов революции, но и самим пойти вместе с ними на этот подвиг...

Свердлов слушал меня с особым вниманием и лишь от поры до времени переспрашивая меня: — До неужели же это так?

Я указал ему на ряд красногвардейских отрядов из групп Богданова, Свирского, Саблина и других; указал в более спокойном тоне на то, что красногвардейские отряды, будучи прикрепленными к путям железных дорог, к эшелонам, при помощи которых они привыкли быстро наступать, но чаще всего отступали от противника, не могли внушать серьезного доверия к себе со стороны крестьянской массы. А сама эта масса видела в революции средство избавления себя от гнета не только помещика и богатея-купца, но и от слуги этих последних — власти политического и административного чиновника сверху, и потому совершенно сознательно была готова защищать себя, защищать свои завоевания от казни и разрушения их немецким юнкерством и гетманщиной.

— Да, да, на счет красногвардейских отрядов, вы, пожалуй, правы... Но мы их уже реорганизовали в красную армию. Теперь у нас растет могучая Красная Армия, и если южное крестьянство так революционно, как вы мне его представили, то мы имеем большие шансы на то, что немцы будут разбиты, гетман низвергнут в самом недалеком будущем, и власть Советов на местах восторжествует и там, на Украине, — сказал мне Свердлов.

— Это будет зависеть от того, какая подпольная работа будет вестись там. Я лично считаю, что теперь больше, чем когда-либо, там нужна подпольная работа революционеров, работа главным образом организационная, боевого характера, которая помогла бы массам выйти на путь открытого восстания по городам и деревням против немцев и гетмана. Без восстания чисто революционного характера внутри Украины, нельзя немцев и австрийцев заставить отступить из Украины, а гетмана и гетманцев пленить или заставить бежать вслед за немцами и австрийцами. Наступление Красной Армии немислымо, в силу Брестского договора и тех условий чисто политического характера, которыми наша Революция окружена извне.

Когда я все это говорил товарищу Свердлову, он делал какие-то отметки для себя, говоря мне: — Вашу точку зрения в данном случае я целиком разделяю. Но скажите мне — кто вы такой, коммунист или левый эсер? О том, что вы украинец, видно из вашего разговора, а к какой из этих двух партий принадлежите, нельзя понять.

Этот вопрос меня, если, и не смутил (потому, что секретарь ВЦИК'а мне его уже задавал), то во всяком случае поставил в затруднительное положение. Передо мной встал тоже вопрос: Как быть? Сказать ему, Свердлову, прямо, что я — анархист-коммунист, товарищ и друг тех, чьи организации его друзья по управлению революционной страной и по партии разрушили всего два месяца тому назад, в Москве и в ряде других городов, или скрыться под другим флагом?

Я боролся с самим собой, и это было заметно для тов. Свердлова. Открыть свою социально-революционную и политическую принадлежность в середине разговора я не хотел. А скрываться под другим флагом мне было противно. Поэтому я, после некоторого раздумья, сказал Свердлову: — Почему вас так интересует моя партийная принадлежность? Разве вам не достаточно моих документов, удостоверяющих, кто я, откуда и какую роль играл в известном районе в организации тружеников деревни и города, в организации их боевых отрядов и вольных батальонов против контр-революции, разгуливающей на Украине?

Тов. Свердлов извинился передо мной, просил меня не подозревать его в нереволуционной чести и недоверии

ко мне. Извинение его показалось настолько искренним, что я почувствовал себя нехорошо и без всяких дальнейших колебаний заявил ему, что я — анархист-коммунист, бакунинско-кропоткинского толку.

— Да какой же вы анархист-коммунист, товарищ, когда вы признаете организацию трудовых масс и руководство ими в борьбе с властью капитала?! Для меня это совсем не понятно! — воскликнул Свердлов, товарищески улыбаясь.

На это удивление председателя ВЦИК'а я ответил коротко: — Анархизм, — сказал я ему, — идеал слишком реальный, чтобы не понимать современности и тех событий, в которых так или иначе участие его носителей заметно, чтобы не учесть того, куда ему нужно направить свои действия и с помощью каких средств...

— Так-так, но ведь вы же совсем не похожи на анархистов, которые здесь (в Москве) осели было на Малой Дмитровке, — сказал мне Свердлов и хотел рассказать мне что-то об анархистах на Малой Дмитровке, но я заметил ему: — Разгром вашей партией анархистов на Малой Дмитровке следует считать печальным явлением, которого в дальнейшем нужно избегать, хотя бы во имя революции...

Свердлов несколько раз буркнул что-то себе под нос, а затем быстро поднялся со своего кресла, подошел ко мне, взял меня за плечо и, полунагибаясь, сказал мне:

— Знаете что, товарищ, вы очень многое знаете о нашем общем отступлении из Украины и, в особенности, о действительном настроении крестьян. Ильич, или т. Ленин, выслушал бы вас с особым вниманием и был бы доволен этим. Хотите, я позвоню ему об этом?

Я ответил, что больше того, о чем я говорил с ним, я вряд ли скажу и тов. Ленину, но Свердлов уже позвонил по телефону к Ленину и сообщил ему, что он имеет у себя товарища, который привез весьма важные сведения о крестьянах на юге России и их отношении к немецким экспедиционным армиям. И тут же уговаривался, когда можно будет зайти к нему.

А через минуту Свердлов положил трубку и быстро написал мне, за личной своей подписью, пропуск к себе. Вручая мне этот пропуск, он сказал: — Товарищ, завтра в

час дня зайдите прямо сюда, ко мне, и мы пройдем к тов. Ленину... Смотрите, непременно зайдите.

— Я зайду... Но как же с тем, чтобы достать от секретариата ВЦИК'а бумагу в Московский Совет, чтобы указали мне временную и бесплатную квартиру? В противном случае, я принужден буду ночевать где-нибудь в сквере на лавке, — спросил я Свердлова.

— Все устроим завтра, — ответил он мне. И я, распрощавшись с ним, вышел из царских палат во двор Кремля, снова обошел круг лежавших по-под стенами разнокалиберных ядер и пушек, бросил лишний раз свой взор на Царь-Пушку и покинул Кремль. До завтра...

Теперь я не пошел в номера, принадлежавшие крестьянской секции ВЦИК'а Советов, где заведующим был однопроцессник тов. Аршинова — Бурцев, который многих, в том числе и Аршинова, приютил возле себя и постепенно начинал тяготиться ими. Я пошел к заведующему домом Профсоюзов, тоже судившемуся вместе с Аршиновым, но не долюбивавшему последнего за его замкнутость и за какое-то, как он говорил, „маниакство“: к анархисту Маслову.

Будучи знаком с тов. Масловым по каторге, я заявил ему, что, не имея сейчас, где ночевать, я останусь на ночь две у него.

Тов. Маслов не возражал мне, и я остался у него.

Сверх ожиданий, Маслов оказал мне особое гостеприимство, несмотря на мое издевательство над его своеобразным индивидуализмом, поставившим его вне всяких более или менее серьезных товарищеских связей со своими бывшими товарищами по старой московской организации анархистов-коммунистов.

Глава XVIII.

МОЯ ВСТРЕЧА И РАЗГОВОР С ЛЕНИНЫМ.

На другой день, ровно в час дня я был опять в Кремле, у Председателя Всероссийского Центрального Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов —

тов. Свердлова. Он провел меня к Ленину. Последний встретил меня по-отцовски и одной рукой взял за руку, другой, слегка касаясь моего плеча, усадил в кресло. Затем попросил Свердлова сесть, а сам прошелся к своему, по-видимому, секретарю или перелисчику и сказал ему: — Вы, пожалуйста, закончите это к двум часам, — и лишь тогда сел напротив меня и начал спрашивать.

Первое: из каких я местностей?.. Затем: как крестьяне этих местностей восприняли лозунг „Вся власть Советам на местах“, и как реагировали на действия врагов этого лозунга вообще и Украинской Центральной Рады, в частности? И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контр-революционных немецких и австрийских армий?.. Если да, то чего не доставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместные восстания и не слились с красногвардейскими отрядами, с таким мужеством защищавшими наши общие революционные достижения?..

На все эти вопросы я отвечал Ленину кратко. Ленин же, со свойственным организатору и руководителю умением, старался так обставлять вопросы, чтобы я как можно подробнее на них останавливался. Так, например, на вопрос, как крестьяне тех местностей, откуда я, воспринимали лозунг „Вся власть Советам на местах“, Ленин переспрашивал меня три раза; и все три раза удивлялся тому, что я говорил ему: а именно, что этот лозунг крестьянами воспринят своеобразно: власть Советов на местах — это, по-крестьянски, значит, что вся власть и во всем должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся; что сельские, волостные или районные советы Рабоче-Крестьянских Депутатов есть не более, не менее, как единицы революционного группирования и хозяйственного самоуправления на пути жизни и борьбы трудящихся с буржуазией и ее прихвостнями — правыми социалистами и их коалиционной властью...

— Думаете ли Вы, что это понимание крестьянами нашего лозунга „Вся власть Советам на местах“ — правильное понимание? — спросил меня Ленин.

Я ответил: — Да.

— В таком случае, крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом, — добавил Ленин.

— А разве это плохо? — спросил я его.

— Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отградно, так-как это ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью.

— Для меня это лестно, — сказал я Ленину, полуусмехаясь.

— Нет, нет, я серьезно утверждаю, что такое явление в жизни крестьянства ускорило бы победу коммунизма над капитализмом, — повторил мне Ленин, и добавил: — Но я только думаю, что это явление в крестьянстве не естественно: оно занесено в его среду анархистскими пропагандистами и может быть скоро изжито. Я готов допустить, что это настроение, будучи неорганизованным и подпав под удары восторжествовавшей контр-революции, уже изжило себя.

Я заметил Ленину, что вождю нельзя быть пессимистом и скептиком.

Свердлов перебил меня: — Так, по Вашему, нужно развивать это анархическое явление в жизни крестьянства?

— О, ваша партия развивать его не будет, — ответил я ему.

А Ленин подхватил: — А во имя чего нужно бы его развивать? Во имя того, чтобы раздробить революционные силы пролетариата, чтобы открыть путь росту и развитию контр-революции и, в конце концов, пойти самим и повести весь пролетариат на ее эшафот?

Я не сдержался и нервно заметил Ленину, что анархизм и анархисты к контр-революции не стремятся и не ведут к ней пролетариат.

— А разве я это сказал? — спросил меня Ленин, и далее пояснил: он хотел этим сказать, что анархисты, не имея серьезной своей организации широкого масштаба, не могут организовывать пролетариат и беднейшее крестьянство и, следовательно, не могут подымать их на защиту, в широком смысле этого слова, того, что завоевано всеми нами и всем нам дорого.

Далее мы перевели разговор на другие его вопросы. И на один из них, — на вопрос о „красногвардейских отрядах и их революционном мужестве, с которым они защищали наши общие революционные достижения”, — Ленин заставил меня ответить ему подробнейшим образом. Этот вопрос, видимо, беспокоил его или же восстанавливал в

памяти то, что еще так недавно проделано было красногвардейскими группами и отрядами на Украине, проделано как-будто успешно, с достижением той цели, которую Ленин и его партия ставили перед собой и во имя которой посылали эти группы и отряды из далекого Петрограда и других больших городов России и Украины. Помню, как Ленин с особым душевным беспокойством, которое может быть только у человека, живущего страстью борьбы с ненавистным ему строем и жаждой победы над ним, тревожился, когда я сказал ему: — Я — участник разоружения десятков казачьих эшелонов, снявшихся с противогерманского фронта в конце декабря 17-го и в начале 18-го года, и хорошо знаком с „революционным мужеством” красногвардейских групп и отрядов, а в особенности их командиров... И мне кажется, что Вы, товарищ Ленин, имея о нем сведения из второстепенных и третьестепенных рук, преувеличиваете его.

— Как так? Вы его не признаете? — спросил меня Ленин.

— Были и революционность, и мужество в красногвардейцах, но не такие уж великие, как вы себе их представляете. Были моменты в борьбе красногвардейцев с гайдамаками Центральной Рады и, в особенности, с немецкими полками, когда революционность и мужество, и самих красногвардейцев, и их командиров, были очень бледны и ничтожны. Правда, по-моему, это объясняется во многих случаях тем, что красногвардейские формирования производили наспех и придерживались методов борьбы с противником, не похожих ни на партизанские, в глубоком смысле этого слова, ни на фронтовые. Ведь для Вас должно быть известно, что красногвардейские группы и отряды, как бы они ни были многочисленны или малочисленны, производили наступления свои против противника по-над линиями железных дорог. Расстояние в 10-15 верст от железных дорог оставалось свободным; в нем могли находиться либо сторонники революции, либо контр-революции. И в зависимости от этого в большинстве случаев находился успех наступлений. Лишь на подходах к узловым станциям или городам и селам, пересекаемых ж. дорогой, красногвардейские части принимали фронтную линию и производили свои атаки. Но и тыл, и окружность атакующего места оставались невыясненными. От этого наступатель-

ное дело революции страдало. Потому, что, при таком ведении его, красногвардейские части, не успевали даже выпустить свое воззвание ко всему району, как контр-революционные силы уже переходили в контр-наступление и зачастую заставляли красногвардейцев бежать на десятки верст, бежать, опять-таки, по путям линий желез. дорог, в эшелонах. Таким образом, население деревни их и не видело. И только поэтому оно не могло их поддерживать...

— Что же революционные пропагандисты делают по деревням? Разве они не успевают подготовить деревенских пролетариев к тому времени, когда красногвардейские части проходят мимо них, чтобы пополнять их свежими борцами, или создавать новые самостоятельные красногвардейские отряды и занимать новые боевые участки против контр-революции? — нервно спросил меня Ленин.

— Не нужно увлекаться. Революционных пропагандистов по деревням так мало, и они там беспомощны! А там же сотни пропагандистов, тайных врагов революции, приезжают ежедневно. Ожидать от рев. пропагандистов, что они создадут новые силы революции в деревнях и организовано противопоставят их контр-революции, — во многих местах и в большинстве случаев не приходится. Ведь время, — в заключение ответил я Ленину, — требует решительных действий всех революционеров и во всех областях жизни и борьбы трудящихся. Не учитывать этого, — у нас, на Украине, в особенности, — значит дать возможность контр-революции гетманщины свободно развиваться и укреплять свою власть.

Свердлов, глядя то на меня, то на Ленина, с нескрываемым восторгом улыбался. Ленин же, сложивши палец-межпалец кисти своих рук и нагнувши голову, о чем-то думал. Затем выпрямился и сказал мне:

— Обо всем, что Вы мне сейчас осветили, приходится сожалеть. — А далее, поворачивая голову к Свердлову, добавил: — Реорганизовав красногвардейские отряды в Красную Армию, мы идем по верному пути, к окончательной победе пролетариата над буржуазией.

— Да, да, — быстро сказал Свердлов.

Потом, Ленин спросил меня: — Чем вы думаете заняться в Москве?

Я ответил, что здесь задержался не надолго: по решению

нашей повстанческой конференции, в Таганроге, я должен быть к первым числам июля на Украине.

— Нелегально?

— Да.

Ленин, обращаясь к Свердлову, говорит: — Анархисты всегда самоотвержены, идут на всякие жертвы; но близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего... И тут же просит меня не принимать это на свой счет, говоря: — Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злости дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей.

Я лично почувствовал, что начинаю благоговеть перед Лениным, которого недавно убежденно считал виновником разгрома анархических организаций в Москве, что послужило сигналом для разгрома их и во многих других городах России. И я, глубоко в душе, начал стыдиться самого себя, быстро ища подходящего ответа ему.

Я выпалил в него словами: — Анархисты-коммунисты все дорожат революцией и ее достижениями; а это свидетельствует о том, что они с этой стороны все одинаковы...

— Ну, этого вы нам не говорите, — сказал, смеясь, Ленин: — Мы знаем анархистов не хуже вас. Большинство из них, если не ничего, то во всяком случае мало думают о настоящем; а ведь оно так серьезно, что не подумать о нем и не определить своего положительного отношения к нему революционеру больше, чем позорно... Большинство анархистов думают и пишут о будущем, не понимая настоящего: это и разделяет нас, коммунистов, с ними.

При последней фразе, Ленин поднялся со своего кресла и, пройдясь взад и вперед по кабинету, добавил:

— Да, да, анархисты сильны мыслями о будущем; в настоящем же они беспочвенны, жалки, исключительно потому, что они, в силу своей бессодержательной фанатичности, реально не имеют с этим будущим связи...

Свердлов усмехнулся и, обращаясь ко мне, сказал: — Вы этого отрицать не можете. Замечания Владимира Ильича верны.

— А разве анархисты когда-либо сознавали свою бес-

почвенность в жизни „настоящего“? Они об этом никогда и не думают, — подхватил Ленин.

На все это я сказал Ленину и Свердлову, что я — полуграмотный крестьянин, и о такой запутанной мысли об анархистах, какую тов. Ленин сейчас мне выражал, спорить не умею: — Но скажу, что Ваше, т. Ленин, утверждение, будто анархисты не понимают „настоящего“, реально не имеют с ним связи, и т. п., — в корне ошибочно. Анархисты-коммунисты на Украине (или, так-как вы, коммунисты-большевики, стараетесь избегать слова Украина и называете ее „югом России“), анархисты-коммунисты на этом „юге России“ дали уже слишком много доказательств тому, что они целиком связаны с „настоящим“. Вся борьба революционной украинской деревни с Украинской Центральной Радой велась под идейным руководством анархистов-коммунистов и отчасти русских эсеров (которые, правда, имели совсем другие цели в своей борьбе с Радой, чем мы, анархисты-коммунисты). Ваших большевиков по деревням совсем почти нет; или, если есть, то их влияние там совсем ничтожно. Ведь почти все сельско-хозяйственные коммуны и артели на Украине были созданы по инициативе анархистов-коммунистов. А вооруженная борьба трудового населения Украины с вооруженной контр-революцией вообще, и с контр-революцией в лице экспедиционных немецко-австро-венгерских армий, была начата исключительно под идейным и организационным руководством анархистов-коммунистов. Правда, не в ваших партийных интересах признать все это за нами, но это — факты, которые вы не можете опровергнуть. Вам, я думаю, хорошо известны, по численности и боеспособности, все революционные отряды на Украине. Ибо не спроста же вы мне подчеркивали революционное мужество, с которым они так героически защищали наши общие революционные достижения... Из них добрая половина находилась под анархическими знаменами. Ведь командиры отрядов — Мокроусов, М. Никифорова, Чередняк, Гарин, Черняк, Лунев и многие другие, имена которых, чтобы перечесть, потребуют много времени, — они все анархисты-коммунисты. Здесь я не говорю еще о себе лично, о группе, к которой я принадлежу и обо всех тех отрядах и „вольных батальонах“ защиты Революции, которые были нами созданы и которые не могли быть неиз-

вестными вашему высшему красногвардейскому командованию... Все это достаточно убедительно говорит о том, как ошибочно Ваше, товарищ Ленин, утверждение, что мы, анархисты-коммунисты, беспомощны, жалки в „настоящем“, хотя любим много думать о „будущем“. Выше мною сказанное не подлежит сомнению, оно верно, и оно говорит обратное вашим заключениям о нас. Оно говорит всем, в том числе и Вам, что мы, анархисты-коммунисты, всем своим существом погрузились в „настоящее“, работаем в нем, и именно в нем ищем приближения нас к будущему, о котором, да, мы думаем, и думаем серьезно...

В это время я взглянул на Председателя ВЦИК'а, т. Свердлова. Он покраснел, но улыбался мне.

Ленин же разводил руками и говорил: — Возможно, что я ошибаюсь...

— Да, да, Вы, тов. Ленин, в данном случае жестоко осудили нас, анархистов-коммунистов, только потому, — я думаю, — что Вы плохо информированы об украинской действительности и о нашей роли в ней, — заметил я ему.

— Может-быть. Я этого не отрицаю. Ошибаться свойственно каждому человеку, в особенности в такой обстановке, в какой мы находимся в настоящий момент, — твердил, разводя руками, Ленин. И тут же, видя, что я немного разнервничался, старался отцовски успокаивать меня, с утонченным мастерством перевода разговор на другую тему.

Но скверный, если можно так выразиться, характер мой, при всем моем уважении к Ленину, которое я питал к нему при данном разговоре, не позволил мне интересоваться дальнейшим разговором с ним. Я чувствовал себя как-бы обиженным. И, вопреки сознанию, что передо мною сидит человек, с которым следовало бы о многом и многом поговорить, у которого многому можно научиться, настроение мое изменилось. Я не могу уже быть таким развязным в своих ему ответах, ибо почувствовал, что во мне что-то оборвалось, мне стало тяжело.

Нельзя сказать, чтобы этих быстрых перемен в моем настроении Ленин не заметил. Он их заметил и старался подорвать перемену во мне разговорами на совершенно отвлеченные темы. И, заметив, что я начал постепенно направлять свое настроение (я это чувствовал) и тягаться перед его красноречием, он вдруг, совершенно неожиданно для

меня, повторно спросил меня: — Итак, Вы хотите перебраться нелегально на свою Украину?

Я ответил: — Да.

— Желаете воспользоваться моим содействием?

— Очень даже, — ответил я.

Тогда Ленин обратился к Свердлову со словами:

— Кто у нас непосредственно стоит теперь в бюро по переправе людей на юг?

Свердлов ответил: — Тов. Карпенко, не то Затонский. Лучше всего справиться.

— Позвоните, пожалуйста, и узнайте, — попросил его Ленин, а сам повернулся ко мне.

В то время, как Свердлов звонил по телефону, спрашивая, кто — Затонский или Карпенко — непосредственно стоит у дела переправы людей на Украину для подпольной работы, Ленин убеждал меня, что из его отношения ко мне я должен заключить, что отношение партии коммунистов к анархистам не так уже враждебно: — И если нам, — сказал Ленин, — пришлось энергично и без всяких сентиментальных колебаний отобрать у анархистов с Малой Дмитровки особняк, в котором они скрывали всех видных московских и приезжих бандитов, то ответственны за это не мы, а сами анархисты с Малой Дмитровки. Впрочем, мы их теперь уже не беспокоим. Вы, вероятно, знаете: им разрешено занять другое здание, там же, недалеко от Малой Дмитровки, и они свободно работают.

— А имеются ли у вас данные, — спросил я Ленина, — которые уличали бы анархистов с Малой Дмитровки, что они скрывают у себя бандитов?

— Да. Всер. Чрезвычайная Комиссия их собрала и провела. Иначе наша партия не позволила бы ей действовать, — ответил Ленин.

В это время к нам снова подсел Свердлов и сообщил, что непосредственно у дела стоит тов. Карпенко, но тов. Затонский тоже в курсе этих дел.

Ленин тотчас же подхватил: — Так вот, товарищ, зайдите завтра, после-завтра, или когда найдете это нужным, к тов. Карпенко и попросите у него все, что Вам нужно для нелегальной поездки на Украину. Он Вам укажет и надежный маршрут через границу.

— Какую границу? — спросил я его.

Разве Вы не знаете? Теперь установлена между Россией и Украиной граница. Она охраняется немецкими войсками, — нервно заметил Ленин.

— Да Вы же считаете Украину „югом России” — заметил я ему.

— Считать — одно, товарищ, а в жизни видеть — другое, — ответил Ленин.

Я на это ничего не возразил, так как он продолжал: — Т. Карпенко Вы скажите, что я направил Вас к нему. Если будет сомневаться, пусть спросится по моему телефону. Адрес, где Вы можете видеть тов. Карпенко, такой-то.

И мы все трое поднялись, пожали друг другу руки, сердечно — казалось — поблагодарили друг друга, и я вышел от Ленина, забыв даже напомнить Свердлову о том, чтобы он распорядился по своему секретариату сделать нужную отметку на моих документах, на право получения от Моссовета ордера на занятие бесплатной квартиры.

Я быстро очутился во дворе Кремля, так же быстро вышел из него и пошел в номера, к тов. Бурцеву.

Глава XIX.

МОИ ВСТРЕЧИ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И НОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. МОИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОТЪЕЗДУ НА УКРАИНУ.

Как я уже отмечал выше, тов. Бурцев тяготился тем, что мы зажились в заведомых им номерах. Тяготился он нами, быть-может, потому, что свихнулся в сторону левой эсеровщины, в гущу которой он попал по приезде на IV Всероссийский Съезд Советов, в качестве делегата от одного из крестьянских районов Смоленской губернии. В крестьянской секции ВЦИК'а Советов он и был избран заведывать ее номерами, в которых жили как постоянные, так и приезжающие и отъезжающие члены этой секции. А может-быть, и что-либо другое побуждало его тяготиться тем, что несколько товарищей (и не все постоянно) у него жили...

Трудно было выяснить это, а он сам ничего не говорил. Поэтому идти к нему мне было тяжело. Однако, и не пойти нельзя было, так-как мне нужен был тов. Аршинов, которого можно было найти только у Бурцева... Я пошел. И, к радости моей, застал тов. Бурцева в хорошем расположении духа. Он меня встретил с распростертыми объятиями. Рассказал мне, что много крестьян приехало из провинции, привезли и ему хлеба (которого в то время в Москве трудно было достать: его не хватало; поэтому только чиновники правительственных учреждений получали его; рабочие же и, тем более, обыватели получали по карточкам, вместо хлеба, селедку или крупу). Дружески справился он о том, голоден ли я, и накормил меня.

На вопрос мой, здесь ли ночевал тов. Аршинов, и скоро ли он будет тут, тов. Бурцев ответил, что трудно сказать, когда придет, — не раньше ночи, во всяком случае. И, с особым недовольством, начал рассказывать мне, что все наши товарищи ни черта не делают. Все поделались лентяями: проводят время от 12—2 часов дня после обеда, до 12—2 часов ночи, где-либо по паркам, а остальное время за сном.

— Конечно, ты и тов. Аршинова к этим лентяям причисляешь? — спросил я тов. Бурцева.

Ответ последовал: — Да.

— Но ведь он же занимается изданием книжек Кропоткина, — возразил я Бурцеву.

— Разве это работа?... Книжечки по месяцу, по два, лежат в типографии, — ответил Бурцев.

Этому неожиданному для меня мнению тов. Бурцева о том, перед кем он прежде преклонялся, я не придал значения, ибо я видел тов. Аршинова за работой в качестве секретаря „Союза Идейной Пропаганды Анархизма“. Хотя эта работа мне лично (да и вообще, для того момента революции) казалась праздной, но Аршинова и его сотоварищей — Рошина, Борового, Сандомирского и других — она, очевидно, удовлетворяла.

Однако, как бы легко я ни отнесся к словам тов. Бурцева, дышавшим гневом, рассуждения его подчеркнули мне мои собственные выводы после наблюдений во многих городах, в том числе и в Москве, за положением и развитием нашего анархического движения в то время. Я сравнивал и другое с тем влиянием анархизма, которое мне хоте-

лось бы видеть, если не на самый ход событий, то хотя бы на руководителей этими событиями... Рассказ Бурцева глубоко запечатлелся в моей душе, что я заметил, как только ушел от него на ночлег к тов. Маслову, где мог вспомнить его и продумать...

На другой день я опять пошел к Бурцеву, где и встретил тов. Аршинова. Оба они, и Бурцев, и Аршинов, выразили мне свое удивление, почему я не прихожу к ним ночевать. Ответив на их вопрос, я сказал тов. Аршинову, что был у „богов“, в Кремле. Но он особенного значения этому не придал, и я прекратил разговор, заявив, что в ближайшие дни выезжаю на Украину.

Этим последним вопросом тов. Аршинов интересовался. Мы обсуждали его, начиная с первой же встречи нашей по приезде моем в Москву, и теперь еще живей принялись за него. Аршинов заручился от меня согласием на то, что я, зная, в каком положении находится наше движение в Москве вообще, и в „Союзе Идейной Пропаганды Анархизма“ в частности, не буду забывать поддерживать его, движение, в финансовом отношении. И я ушел в город — искать адреса тех, у кого можно было получить паспорт из Украины, способствующий совершенно свободно перейти Русско-Украинскую — Гетманско-Немецкую границу.

Ленин направил меня за содействием по адресу какого-то Карпенко. Встреча же моя с тов. Михайловичем, Председателем Александровского Уездного Революционного Комитета, и беседа с ним о возвращении моем на Украину помогли мне уяснить конспиративный характер выдачи паспортов из местностей, занятых теперь немцами и гетманщиной. Дело это сосредоточилось в руках тов. Затонского. Поэтому я, с тов. Михайловичем, и направился к Затонскому.

Михайлович имел к нему какое-то еще свое дело и пошел вперед, а через несколько минут позвал и меня. Он откомендовал меня Затонскому, как своего хорошего знакомого и человека, известного на революционном поприще в деревне, на Украине.

Затонский, стоя, выслушал меня о том, чего я от него хочу. Я объяснил ему, что он, как член Украинского Советского Правительства, может и должен дать мне надлежащий паспорт из местности, оккупированной немецко-авст-

рийскими армиями, чтобы я мог свободно перебраться в Харьковском направлении через границу на Украину.

Он долго, с особым интересом расспрашивал меня: в какой район я думаю пробираться; знаю ли, что путь мой связан с большим риском и, главным образом, не в пограничной полосе и не на самой границе, а внутри Украины, и т. д.

На все это я ему ответил, что все это мною продумано.

Затем, перебросившись несколькими фразами чисто отвлеченного характера со мною и с Михайловичем, он попросил меня зайти к нему на другой день...

*
* * *

В ожидании завтрашнего дня, я использовал время и разыскал польского социалиста — друга своего по каторге — Петра Ягодзинского, где встретился с Махайским (основоположником особого рода теории и формы классовой борьбы трудящихся с капиталом). У Ягодзинского я и провел время за взаимным рассказом о том, кто из нас и наших друзей по каторге за что взялся по возвращении в свои местности.

Здесь же я узнал, что следственная комиссия из бывших политических Московской каторги при Чека обратилась ко всем узникам этой каторги с предложением сообщить ей данные, какие у кого имеются, о деспотах надзирателях каторги. Последние были по распоряжению чека переарестованы и теперь находились под следствием.

Помню, во мне закипело чувство гнева по отношению к этим деспотам надзирателям и зародилось желание помстить им. Я думал пойти в эту следственную комиссию и дать о многих из них свои показания. Но мысли эти разлетались в клочья, когда я сосредоточивался на вопросе: допустимо ли революционеру-анархисту питать в себе такие чувства к тем, которые побеждены революцией? Я ответил себе: — Нет. Я допускаю месть, и жестокую месть, только по отношению к тем, кто является виновниками строя, не могущего обойтись без тюрем. Этот вывод заставил меня воздержаться от участия с другими политическими каторжанами в обвинении даже тех деспотов, тюремных палачей, которые, по-моему, должны были быть убиты в

первый же день нашего освобождения. Такое убийство не вызвало бы ни у кого из нас, — тех политических каторжан, которые не имели ни денег, ни склонности подкупать этих палачей (как это делала вся почти, и всех политических группировок, официальная интеллигенция) — ни боли, ни печали. Все были бы довольны тем, что революция не прощает никому злодейских преступлений по отношению к ее сынам. Сейчас же, когда время пришло, революция торжествует, — сейчас смерть, как и жизнь, этих негодяев, казались мне безразличными... С таким решением я вышел от тов. Ягодзинского и поспешил отправиться на митинг Л. Троцкого, которым, как оратором, увлекался не только я, за время своего пребывания в Москве, но и многие друзья и противники его. И нужно сказать правду, он этого заслуживал. Его речей нельзя было равнять ни с речами шелкопера Зиновьева, ни с речами Бухарина. Он умел говорить, и им можно было увлекаться. Правда, этому много помогало особо острое, в смысле боевизма партии большевиков, время.

В этот же день я встретился с тов. Ривой, которая, мне казалось, была ответственным членом Мариупольской группы анархистов-коммунистов: таковой ее считали и другие члены этой группы, которые, вместе с нею и со мною, от самого Ростова: ехали вглубь России. Лишь в Астрахани мы раз'ехались. Она держалась своих друзей и с ними застряла в Астрахани.

Теперь она перебралась в Москву. Хорошей была товарищ, но как-то быстро покатила по наклонной плоскости от анархизма к большевизму, нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличения...

Поздним вечером возвратился я на ночлег к Бурцеву, который, сверх ожиданий, встретил меня дружески. Тов. Аршинова еще не было. Я улегся спать.

На утро я опять пошел к тов. Затонскому. Теперь он был более определенен. Расспросил меня более основательно о том, почему я стремлюсь в село, а не в город. Сообщил мне, что тов. Михайлович отрекомендовал ему меня с очень хорошей стороны. На это основании, он, дескать, говорит со мною совершенно откровенно. Предлагал связи в Харькове. — Ведь если Вы поедете на Украину с целью организа-

ции боевых повстанческих групп против немецких войск и гетмана, — говорил мне Затонский, — то Харьковский район самый подходящий для этого. И сейчас все анархисты и большевики обращают внимание на этот район...

На откровенность Затонского я ответил ему, что никакими посторонними обязанностями я свой путь на Украину не могу загромадить. Ни в одном городе задерживаться не могу и не хочу. Направляюсь на Запорожье — в села, где я со своими товарищами слишком много работала, и могу глубоко верить и питать надежды, что мое присутствие и готовность ко всяким жертвам там в настоящее время принесут пользу для Украинской Революции.

— Гм... гм... Ну, тогда скажите: на какое имя и фамилию вы хотите себе паспорт? — спросил меня Затонский.

Я ему написал: *Иван Яковлевич Шепель*, Матвеев-Курганской волости, Таганрогского округа, Екатер. губернии. — Учитель. — Офицер.

— Почему же вы избрали такую отдаленную от Запорожья местность?

Я ответил: — Чтобы отвести всякое желание у пограничных властей подозревать меня, что я из тех районов, где революция имела наиболее яркое свое практическое выражение, и чтобы не погибнуть прежде достигнутой цели.

Затонский засмеялся и сказал: „Верно”. И тут же попросил меня зайти к нему за паспортом через два дня.

Это меня несколько смутило, но делать было нечего. Я попрощался с ним и ушел.

Казалось, что я не получу этого паспорта и застряну, если не в самой Москве, то в каком-либо другом городе на продолжительное время. А июль месяц надвигался быстро, и не быть в первых его числах в Гуляй-Поле, или где-либо поблизости от него, это значило не выполнить нашего, Гуляй-Польцев-революционеров, Таганрогского постановления и впасть в общую болезнь — отделиться от всех и вся и в одиночку путаться из города в город, бесстыдно лицемеря перед незнающими тебя, будто ты раз'езжаешь с каким-то поручением, будто ты чем-то занят и что-то делаешь в этом своем шатании. Этой болезни я не мог терпеть; всем своим существом я презирал ее. Поэтому ожидание, пока пройдут эти два дня, по истечении которых я должен буду получить паспорт, мучило меня, в особенности, когда я

встречал то тех, то других приезжих в Москву революционеров, которые, чуть не все, беззастенчиво лицемерили, что они озабочены судьбами революции на Украине и жили, жили, ничего или почти ничего не делая; жили, как достойные бойцы после неравной, но успешной борьбы с врагами. В особенности так жили люди из правительственных партий большевиков и лев.-социалистов-революционеров. Противно было смотреть на все это лицемерие. Но выйти из его пошлого омута, чтобы не замечать его, хотя бы среди своих близких, нельзя было. Кольцо его слишком крепко охватывало в это время жизнь Москвы, и из него можно было выбраться только, покинув Москву, эту бестолково-шумную Москву, подлинно-революционный дух которой в это время постепенно уже замирал во властительском политическом круговороте... можно сказать, растерянную Москву, к которой я питал особую злобу, как к содержанке тысяч путавшихся в ней бездельников, не перестававших не только лстыть, но и орать во все горло о себе, как о неустанных работниках движения.

Когда по деревням и другим городам в них нуждались; когда там они могли бы, если не сделаться действительно неустанными работниками нашего движения, то, по крайней мере, стать полезными для него и для тех, силой которых наше движение ставит себе задачу осуществить исторические цели революции, — многие и многие из нас, анархистов, — в особенности чуть-чуть теоретически определившихся, — попусту тратили время на ложные потуги отыскать в анархизме что-то сверх-совершенное, чему нет места в жизни настоящего. Место ему, дескать, только в будущем, и то неизвестно, в каких формах. Эти бессодержательные для рабочего революционного анархизма потуги исказили самый смысл и содержание анархистского действия в революциях „настоящего”. Благодаря им, анархист должен теперь сознать свое организационное ничтожество, несмотря на то, что был одним из первых предвозвестников идеи социальной революции, и по долгу должен был не только морально, но и организационно оправдать ее зачатки, дать толчек к дальнейшему их развитию и углублению. Да неужели же это так и будет и там, куда я лечу, чтобы страдать и радоваться в борьбе за освобождение угнетенных?

Нет! Нет! В Украинской действительности, повторный этап революции пойдет, хотя и более резким, но зато и более верным путем, — думал я в последние минуты перед выездом из Москвы. Здесь революция приняла окончательно бумажный характер: все ее дело проводится по декрету. Но Украинские труженики, наученные горьким опытом, будут избегать этого, и революция будет подлинно трудовой революцией; социальные вехи ее неминуемо должны принять глубоко революционный характер; и это поможет труженикам деревни и города смести на своем пути весь партийный политический авантюризм. При этом, передо мною беглой вереницей проходили все съезды, собрания, митинги — анархистов, большевиков, левых эсеров... Я погружался целиком в самого себя. Много мешало мне, однако, полностью останавливаться на всем, что приковывало мое внимание. Поэтому все мои воспоминания носили отрывочный характер. Так, например, я сосредоточился на съезде текстильщиков. Я вспомнил, как представители рабочих разрешили те или другие вопросы, хотя и от имени своего класса, но не его подлинной волей, а волей политических партий, из которых, как известно, каждая, хотя и считала себя представительницей пролетарского класса, но по-своему и, прежде всего, в своих партийных интересах, понимала и истолковывала его цели и обязанности в момент строительства социалистического государства (которое ему, пролетариату, нужно как пятое колесо в телеге). А понимание и истолковывание это в умах и устах политических партий сводилось к тому, что пролетариат должен создать себе власть и надеяться, и ожидать, что она, эта власть, создаст для него новые условия свободы и радости в жизни. А это, по-моему, во-первых, резко отмежевывало пролетариат и его цели в революции от трудового крестьянства, без взаимного сотрудничества с которым трудовая жизнь и классовая борьба за нее не могут достичь своих целей настолько, чтобы не дать места внутри себя политической и даже экономической реакции пролетариев города против пролетариев деревни. Во-вторых же, такое автоматическое подчинение пролетариев вообще, как класса, каким бы то ни было политическим партиям отдаст его этим партиям на самое позорное издевательство, как в духовном, так и в физическом отношениях. Это соответствует

зарождению и развитию в огромной части городского пролетариата России и Украины мысли о необходимости „своей” государственной политической власти и ее диктатуры, именно в духе толкований тех или других политических партий. Во имя этой власти, часть пролетариата, которая сама коренным образом ничего изменить не может (это ей одной не под силу), разбивает единство всего трудового организма. Во имя нее же, эта часть пролетариата создает новые, якобы „пролетарские” кадры: совершает поход против не соглашавшихся с нею, хотя и не вредящих ей; или борется зачастую за то, что в недалеком будущем, во имя свободы, вольного труда и равенства, сама же будет отбрасывать в сторону, как хлам, искусственно вызванный к жизни в момент революции, которая сама же, первыми своими практическими шагами показала, что она перешагнула через этот хлам и движется вперед. Благодаря всем этим явлениям, в тружеников деревни и города со временем закрадывается (и развивается) недоверие одних к другим. И, благодаря ему же, труженики всегда, в результате всех своих исторических битв с властью капитала и его слуги — государства, оставались в плену этой власти.

Идеологи политического авантюризма, по которому равняется почти все их принципиальное отношение к каждому освободительному движению тружеников, подхватывают это недоверие одних тружеников к другим, истолковывают причины, вызвавшие его, в ложном виде, и на нем строят свои партийные программы, указывающие труженикам, что, только следуя их положениям, можно отыскать, правильно понять и устранить причины этого недоверия. Городской пролетариат, а также и трудовое крестьянство, потеряв свою целостность, — то трудовое единство, из которого единственно можно было бы черпать силу для общей и великой борьбы за общее и полное свое освобождение, за своевременную взаимную поддержку и за знание, — подпадают на эту удочку политического авантюризма и бросаются в объятия той или другой политической партии, воспелной и воспитанной на этом авантюризме. Тем самым пролетариат и крестьянство дробят, распыляют свой трудовой фронт, обессиливают свою классовую мощь, за счет которой все, кому только не лень, и во всех отношениях, живут и наживаются во благо свое, своих близких, но только не на

благо рабочих и крестьян. Правда, устои этой подлости революция пошатнула в корне. Но уничтожит ли она их совсем, это – вопрос, на который я не могу ответить утвердительно теперь, когда я проехал десятки городов и побывал в самом сердце этих городов – их политическом руководителе – Москве, где вижу, как слабы, ничтожны, да к тому еще и неорганизованы те наши общие революционные силы, которые самой историей, казалось, были призваны в революцию, чтобы вывести ее из буржуазно-политического тупика на простор революционно-социального действия. Простором этого действия завладели политические партии. Они не задумываются серьезно ни над временем, ни над его подлинными требованиями. На их долю выпало стать во главе революции. Правда, революция эта чревата последствиями; но пока что, они хозяева и властители душ широких трудовых масс. Они уродуют эти думы и направляют по своему партийному руслу, считая все это, ввиду таких-то и таких-то причин (как они обыкновенно выражаются), неизбежным, даже необходимым.

То обстоятельство, что двум политическим партиям – большевиков и левых эсеров – посчастливилось стать во главе революции; что эти партии умело подошли к широкому трудовым массам в деревне и городе и организованно овладели ими, – это обстоятельство в значительной степени помогло им лишить профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся возможности развиваться в духе подлинной революционной хозяйственности, возможности создать из этих организаций исходный пункт и операционную базу, чтобы двигаться вперед в борьбе с контр-революцией, определенно осознавая свои цели, предостерегая себя от недочетов и ошибок. Весь политический путь революции делал профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся, а также и самих трудящихся, не только бессильными, но и неспособными без опеки политических партий и их государственной власти самостоятельно отвоевывать себе право на социальную независимость, самостоятельно отвергать одни принципы во имя других, наиболее отвечающих характеру революции.

Политические партии, даже самые левые из них, над

этим серьезно никогда не задумывались. Не задумываются они и над последствиями своих действий в русской революции. Увлекаясь сами своими „успехами“, они увлекают за собой и слепо им доверившиеся трудовые массы, увлекают часто в такой омут сумятицы и неопределенностей, которого и сами не в состоянии ни понять, ни расхлебать... Такое положение я сейчас лично наблюдаю и думаю, что его многие чувствуют в эти июньские дни 18 года в России, не только в рядах широкой трудовой массы, но и внутри самого большевистско-лево-эсеровского блока, когда, с одной стороны, Вильгельм Второй, через своего посланника Мирбаха и через самих большевиков, ставит препятствия развитию русской революции, а, с другой стороны, пролетариат и крестьянство на всех своих съездах требуют для революции широкого простора. Хотя, благодаря этому, большевистско-лево-эсеровский блок и дал окончательную трещину, и можно ожидать боя, но это обстоятельство не может стереть того преступления, какое этот блок уже совершил по отношению к широким трудовым массам, которыми и во имя которых революция совершалась.

Так думалось мне. И еще задумывался я над тем, что будет, когда широкие трудовые массы, которые так искренно и глубоко верили в чистоту принципов октябрьской революции, узнают, как эти принципы попираются в Москве, к которой, как к духовному центру, они все-таки прислушивались. Ведь им легко будет убедиться в том, в чем теперь убедился я, т.-е., что, совершая революцию, борясь и умирая за нее, они прежде всего приносят пользу политическим партиям; а последняя, по самому существу своих специфических классовых интересов, чужда тем идеалам широких трудовых масс, во имя которых последние совершают революцию. Утешал я себя тем аргументом, что *таков исторический ход всякой революции, кроме подлинно социальной. Только последняя в своем стихийном беге сметает всякий политический авантюризм – прежде чем переходит на свой организационный созидательный путь. Это, быть может, и спасает ее положительные результаты...*

В период развития Социальной Революции, – думал я далее, – политические авантюристы со своей демагогией болтаются больше всего в ее хвосте. А те из них, которые

идут вместе с массами, но и со своими лукавыми намерениями, при всей их хитрости, зачастую погибают на этом пути... И лишь те революционеры, кто вступает в ряды борющихся трудовых масс не с лукавыми намерениями своих партий или групп, и не как повелители, а как бойцы и советчики, зачастую выигрывают вместе с массой или, если погибают, то оставляют глубокие, даже неизгладимые следы для будущих битв.

Были ли такими образцами в стихийном беге русской революции: из большевиков – Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Коллонтай; из эсеров – Спиридонова, Камков; из анархистов – А. Боровой, Рошин, Атабек'ян, Бармаш, с которыми я встретился в Москве и которых слышал на митингах, – я не знал. Но после всего передуманного, во мне еще более укрепилась мысль о необходимости стараться, чтобы трудовое крестьянство и пролетарии города заботились о себе сами, непосредственно у себя на местах. Теперь уже во мне бурлила кровь – желание во что бы то ни стало быть на Украине. И все взоры мои были направлены туда, чтобы совместно с народом учесть все недочеты, все ошибки недавнего прошлого и броситься в жестокую борьбу против немецко-австро-венгерских и гетманских сатрапов и их вооруженных контр-революционных банд; в борьбу, чтобы или умереть, или освободить Украину от них.

В душе поднялось властное желание, путем воли и усилия самого трудового народа, создать на Украине новый строй жизни.

Где не было бы ни рабства,
Ни лжи, ни позора!
Ни презренных божеств, ни цепей,
Где не купишь за злато любви и престола,
Где лишь правда и правда людей...

Такой строй в настоящее время я мыслил вполне возможным в форме вольного советского строя, при котором вся Украина и Россия, все другие страны мира, должны покрыться местными, совершенно самостоятельными, хозяйственными и общественными самоуправлениями или Советами тружеников, что одно и то же.

Через свои районные областные и общенациональные

с'езды, эти местные, хозяйственные и общественные органы самоуправления устанавливают общую схему порядка и трудовой взаимности между собою. Создают учетно-статистическое, распределительное и посредническое федеративное бюро, вокруг которого тесно объединяются и при помощи которого, в интересах всей страны, всего ее свободного трудового народа, согласовывают, на попроще всестороннего социально-общественного строительства, свою работу.

Над практическим осуществлением вольного советского строя я часто задумывался. Часто болел из-за того, что видел, как все в то время шло по ложному пути и этим говорило мне, что, чтобы разрушить этот ложный путь, нужны великие усилия и жертвы трудящихся, которые одни только и могут это сделать. Но они к этому неподготовлены. Более того, они от этого своего прямого дела уже отведены политиками-государственниками в сторону и прикованы к делу этих политиков. Вместо воли, началась коватьсь неволя самими трудящимися и для самих себя. Политиканы-социалисты и коммунисты-государственники, стоявшие во главе на этом ложном пути революции и приведшие трудящихся к партийному повиновению, довольны своими успехами. Широкие же трудовые массы, которыми и во имя которых совершалась революция, этого чисто политического довольства политиканов не могут заметить и еще решительнее отдают свои права на свободу и независимость в жизни и борьбе за новые общественные идеалы, самих себя, свою жизнь под опеку этим поистине зарвавшимся вершителям судеб трудящегося люда.

И опять, размышляя об этом, я находил некоторое успокоение в своей глубокой вере в то, что на Украине, при новом оживлении революции, труженики будут осмотрительнее и не отдадут себя и свое прямое дело под опеку политиканов. Волнуемый этой верой и вытекающими из нее надеждами, что я сам буду работать в этом направлении, будут работать все мои друзья и идейные товарищи, я решил ни одного лишнего дня не оставаться в Москве. Решил зайти к тов. Затонскому, спросить его, приготовил ли он обещанные мне украинские документы, и получить их, если они приготовлены; если же нет, в тот же день уехать в направлении г. Курска.

Затонский принял меня на сей раз совсем по-товарищески. Сообщил, что документы сделаны и тут же вручил их мне.

Затем мы долго говорили об Украине, о ее революционных районах и т. п. Он еще раз предложил мне остановиться в Харькове, где я могу, по его заверениям, встретить многих анархистов и хороших работников-большевиков, и откуда действительно может начаться серьезная революционная работа против немецко-гетманской реакции.

Я и на этот раз заявил Затонскому, что я обусловлен большой ответственностью быть в первых числах июля месяца в Запорожье, в селах, и спешу только туда. Всякая моя задержка может дурно отразиться на работе, начатой нами, анархо-коммунистами.

Затонский засмеялся и сказал: — Разве анархисты способны организовать что-нибудь серьезно и в большом масштабе? Анархисты способны только разрушать...

— По вашей демагогии, — ответил я ему, и тут же добавил: — Когда-либо увидите, что мы способны и создавать.

Он пожелал мне хорошего успеха, и я вышел от него.

Лишь идя по дороге от Затонского, я искренне сам себе признался, что я переборщил, сказав, что мы способны создавать. Как организация, мы, анархисты, ни на что серьезное и в широком масштабе в это время способны не были. Это убедительно говорил мне каждый шаг моих дерзких попыток увидеть, что наша анархическая организация сделала по городам за этот период революции. Я ничего не заметил, потому что ничего и не было. Все разрозненные попытки многих анархических групп заложить прочный фундамент нового свободного строя на совершенно новых началах, без государства и его инициативы, потерпели полное поражение только потому, что они были единичными и повсеместными попытками. Порознь, они легко, и с надеждой, что не повторятся, властью разрушались. Противостоят этому гнусному делу революционной власти они не могли своими разрозненными силами. А единой и мощной организации, которая знала бы, чего она хочет и как действовать среди тех безыменных крестьян и рабочих-революционеров, которыми выносятся вся тяжесть событий, мы, анархисты, не имели и, пока-что, не имеем. Впрочем, цело-веку-политикану я сказал, что мы способны создавать,

думал я дальше: — было бы лучше и правильнее, если бы я сказал ему, что его власть мешает нам создавать что-либо большое и серьезное. И это соображение меня успокаивало.

Глава XX.

В ДОРОГЕ НА УКРАИНУ.

Итак, распрощавшись с товарищами-москвичами, я в сопровождении тов. Аршинова отправился 29 июня 1918 г. на Курский вокзал в Москве. Здесь, в ожидании поезда на Курск, г. Аршинов еще раз напомнил мне, чтобы я, если благополучно доберусь до места, не забыл страждущей материально анархической Москвы. Конечно, он имел в виду, в данном случае, анархическую Москву в лице „Союза идейной пропаганды анархизма”, и только это меня удерживало, чтобы не разразиться по адресу анархической езжей Москвы руганью за ее бессодержательное, пустое болтание вдали от живой, плодотворной работы среди крестьян. Я сдержанно и с чувством сознания анархической обязанности помочь всем, чем можешь, движению, ответил ему, что помогать буду, если буду жив...

А когда поезд подошел, тов. Аршинов помог мне влезть в вагон, и мы, распрощавшись, расстались, мне показалось, навсегда; ибо я, и по своему темпераменту, и по своему сознанию, считал долгом быть в этот грозный для революции момент среди масс, в самой гуще. Я сознавал ответственность за возможное поражение революции, хоть и в разной степени, но за всеми революционерами, и мне казался противным слет анархистов в Москву и бессодержательное пустое шатанье по ней. Передо мной во всей своей ясности стояли простые и, хотя злобные, но правдивые слова П. Бурцева о том, что большинство, если не все приезжие наши товарищи в Москву путаются в ней почти без дела, иль, если и берутся за какое-либо дело, то только от стыда перед своим противником, и часто для того лишь, чтобы не пухнуть с голода.

Я краснел перед самим собою за подобного рода явление в наших рядах. И если что-либо меня утешало, так это полнота веры в то, что, если мне удастся пробраться на

Украину в Гуляй-Польский район, и если удастся также и остальным моим товарищам пробраться к Гуляй-Полю и устроить хорошее общение с крестьянами и рабочими Гуляй-Поля и района, наша организация и боевая работа будет освобождена от случайных элементов и примет совершенно новый вид, как по форме, так и по практическому содержанию: вид борьбы против контр-революции, за идеал свободы, равенства и вольного труда.

Утешаясь этим, я чувствовал себя, несмотря на тесноту, духоту и вонь в вагоне, лучше, чем в Москве, — этой соблазнительной издалеки и как-будто способной чему-то научить Москве, из которой я теперь бежал на простор живого действия украинской революционной деревни. На этом просторе, в гуще тех, кто способен его создать и на его основании закладывать фундамент новой жизни, я найду духовное удовлетворение, — говорил я себе, — и уносился мыслью к нему, к этому простору...

Так, с полным чувством увлечения и неопишуемой радости, я доехал до г. Орла. Здесь поезд задержался. Я не утерпел и вышел из вагона, а потом уже, за давкой, не мог попасть в него и остался на целые сутки в Орле.

Побродил по этому городу. Он многое напоминал мне собою. Ведь это — город, в котором, при самодержавии глупого Николая II Романова, существовала каторга. На этой каторге, в особенности, не было предела разнузданности по отношению политкаторжан. Дух антисемитизма здесь гулял в той мере, в какой только смогли проявлять его управители каторги, начиная от начальника и кончая темным невежественным надзирателем — ключевым или постовым у дверей камер, при выходе на прогулку, на самой прогулке. Это в Орловской каторге чуть не каждого прибывающего в нее политкаторжанина, под воротами, спрашивали: — Жид? — И если отвечал: — Нет, заставляли показать крест. А когда не оказывалось последнего, били, приговаривая: — Скрывает, мерзавец, свое жидовство. — Били до тех пор, пока не срывали с него арестантского костюма и не убеждались на половом члене. Но и в этом случае били, только теперь уже за то, что не носит креста...

Одно воспоминание об Орловском Централле, о котором мне мои друзья так много рассказывали, сдавливало мне горло и леденило мозг.

Хотелось мне разыскать анархическое бюро, повидаться с анархистами, узнать, уничтожены ли надзиратели и начальство этой каторги. Чувствовалось, что было бы легче на душе, если бы знал, что революция этим палачам не простила за их подлые злодеяния. Однако, анархистов я в Орле не нашел: революционная власть большевистско-лево-эсеровского блока дико плясала на мертвом теле революции, как везде.

На другой день, ночью, я был уже в г. Курске. Здесь я встретил много анархистов и большевиков. Все они готовились к отъезду на Украину. Они были несколько смелее меня насчет отъезда. Они имели связи и проводников. Не были они стеснены и материально.

В Курске я пробыл недолго. Я побывал там, где должен был встретиться с Веретельником и другими товарищами и, как только выяснил, что их никого еще не было, я сейчас же направился к границе по направлению г. Белгорода. Высадился я на ст. Беленикино и, по дороге от нее к границе, встретился, в тысячной толпе мешочников и людей других профессий, со многими гуляй-польцами. Один из них — сын одной хорошо знакомой мне еврейской семьи, некий Шапиро — бросился мне на шею. Он многое сообщил мне о положении крестьян в Гуляй-Поле, ни словом, конечно, не заикнувшись о гнусной провокаторской роли еврейской роты вольного Гуляй-Польского батальона, благодаря первым, инициативным действиям которой, под руководством агентов Украинской Центральной Рады и немцев, гуляй-польские крестьяне попали в это тяжелое положение.

От этого Шапиро и ряда других еврейских парней я узнал, что дом моей матери сожжен немецкой и украинской властями. Старший мой брат, Емельян, который, как инвалид войны, не принимал никакого участия в политической организации, расстрелян. Другой старший брат, Савва, который участвовал в революционном движении с 1907 года, как только возвратился после нашей таганрогской конференции, тотчас же был схвачен и посажен в Александровскую тюрьму. За мое отсутствие из Гуляй-Поля, немцами совершенно много расстрелов, главным образом крестьян-анархистов. А мать моя скитается по чужим квартирам...

Эта коротенькая весть о жизни в Гуляй-Поле так повлияла на меня, что я душевно заболел. Я способен был на то, чтобы возвратиться в Москву, — в ту самую Москву, которую я возненавидел за мое пребывание в ней. Это смятенное состояние еще более усиливало боль моей души. Я остановился на дороге. Толпы народа шли беспрерывно из Украины в Россию с радостными улыбающимися лицами, видимо потому, что благополучно пронесли что-то с собой через границу.

Долго я раздумывал. Гуляй-Польцы, с которыми я встретился на этом месте, уходя от меня, не советовали мне пробираться на Украину. Но разум диктовал мне совершенно противоположное. Он напоминал мне ответственность мою перед тем, что я наметил, будучи еще в Гуляй-Поле, что формулировал особо выразительно на Таганрогской конференции гуляй-польцев, и что целиком было конференцией принято. Ведь во имя этого решения я еду на Украину. Я переборол свое чувство боли, подбодрил себя мыслью, что кому-либо нужно было умирать и из моего рода за освободительные идеи народа, но что смерть их, рано или поздно, вызовет за собою взаимные смерти, я в этом клянусь перед своей совестью. И я, упоенный этой мыслью, тронулся дальше в путь.

Теперь я больше ни о чем другом не думал, как о том, чтобы благополучно пройти мимо немецких пограничных пикетов. Я нанял, по примеру других, подводку, положил свой чемодан, сам уселся в нее и спокойно, по праву гражданина Гетмано-Немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты.

Дорога была удачная. Никто никого не трогал. Я освободил своего подводчика, поставил чемодан и сел на него, чтобы отдохнуть, только потому, что так делали все проезжавшие.

Освободившись быстро от мысли, что за мной могут следовать, я подошел к одному, к другому из граждан, чтобы узнать, какая и где же находится станция. Все указывали назад, на ст. Беленикино, находившуюся в зоне красных. Этой же станции, где мы сидели, никто не знает. Перестал и я заботиться о том, чтобы узнать ее название. Тем более, что я уже узнал, что поезд из Белгорода подойдет к этому месту, где сидят „пассажиры”, и мы здесь будем садиться в него.

В скором времени, поезда один за другим начали подходить, забирать пассажиров и отправляться обратно в Белгород и далее, до Харькова.

Пассажиров было очень много. Поезда наполнялись во мгновение ока через двери и через окна вагонов. На крышах вагонов также полно. Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь, и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, были вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие гетманского царства поделались такими „украинцами”, что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали.

Я например, хотел от них узнать, идет ли этот эшелон и далее, из г. Белгорода. Мне пришлось подходить к целому ряду вагонов, но ни один из железнодорожников на мой вопрос ни слова не ответил. И только позже, когда я, истомленный проходил обратно рядом с этими вагонами, один из них подозвал меня и предупредил, чтобы я ни к кому не обращался со словами „товарищ”, а говорил бы „шановний добродію”, в противном случае я ни от кого и ничего не добьюсь.

Я поразился этому требованию, но делать было нечего. И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так, в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно...

Над этим явлением я несколько задумался и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость, и вот почему:

Я поставил себе вопрос: от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал, что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно — требование тех фиктивных „украинцев”, которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то, что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они цепко хватались, вместе со своим гетманом Скоропадским, за Вильгельма немецкого и Кар-

ла Австро-Венгерского, за их политику против революции. Эти „украинцы не понимали одной простой истины: что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина – ничто...

Ночью, с немалым трудом, на свой риск и страх, я взобрался с рядом, видимо, подобным мне стрельцов, на крышу одного вагона и таким образом приехал в Белгород, где переделался в офицерский костюм, к которому имел соответствующий документ. Это помогло мне беспрепятственно доехать до г. Харькова.

Тут я, в ожидании поезда на Ростов, задержался на несколько часов и потом поехал в Синельниково (в 60-70 верстах от Гуляй-Поля). Радости моей не было границ. И, вероятно, из-за нее я попал бы в руки немецким и гетманским агентам, если бы не считался с тем, что того Синельникова, которое я знал раньше, уже не было, как не было уже вообще всего того, что было 2,5 месяца тому назад. Теперь ничего ни украинского, ни русского, нигде по станциям, в дороге и в самом Синельникове я не видел. Всюду: у дверей станции, на досточках висевших на паровозах, красовались надписи: „Deutsch-Vaterland“, а по перонам шатались или сидели группами солдаты контр-революционных армий, вышедших из этого „Deutsch-Vaterland“ (немецкое отечество).

Это сдерживало порыв моей радости. Я непрерывно думал: Где же я? Неужели же я попал не туда, куда так рвался из Москвы? И зло, о как зло смеялся я над всеми этими надписями!..

Но этот мой смех быстро сменился ужасом, когда один из гуляй-польских евреев подошел ко мне и, протягивая мне руку, назвал меня по фамилии. Я ужаснулся, хотя знал, что он был честный человек и на то, чтобы предать меня властям, не пойдет. Я просил его быть осторожным с моей фамилией и в ту же минуту убежал от него, переделался в штатское платье и с первым попавшимся поездом выехал по направлению Гуляй-Поля.

Теперь положение мое несколько изменилось. Если от Белгорода до Синельникова – около 400 верст – мне везло в пути (помогали: военная форма, погоны прапорщика, фальшивое расшаркивание и такие же поклоны), то от Синельникова до Мечетной, каких-либо 30-40 верст, путь мой

сделался чрезвычайно тяжелым. Каждую минуту ожидала смерть. Мое старание выглядеть „ширым гетманцем“ кой-как сходило с рук, по глупости гетманской государственной стражи. Но рассчитывать на этот прием оказалось возможным только до ст. Мечетное. Начиная же от этой станции, мое имя начало все чаще упоминаться в вагоне. И на одном из раз'ездов мне гуляй-польский гражданин Коган и другие сообщили, что немецкие жандармы ищут меня в других вагонах.

Я быстро передал Когану свой чемодан с вещами; сказал, кому сдать его в Гуляй-Поле; а сам, накинув на себя плащ, вышел из вагона в поле и скрылся в его зарослях. Когда же поезд отправился дальше, я поднялся и ушел.

25 верст я прошел пешком и попал в нужное мне село Рождественское, с левой стороны которого, всего в 20 верстах находилось мое родное Гуляй-Поле, которое я даже видел, подходя к Рождественке. На сердце чувствовалась нежная любовь к одному имени: Гуляй-Поле... Однако, в Рождественке, крестьянин З. Клешня и все близкие сообщали мне нерадостные вести о Гуляй-Поле, о жизни в нем трудового населения, о расстрелах лучших сынов его, и т. д.

Однако, как ни трудно было мне снести с гуляй-польскими крестьянами и рабочими-анархистами (теми, которые не были известны, как анархисты, шовинистической украинской и буржуазной еврейской сволочи, выдававшей всех революционеров немецким палачам на казни, и только поэтому оставались в живых), я, все-таки, письменно снесся с ними, дав им знать, что, не сегодня-завтра, буду среди них, чтобы вместе с ними обсудить ряд важнейших вопросов революционно-боевого характера. И, несмотря на то, что от них я получил ответ – воздержаться от переезда в Гуляй-Поле, пока они не пришлют за мною своего человека, а это делало меня пленником, я чувствовал, что я – на Украине, и верил, что отсюда я раскачаю начатое еще весной дело организации восстания.

Да, именно этот район оказался центральным пунктом организации революционного крестьянского восстания, под моим личным и всей нашей группы идейным и организационным руководством.

Гуляй-Поле, со своим трудовым и революционным населением и его стремлением – возродить казенную револю-

цию, стало основным руководящим ядром этого восстания. В нем, в Гуляй-Поле, я, с рядом преданнейших делу социальной революции анархистов-крестьян, создали операционную базу, на основе которой Гуляй-Польское трудовое население первое восстало против палачей революции — немецко-австро-венгерского юнкерства и гетманщины. Своими усилиями, своей отвагой и революционным мужеством на этом пути оно сделало все, чтобы увлечь за собою другие села и районы трудового населения.

Все это, конечно, не сделалось в мгновение ока, по мавновению „волшебных палочек“, как это многие паяцы из политиканов-социалистов, большевики и многие анархисты, не понимая широкой массы и чаще всего стоя в стороне от нее, позволяют себе не только думать в своей среде, но и писать с пафосом для других, пафосом, обыкновенно заменяющим знание предмета.

Все это требовало от нас величайших усилий и упорства стоять на одном, бить в одном направлении, чтобы убедить широкую трудовую массу в нашей преданности ей не только на словах, но и на деле, в ее практической жизни, в ее борьбе за ограждение своего революционного пути от мусора, со стороны главным образом замаскированных врагов революции, которые чаще всего появляются в ее рядах под знаменем социализма.

Этого предмета я уже касался во вступительной книге к моим запискам („Русская Революция на Украине“).

Исчерпывающим изложением всей этой столь важной темы я займусь в последующих моих книгах: в третьей и в четвертой, т.-е. там, где будет речь о практической и организационной стороне руководимого мною крестьянского революционного восстания на Украине, представляющего собою Украинскую Революцию.

КОНЕЦ.

ПРИМЕЧАНИЯ г. ВОЛИНА.

К главе V.

В этой главе, как и в некоторых других местах своей книги, Н. Махно подвергает резкой критике деятельность анархистов во время революции. Я нахожу, что его критика не может быть принята целиком, без некоторых существенных оговорок. Я очень хорошо понимаю, что, во время своей поездки по России, летом 1918 г., Махно был глубоко потрясен картиной разложения анархического движения и фактом морального упадка среди встреченных им анархистов. Его огорчение и возмущение естественны и трогательны. Но я считаю, что, в своем огорчении и в пылу своего гнева, а также в силу своей неосведомленности о многих событиях, имевших место среди анархистов Питера, Москвы и других городов, Махно не мог оценить положение с необходимыми широтой, глубиной и беспристрастием. Отсюда — неизбежные преувеличения и, подчас, необоснованные нападки. Напомню некоторые основные факты, вовсе ускользнувшие от внимания Махно или же недостаточно им учтенные.

Во-первых, необходимо помнить, что анархическое движение, с трудом терпимое большевиками уже с ноября 1917 г. и вынужденное, уже тогда, пробиваться через всякого рода чинимые ему властью препятствия, было окончательно разгромлено и задушено в Велikorоссии в апреле 1918 г. Ко времени поездки Махно, ряды движения были разбиты, и разложение ничтожных, бездеятельных остатков организаций было совершенно естественным.

Во-вторых, следует знать, что, по сравнению с политическими партиями (социалистическими и др.), анархисты в России, в момент революции, были горсточкой людей беззаветно преданных революции, но, по самому положению вещей, бессильных занять в этой революции крупное место. Необходимо знать, что, с одной стороны, сколько-нибудь широкие массы городов и деревень не имели об

анархизме и синдикализме ни малейшего понятия; и что, с другой стороны, самим анархистам необходимо было известное время, чтобы организовать свои силы и приступить к широкой работе. Совершенно неверно, будто анархисты представляли собою, с начала и до конца, „множество разрозненных групп и группок, не связанных между собой даже единством цели, не говоря уже о единстве действий в момент революции”. В Питере имелся „Союз анархо-синдикалистской пропаганды”, начавший, несмотря на все препятствия, широкую и прочную организационную работу, издававший, с августа 1917 г., еженедельную (а одно время ежедневную) газету („Голос Труда”) и имевший все шансы создать сильное движение, если бы не события и не разгром в апреле 1918 г. (Махно, по-видимому, не знал об этой работе на севере, так-как он нигде о ней не упоминает). В Москве развертывала работу сравнительно крупная „Федерация анархических групп”, также разгромленная большевистским правительством в апреле 1918 г. В других городах работа тоже быстро налаживалась. Разгром оборвал ее. Несомненно, в деревне анархическая работа совершенно не велась, просто по недостатку сил и времени. В этом пробеле виноваты обстоятельства, а не сами анархисты, у которых было, пока, по горло работы в городах. А затем, вся начатая работа была ликвидирована апрельским разгромом, причем анархисты, и без того не многочисленные, понесли крупные потери арестованными, сосланными и расстрелянными товарищами.

Наконец, в-третьих, необходимо помнить, что, после разгрома анархического движения в Великороссии, целый ряд товарищей не сложили оружия и пробрались на Украину, где они основали сильную, хотя и не долго просуществовавшую — тоже разгромленную — Конфедерацию „Набат”, вошедшую, впоследствии, в прямую связь с крестьянским движением „махновщины” и в давшую этому последнему немало преданных работников.

В общем, русские анархисты, несмотря на свою численную слабость и на огромные препятствия, выполнили в революции значительную работу и дали максимум того, что, в данных условиях, могли дать. Можно только удивляться тому, что вопреки всем трудностям, влияние их идей и работы оказалось достаточно сильным, чтобы принудить большевиков к длительной насильственной борьбе с этим влиянием.

Упрек анархистам в недостаточной организованности их движения совершенно справедлив. Борьба за большую организованность их рядов необходима. Но отсюда не следует, чтобы надо было преувеличивать недостатки и недооценивать достоинства. Во всяком случае, оценка анархического движения в русской революции требует широкого, углубленного и беспристрастного анализа, а не толь-

ко огорчения и возмущения. Упреки же и обвинения, разбросанные в воспоминаниях Н. Махно, ни этой беспристрастностью, ни достаточной широтой и глубиной понимания, к сожалению, не отличаются.

Упомяну вкратце еще об одном пункте.

Говорить о „целых веренищах” анархистов, якобы потянувшихся на работу с большевиками, значит, с одной стороны, опять-таки преувеличить зло, а, с другой, оставить в тени некоторые существенные факты.

Совершенно верно, что, после разгрома, некоторое число анархистов „приняли” большевизм и вошли с ним, так или иначе, в сделку. Это влияние было тогда же окрещено „советским анархизмом”. И товарищи, сблизившиеся с большевиками, получили наименование „советских анархистов”. Но, во-первых, совершенно невозможно говорить о „веренищах” таких анархистов. А, во-вторых, — и это главное, — позиция „советского анархизма” встретила тогда же резкий отпор со стороны подавляющего большинства анархистов. Привожу текст резолюции, единогласно принятой, по этому поводу, на с/езде Конфедерации Анархистских Организаций Украины „Набат” (в апреле 1919 г.): „С/езд считает необходимым открыто и прямо заявить, что, по его мнению, представители так называемого „советского анархизма”, ставшие на платформу признания и поддержки „советской власти”, тем самым автоматически перестали быть анархистами”.

Еще одно замечание. Я никогда не слышал, чтобы анархисты считали необходимым только „советовать”, а не работать и не нести за свое дело ответственности. Как-раз наоборот: всегда и всюду анархисты настаивали на том, что необходимо именно *работать*: но не *над* массами, а *вместе с массами*, в самой гуще их, помогая им указаниями, разъяснениями, пропагандой, советом и примером, и, конечно, неся за эту работу полную ответственность, заодно с самими массами. Если анархисты упоминают иногда о том, что они могут только „советовать”, то они добавляют: а не „управлять”; то-есть, они противопоставляют помощь *советом* (и, конечно, *делом*) принципу управления и принуждения. Точно так же, если анархисты говорят порой о том, что нельзя брать на себя *ответственность*, то говорят они это в том смысле, что ответственность *власти* есть ложная ответственность. Здесь Махно или не понимает вопроса или же, как это с ним иногда бывало, бросает камень в личный огород каких-то „научившихся красиво говорить и писать” анархистов, которых он не долюбивал. Возможно также, что кто-нибудь из встреченных им „лже-анархистов” высказывал подобные несуразные мысли. Но мысли эти совершенно чужды подлинным анархистам, и Махно, приписывая этим последним благоглупости первых, бросает здесь анархистам незаслуженный упрек.

Во всех этих главах, Махно, рядом с недостаточно широкой и объективной оценкой деятельности анархистов и причин их слабости, занимает, по-моему, и еще в одном отношении недостаточно продуманную и не совсем беспристрастную позицию. Неоднократно, и подчас резко, он противопоставляет *достоинства* своего класса — крестьянства — *недостаткам* класса городских рабочих и слабостям представителей интеллигенции в анархическом движении. У него, нет-нет, да и сквозит, рядом с фанатической верой в крестьянство (притом, именно в *украинское* крестьянство), настороженное, недоверчивое, подозрительное отношение ко всему не-крестьянскому (и не-украинскому). Многие в суждениях и поступках Махно объясняются именно этим умонастроением.

Между тем, нельзя не видеть, что такой подход к очень сложной проблеме взаимных достоинств и недостатков, проблеме взаимоотношений и взаимной роли различных слоев населения в данной реальной революционной обстановке, а также и к проблеме положения и роли анархистов в революции, — такой подход односторонен и поверхностен.

Здесь не место, конечно, подвергать эту проблему исчерпывающему анализу. Ограничусь лишь несколькими краткими указаниями.

Несомненно, во-первых, что и крестьянство, и городские рабочие, и анархическая интеллигенция обладают — каждый — своими специфическими *достоинствами* и *недостатками*. Необходимо учесть и те, и другие. Необходимо сопоставить одни с другими, чтобы правильно оценить положение. Махно видит в украинском крестьянстве *одни лишь достоинства* и резко подчеркивает *недостатки* других элементов. Он безусловно верит в мощь и в победу своего крестьянства, и эта вера заставляет его целиком отдать делу крестьянского восстания на Украине. И, однако, *это восстание также оказалось сломленным и разложенным*. Ясно, что поражение других сил в русской революции и разгром анархистов зависели не только от недостатков и слабостей тех и других, но и от целого ряда общих, объективных причин. Махно не учитывает этих общих причин и не анализирует беспристрастно плюсов и минусов различных сил революции. Мы понимаем всю его горечь, весь ход его мыслей и чувств, всю искренность и цельность его выводов, но мы не можем признать его рассуждения и выводы правильными.

Во-вторых. Махно совершенно не замечает, что каждый из действующих в революции элементов — крестьянство, рабочие, интеллигенция, — имеет в ней свою, особую задачу. Он мерит все и всех своей, крестьянской меркой. Он не видит, что главной задачей анархической интеллигенции является организация широкой пропаганды: задачей анархистов-рабочих — организационная работа в рабочих массах; задачей анархистов-крестьян — такая же работа среди крестьянских масс. Совершенно естественно, что Махно, как *крестьянин*, развернул свою работу в этих *крестьянских* массах. Но он не хочет понять, что и на *городских* анархистах — рабочих и интеллигентах — лежала огромная задача, которую они могли выполнить *именно и только там, где они находились*. И он, наконец, упускает из вида, что специфические условия революции на *Украине* (оккупация ее немцами, слабость власти и пр.) дали возможность подлинной революции на Украине продержаться и сопротивляться дольше, чем в *Великороссии*, где новая власть смогла быстро задуть движение. Махно упускает из вида, что крестьянское восстание на Украине было, в значительной мере, вызвано именно иностранной оккупацией и воцарением гетмана. Не будь там на-лицо этих особых условий, — крестьянство, возможно, вело бы себя на Украине так же, как оно вело себя в *Великороссии*.

Свою задачу на *Украине* Махно выполнил блестяще. Но он не понимает, что у рабочих, у крестьян и у анархистов *Великороссии* просто не оказалось для осуществления их задачи ни достаточно времени, ни достаточно сил, ни благоприятной обстановки.

Мне несколько странно занимать здесь позицию защиты от упреков Махно русским анархистам, так-как я прекрасно сознаю недостатки анархического движения и давно борюсь против дезорганизованности наших рядов, за организованное объединение всех анархических сил. В свое время, я сам упрекал многих русских товарищей в том, что, после разгрома анархического движения в *Великороссии*, они не двинулись на Украину, на помощь тамошнему массовому движению. Но если я возражаю здесь Нестору Махно, то я делаю это в силу *односторонности и преувеличений*, допускаемых им.

Справедливость требует отметить, что попадают в записках Махно места, где он сам подходит к несколько более объективному взгляду на вещи (См., напр., конец главы XV-й). К сожалению, эти немногие глубоко продуманные и справедливые строки остаются почти незаметными в общем поверхностном подходе к затронутым вопросам и тонут в основной односторонней оценке событий.

Любопытно, в этом отношении, собственное признание Махно (см. главу XIII) в том, что он мало задумывался над проблемой *син-*

дикализма. А между тем, отсутствие в России, до революции, синдикалистского движения объясняет, на мой взгляд, очень многое в слабости анархического движения в революции. Прибавлю, что в наши дни проблема объединения и организации анархических сил в различных странах решается, по-моему, отнюдь не в форме сбора всех анархистов под эгидой „крестьянского анархо-коммунизма“, как это казалось в России Нестору Махно, а в совершенно иной, гораздо более широкой и свободной форме, на которой здесь не место останавливаться.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	т. Волина	3
Глава I.	— На пути отступления	7
Глава II.	— Разоружение отряда Марии Никифоровой	13
Глава III.	— Наша Конференция	18
Глава IV.	— Отступление сельско-хозяйственных коммун и поиски их	24
Глава V.	— Моя встреча с Ростово-Нахичеванскими и приезжими в Ростов анархистами	26
Глава VI.	— В пути с эшеломом красной артиллерийской базы	32
Глава VII.	— Бой отряда Петренко с Царицынской властью. Хитрости власти и арест Петренко	47
Глава VIII.	— Встреча с людьми из „революционных“ кругов	61
Глава IX.	— Встреча с Коммунарками, размещение их на хуторе Ольшанское и мой отъезд от них	66
Глава X.	— Г. Саратов. Анархисты приезжие и саратовские. Мое бегство с рядом товарищей	71
Глава XI.	— Г. Астрахань. Мой уход от попутчиков. Поиски работы. Встреча с астраханскими анархистами и выезд из г. Астрахани	80
Глава XII.	— В пути от Астрахани до Москвы	86
Глава XIII.	— Москва и мои встречи с анархистами, лев. эсерами и большевиками	92
Глава XIV.	— Конференция анархистов в Москве, в гостиннице „Флоренция“	103
Глава XV.	— Всероссийский съезд текстильных профсоюзов	107
Глава XVI.	— В крестьянской секции ВЦИК'а Советов	114
Глава XVII.	— Кремль. Свердлов и моя беседа с ним	119
Глава XVIII.	— Моя встреча и разговор с Лениным	126
Глава XIX.	— Мои встречи с новыми людьми и новые тяжелые впечатления. Мои приготовления к отъезду на Украину	135
Глава XX.	— В дороге на Украину	149
Примечания	т. Волина	157

НЕСТОР МАХНО

КНИГА III

УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

(ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 1918 г.)

Под редакцией г. ВОЛИНА

Издание
Комитета Н. МАХНО
Париж
1937

ПРЕДИСЛОВИЕ.

После всего, сказанного мною в предисловии и примечаниях ко второй книге, нет надобности говорить пространно о третьей.

Упомяну, что и при редактировании этой третьей книги я старался по возможности сохранить язык подлинника. Здесь задача была проще, так-как рассказ изобилует живыми описаниями событий, вообще хорошо удававшимся автору. Страница за страницей разворачивается, почти без перерывов, цепь ярких, красочных эпизодов. Рассказ доведен до конца 1918 г.

Повторяю, что интерес настоящей книги исключителен. Она дает, прежде всего, полное и последовательное представление о зарождении и о первой, подготовительной стадии (июль—декабрь 1918 г.) украинской „крестьянской войны” (1918—1921 гг.), известной по имени ее вдохновителя и руководителя, под кличкой „махновского движения”. Но и помимо ее чисто исторического интереса, книга насыщена живым бытовым и драматическим материалом, захватывающим читателя.

Повторю, наконец, что, к величайшему сожалению, на этом третьем томе, т.е. на конце декабря 1918 г. заканчиваются последовательные записки Н. Махно. Изложить дальнейшие события — задача, главным образом, будущих историков русской революции.

Имеются, однако, отдельные, разрозненные заметки и записки Махно, относящиеся к последующим годам. Комиссия по изданию его рукописей предполагает собрать впоследствии эти записки и издать их отдельной книгой, вместе с оставшимися после него — частью в рукописях, частью же в газетных и журнальных статьях — материалах. Статьи эти печатались в различных анархических изданиях.

Просьба ко всем лицам, располагающими интересующими Комиссию документами, присылать таковые, в подлинниках (которые, по желанию, могут быть возвращены) или в копиях, заказными пакетами, по адресу: Librairie Franssen, 11, rue de Cluny, Paris (5), France, с припиской: Pour Commission Makhno.

Комиссия настаивает на своей просьбе тем более, что некоторые ее члены — участники или близкие свидетели движения — предполагают продолжить рассказ, начатый самим Нестором Махно. Всякого рода материалы очень помогли бы осуществлению этой задачи.

Март 1937 г.

ВОЛИН.

Глава I.

ПОД ГНЕТОМ ГЕТМАНЩИНЫ.

Июль месяц 1918-го года. Я снова на Украине, в своем родном Гуляйпольском районе. Прибыл я сюда согласно постановлению нашей таганрогской конференции гуляйпольских анархистов-революционеров — для того, чтобы заняться организацией восстания крестьян против насильников: непрошенных хозяев земли, свободы и жизни украинских тружеников, — хозяев, имя которым Украинская Центральная Рада и ее союзник — немецко-австрийское юнкерство. Прибыл я во-время и с надеждой, что мне на сей раз удастся полностью и с особой организационной четкостью разрешить намеченную задачу и выполнить мою идейно-руководящую роль.

В это время пресловутая Рада была уже низвергнута. Напрасно она в угоду буржуазии, изменив своим принципам в области земельной политики, признала право частной собственности на землю до 30—40 десятин. Буржуазия, увлекшись своими временными победами над революцией, над носителями ее идей — революционными труженниками деревни и города, не удовлетворилась этой позорной изменой Рады трудящимся. При поддержке грубого юнкерства, буржуазия низвергла Раду и поставила на ее место своего представителя в лице гетмана Павла Скоропадского.

Теперь, в порядке царско-помещичьих прав, Украина спутывалась еще более крепкими цепями реакции. На почве этой реакции обосновалась, росла и развивалась гетманщина: развивалась исключительно при помощи все тех же контр-революционных, карательных, в отношении украинских трудовых масс, сил.

Тяжело и больно было революционеру смотреть на этот произвол. Но я — на Украине, утешал я себя мыслью, сидя на чердаке у крестьянина села Рождественки, Захария

Клещни, окруженный крестьянскими искренностью и заботами, — в особенности заботами о том, чтобы во-время все доставить от меня в Гуляй-Поле и привезти из Гуляй-Поля мне.

Гетмано-немецкая власть на местах была, как я уже сказал, контр-революционная и реакционная власть. Жить нелегально было очень трудно. Однако сознание, что я снова на Украине, снова среди ее широких степей и веселых сел, среди того самого революционного крестьянского населения, которое, до прихода сюда Украинской Центральной Рады с ее могущественными союзниками и защитниками, немецко-мад'яро-австрийскими контр-революционными экспедиционными армиями, с такой смелой настойчивостью заявляло о своем торжестве не только над несправедливостью старого царско-помещицкого режима, но и над несправедливостью режима полупомещицкого (Керенщины и Центральной Рады), — это сознание бодрило меня, рождало во мне новые силу и веру в то, что революционное крестьянство терпит произвол этой насильственно свалившейся на него власти лишь временно, что стоит только повести энергичную пропаганду в его среде против этой власти, оно восстанет против нее с такой энергией и желанием разбить ее раз и навсегда, каких враги революции в нем даже не подозревают.

Произвол немецко-гетманской власти казался мне временным. Я верил, что он, при первом же решительном вооруженном выступлении крестьян по деревням и рабочим в городах, падет безвозвратно. И вот, сидя на своем чердаке, я продумывал все постановления нашей конференции в Таганроге, все те обязанности, которые каждый из ее членов взял на себя. И я чувствовал себя счастливым от того, что на мою долю выпало продолжить идейно-руководящую роль в деле организации крестьянских сил революции, — деле, которое врагами этих сил тормозилось весной 1918 года и поэтому только не получило полного своего революционно-боевого оформления и не достигло полного расцвета.

Глубокая вера в то, что революционное крестьянство такие силы в себе таит, отвлекала меня от того факта, что я встречаю крестьян физически изнуренными, забитыми, политически придавленными в свободном выражении

своих мыслей и прорывов, немymi и как-будто совершенно отчаявшимися.

Эта вера подсказывала мне, что именно среди этих замкнутых, политически и экономически бесправных и ограбленных крестьян нужно искать той силы для борьбы против гетманщины, за освобождение революции, которая может проявить себя в Гуляй-Польском районе повторно и более удачно, и окажется единственной силой Запорожско-Приазовской области, способной вызвать трудящихся украинской деревни и города вообще на путь решительного действия за свои исконные права на независимую, свободную жизнь и вольный труд.

Так, бодрое самочувствие мое поддерживалось несокрушимой верой в то, что живые силы революции в деревне велики, и опасаться, что немецко-гетманская власть деморализует их окончательно и усыпит на долгие годы, нет никаких оснований. Нужно только действовать. Ибо только через действие одних сила эта пробуждается в других и ищет своего выявления.

— Да, да! В трудовой крестьянской семье эти силы есть, и их нужно организовать. Так мыслил я в эти дни и стремился как можно скорее очутиться в этой семье и увидеть себя за прямым своим и ее делом.

Да, да, нужно действовать, убеждал я себя, убеждал и тех, кто временно появлялся ко мне и исчезал.

Это душевное состояние толкнуло меня на то, чтобы, не дожидаясь возвращения из России остальных друзей своих, дать знать всем крестьянам и рабочим в Гуляй-Поле, что я нахожусь недалеко от них и думаю не сегодня-завтра кое-с-кем из них видется. Вера в гуляйпольских крестьян и рабочих отгоняла от меня всякие мысли о том, что все могло измениться, что крестьяне и рабочие могли отвлечься от своих прямых дел, определившихся в процессе революции, и могут не отозваться на мое обращение к ним. Я написал им следующее письмо:

„Товарищи, после двух с половиною месяцев моего скитания по революционной России я возвратился снова к вам, чтобы совместно заняться делом изгнания немецко-австрийских контр-революционных армий из Украины, низвержением власти Гетмана Скоропадского и недопущением на его место никакой другой власти. Общими усилиями

мы займемся организацией этого великого дела. Общими усилиями займемся разрушением рабского строя, чтобы вступить самим и ввести других наших братьев на путь нового строя. Организуем его на началах свободной общности, содержание которой позволит всему не эксплуатирующему чужого труда населению жить свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя бы и красных, и строить всю свою социально-общественную жизнь совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде. Во имя этого великого дела я поспешил возвратиться в свой родной революционный район, к вам. Так будем же работать, товарищи, во имя возрождения на нашей земле, в нашей крестьянской и рабочей среде, настоящей украинской революции, которая с первых своих дней взяла здоровое направление в сторону полного уничтожения немецко-гетманской власти и ее опоры – помещиков и кулаков.

Да здравствует наше крестьянское и рабочее объединение!

Да здравствует наши подсобные силы – бескорыстная трудовая интеллигенция!

Да здравствует Украинская Социальная Революция!

Ваш Нестор Иванович.

4-го июля 1918 года”.

Письмо это в Гуляй-Поле переписывалось в десятках экземпляров и ходило по рукам крестьян и рабочих. Оно многим из них подбодрило. Многие хотели, чтобы я не задерживался и одного дня где-то на районе, а сейчас же переезжал в самое Гуляй-Поле. Как я узнал после, из-за этого желания одного получился серьезный разлад с другими, предупреждавшими меня воздерживаться от переезда в Гуляй-Поле до тех пор, пока они не пришлют за мною надежных людей.

„Гуляй-Поле полно шпиков и провокаторов, – писали мне другие тов. крестьяне: – Вы, Нестор Иванович, вероятно еще не знаете ничего о том, при каких обстоятельствах, кем и под чьим руководством, во время Вашего отсутствия, 14–15–16 апреля были произведены аресты почти всех членов Революционного Комитета, Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов, а также отозвание с фронта анар-

хического отряда и разоружение его. Вся эта гнусность производилась центральной еврейской ротой, под руководством ее командира Тарановского и членов Полевого Штаба И. Волкова, А. Волоха, О. Соловья и В. Шаровского. Еврейская молодежь этой травлей увлеклась. Еврейская буржуазия приветствовала эту молодежь и всячески ублажала немецких агентов Волкова, Соловья, Шаровского и агронома Дмитренко (который, кстати сказать, раз’езжал с кавалерийским отрядом по всему району и вылавливал анархистов и большевиков, с целью выдать их немецким палачам для казни). В настоящее время В. Шаровский глубоко скорбит о том, что он был в рядах заговорщиков, совершивших величайший акт измены трудящимся.

Тарановский клянется, что если бы он не отпускал взводов из своей роты для производства арестов членов Революционного Комитета и Совета, то его убили бы Волков, Волох и компания. Он утверждает, что вышеупомянутые лица действовали по приказу немецкого командования”.

Далее крестьяне спрашивали меня: „Как посоветуете нам, Нестор Иванович? Мы хотим убить всех этих негодяев. Но предупреждаем, ответ пишите и присылайте, но сами не приезжайте, ибо все более или менее революционные крестьяне частью сидят в тюрьме, частью же не спускаются, ни они сами, ни их квартиры, с глаз тайных и явных шпионов. Вас тут скоро схватят. О шпионах и провокаторах есть многое рассказать Вам, но об этом мы Вам расскажем, когда встретимся. Пока же будем все работать для того, чтобы Вы были среди нас. Вы только потерпите, не приезжайте без нашего ведома.

Ваши Павло, Лука, Грыцько и Яков”.

Письмо этих товарищей еще более подбодрило меня. Я решительнее начал приходить к тому, чтобы ускорить свою встречу с гуляйпольцами и взяться за решительные действия. На все предупреждения меня о том, чтобы я не переезжал в Гуляй-Поле, я смотрел совсем не серьезно, думая, что мои товарищи крестьяне переборщили в своем намерении законспирировать мое пребывание в районе. Я готовился к переезду в Гуляй-Поле без их ведома. Поэтому я им на их письмо по существу не отвечал, а лишь предупре-

дил их, чтобы они, пока-что, никого из изменников и провокаторов не трогали; и в особенности, чтобы они не трогали никого из евреев и не возбуждали против них никого из населения, так как это может создать почву для зарождения антисемитизма. А последний не может создать тех условий для революции, которые так нужны ей, и без которых не оправдаются надежды крестьян освободиться от реакции, изгнать гетмана со своей помещицкой сворой, не допустить на свою шею других властей и насильников, и зажить своей настоящей жизнью на началах независимого от каких бы то ни было властей, свободного общественного самоуправления и самоуправления.

Одновременно я запросил гуляйпольцев о том, как многочисленны и какого рода оружие немецко-австрийских войск, расположенных как в самом Гуляй-Поле, так и вокруг него, в ближайших от него деревнях. Много ли в Гуляй-Поле развелось местных шпионов вообще и из крестьянской среды в частности?

На этот мой запрос я скоро получил ответ от многих крестьян. Он сводился в общем к тому, что шпионов и провокаторов много, но они оперируют, главным образом, в центре Гуляй-Поля. Выдающиеся из них: Прокофий Коростелев, Сопляк (который был сыщиком еще в царское время), молодой Леймонский (бывший взводный командир еврейской роты) и многие другие. „Но, — писали мне крестьяне, — больше всего шпионов и провокаторов у нас в Гуляй-Поле развелось среди богатых евреев. Об этом вы, товарищ Нестор Иванович, подробно узнаете, когда придете к нам. Мы много кое-чего вам расскажем и покажем“.

Мне лично тяжело было перечитывать все эти записки по одному уже тому, что в них чувствовался антисемитский дух. А я воспитал в себе глубокую ненависть к антисемитизму еще со времен 1905 — 1906 годов.

Но то, что гуляйпольские крестьяне до 1918 года были чужды антисемитского духа (об этом ярко свидетельствует хотя бы тот факт, что когда, в 1905 году, громили из „Союза истинно-русских людей“, под руководством Щекатихина и Минаева, громили в городе Александровске евреев и присылали своих гонцов в Гуляй-Поле для организации еврейского погрома, гуляйпольские крестьяне на ряде своих общественных сходов категорически высказывались

против погромщиков и их гнусных погромческих дел в г. Александровске), заставило меня отнестись к этим запискам менее сурово, чем они этого заслуживали. Я хочу сказать, что, вместо того, чтобы порвать с ними переписку и покинув село Рождественку, не отзываться на их зов, я написал им письмо (одно на всех), в котором постарался, как мог, разбить их неосновательную мысль о евреях. И сделал я это тогда, когда уже знал, что еврейская рота, под влиянием агентов Укр. Центр. Рады и немецкого командования, первая арестовала всех анархистов, всех членов Революционного Комитета, большую часть членов Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов в Гуляй-Поле (в апреле месяце 1918 года). Арестовала с целью выдать всех этих крестьян и рабочих революционеров немецкому командованию на суд. Я знал, что еврейская буржуазия радовалась поведению этой роты. Но я считал долгом революционера доказать крестьянам, что не одни только евреи так гнусно действовали в то время по отношению к революции и к революционерам; что среди не евреев было также много негодяев, подобных тем негодьям евреям, на которых крестьяне указывали мне в своих записках, и что в этом столь серьезном и сложном вопросе мы разберемся, когда я буду среди них. Теперь же, — просил я крестьян и рабочих в своем письме, — этот вопрос надо отложить в сторону, чтобы, если и нельзя его совсем забыть, то, во всяком случае, возвратиться к нему тогда, когда мы, освободившись от гнета гетмано-немецкой власти, сможем свободно, в порядке общественных сходов, разобраться в том, почему именно еврейская рота и еврейская буржуазия так гнусно действовали против революции в пользу Центральной Рады и немецкого командования.

Я убеждал крестьян и рабочих в том, что еврейские труженики, — даже те из них, которые состояли в этой роте бойцами и были прямыми участниками в ее контр-революционном деле, — сами осудят этот свой позорный акт. Буржуазия же, причастная к провокационному делу в Гуляй-Поле, свое получит, независимо от того, к какой национальности она принадлежит.

И должен отметить, что письмо мое оправдало мои надежды. Крестьяне и рабочие согласились целиком с моими доводами касательно их нападок на евреев и теперь проси-

ли лишь моих указаний: „Что делать? Как и с чего начать, раз Вы не советуете нам заняться уничтожением виновников апрельского выступления?“ И, конечно, в заключение опять подчеркивали, чтобы я потерпел еще немного, чтобы не рвался сейчас же в Гуляй-Поле.

„Ваше появление в Гуляй-Поле, — писали они, — станет скоро известным в штабе немецких войск и вызовет еще более тяжкие последствия в отношении крестьян и рабочих вообще, потому, что немцы и гетманцы считают всех гуляйпольских крестьян и рабочих Вашими друзьями. А более тяжкие репрессии совсем помешают нам встречаться друг с другом“.

Все эти отрывочные сообщения из Гуляй-Поля меня беспокоили. Я начинал нервничать и задумываться над тем, ствечать ли крестьянам на их просьбу указать им, что делать, или же, ничего не отвечая, самому поехать к ним.

Посоветовался я кое-с-кем из окружавших меня рождественских крестьян. Они высказались против того, чтоб я, не предупреждая гуляйпольцев, переезжал к ним. А предупреди последних, так они снова завопят, чтобы не ехал, обнадеживая меня, что они скоро сами приедут и заберут меня к себе. Долго терзался я мыслью о том, чтобы не откладывать больше своего переезда в Гуляй-Поле. Однако, пришел к тому, что, на этот раз, еще ответчу. Но дальше — нет, дальше не хватит терпения, да и времени терять нельзя, — рассуждал я с рождественцами.

„Первой нашей задачей, — писал я гуляйпольцам, — должно быть разделение наших людей в Гуляй-Поле так, чтобы они были в каждой сотне (участок села) в достаточном количестве. На этих людях лежит обязанность группировать вокруг себя возможно большее количество энергичных и смелых, готовых на самопожертвование, крестьян. Затем, они должны выделять из этих группирований особо смелых крестьян и с ними совершать в разных местах, и по возможности одновременно, нападения на помещицы и кулацкие имения, с целью разгона из них как хозяев, так и призванных ими к себе немецко-австрийских солдат охранителей, которые, как известно, состоят из двенадцати всадников при полном боевом вооружении. (С этим количеством охраны следует всегда считаться при посылке наших сил). Если нападения не могут быть орга-

низованы одновременно в разных местах, то должны иметь место, по крайней мере, с небольшими промежутками времени одно после другого, и повторно. Нападения не должны носить характера грабежа.

Когда группирование наших трудовых и революционных сил будет достаточным для выполнения ряда таких нападений, тогда мы должны будем напасть своими силами и на гуляйпольский немецко-австрийский гарнизон. Разоружив его, мы займем Гуляй-Поле и будем, во что бы то ни стало, удерживать его за собой до тех пор, пока можно будет; или, по крайней мере, пока не отпечатаем воззвание нашего Гуляйпольского Подпольного Революционно-Повстанческого Комитета ко всем крестьянам и рабочим Украины. Воззвание это разъяснит цели нашего восстания и позовет крестьян и рабочих присоединиться к нам, восстать в своих районах против угнетателей и поможет нам сеять революционный дух по всей Украине.

Имя Гуляй-Поля нам много поможет и на этом пути. Во всей Запорожско-Приазовской области оно достаточно известно, как одно из передовых и революционных сел. Вопреки весеннему выступлению в нем темных сил реакции, оно осталось для района тем же передовым и революционным селом. На его зов отзовутся многие районы. И если мы окажемся на своих местах, то-есть, если мы не будем спать антиреволюционной спячкой, какой спят, — я видел, — многие революционеры в городах России (да, как видим, спят они по городам и у нас на Украине), то мы организуем все эти районы вокруг Гуляй-Поля и из него двинемся в поход, на сей раз более решительный и грозный, против всех наших угнетателей.

Нужно только держать выше и решительнее черное знамя нашей крестьянской группы анархистов-коммунистов, на котором, как Вам, друзья, известно, написано: „С угнетенными против угнетателей всегда!“

Да здравствует братский союз тружеников села и города!

Да здравствует средство полного их освобождения — Социальная Революция!

В согласии с выше отмеченными положениями, в апреле месяце сего года прошла в городе Таганроге конферен-

ция отступивших гуляйпольцев. Участники этой конференции не сегодня-завтра будут среди Вас. Но ожидать их сложа руки было бы великим преступлением перед делом Революции, перед делом трудящихся села и города, которое мы начали, но ввиду многочисленных врагов его не успели ввести в русло организованно-созидательного расцвета и развития.

Итак потрудимся над этим великим и ответственным делом!

Ваш Нестор.

7. VIII. 1918 года.

P. S. — По получении этого письма сообщите мне сейчас же, что Вы думаете предпринять, или же укажите, когда и к кому из Вас мне наудобнее приехать самому. Время не стоит, а движется, а дело стоит и обречено не двигаться с места”.

С нетерпением ожидал я ответа на это свое послание. Надеялся, что на этот раз он будет удовлетворительным. В ожидании ответа я старался договориться с крестьянами села Рождественки обо всем, касающемся организации боевых крестьянских групп.

Так провозился я еще около пяти-шести дней в Рождественке. Наконец, моя старушка мать привезла мне ряд писем из Гуляй-Поля. Одно из них носило коллективный характер, за рядом подписей. Оно гласило:

„Дорогой Нестор Иванович!

Категорически предупреждаем Вас самому не переезжать в Гуляй-Поле. Более этого, мы настаиваем, чтобы Вы переехали из Рождественки еще далее от Гуляй-Поля, потому что у нас среди гетманцев носятся упорные слухи, что Махно приехал в Гуляй-Поле и поселился нелегально где-то на окраине его. Мы накануне повального обыска во всем Гуляй-Поле.

Неужели Вы не верите нам, что мы так же, как и Вы, если не еще больше, хотим Вас перетащить к себе?.. Ваше письмо мы обсуждали и еще будем обсуждать. Согласно его положениям, начнем нашу работу. Как только увидим, что нам можно собираться, мы сейчас же перетащим и Вас сюда. Но сами Вы не приезжайте. Вы погибнете здесь рань-

ше дела. За Вас немцы не пожалеют заплатить хорошие деньги, и могут найтись люди, которые Вас выдадут за эти деньги...

„Подписи: Яков, Павло, Михаил, Грыцько”.

В этой группе крестьян участвовал мой племянник, Михаил Махно, спасшийся от расстрела (так же, как и брат мой, Савва Махно) благодаря трусости помещиков, услышавших, что я возвратился из России и недалеко от Гуляй-Поля нелегально организовываю по селам крестьян. Эти помещики отстояли Михаила перед немецким командованием. За час до расстрела его освободили. Этому другу я очень доверял и решил было на недельку-две совсем замолчать и даже выехать из Рождественки. Но то было время, когда мысли могли быстро меняться. Через день я изменил свое решение. Я почувствовал в себе большую ответственность за бездействие в такое время. Кроме того, я решил присмотреться самому лично к жизни Гуляй-Поля и гуляйпольцев. Я окончательно решил переехать в Гуляй-Поле. Окружавшие меня революционеры-крестьяне просили не предпринимать этого рискованного преждевременного шага. Но это не помогло. Я был в ту минуту упорлив и стоял на своем: настойчиво просил подвезти меня к Гуляй-Полю, а там, де, я сам найду дорогу пробраться к своим близким.

Глава II.

МОЕ ПЕРВОЕ НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ГУЛЯЙ-ПОЛЕ.

В одну ночь два крестьянина, вооружившись винтовками, (я имел при себе две бомбы и хороший револьвер системы „Кольт”), повели меня по направлению к Гуляй-Полю. В трех верстах от Гуляй-Поля я соскочил с подводы и крикнув: — „Прощайте!” — скрылся промеж копен ржи...

А в два часа ночи я был уже на Подолянах (часть Гуляй-Поля), в одной крестьянской семье, хозяин которой все еще считался погибшим на войне. Здесь я чувствовал себя в полной безопасности. Ибо и хозяйка, и дети были в выс-

шей степени конспиративные люди. А на утро вся эта семья сделалась моими рассылными по Гуляй-Полю. Помню, первой прибежала ко мне жена моего товарища и друга С. Она принесла мне оружие и сообщила, что муж ее еще не возвратился из России.

— Но если тебе нужен помощник, — сказала мне Харитина, — я могу заменить мужа. Я знаю, что ты начнешь действовать против немцев и гетманцев, и я буду во всем тебе помогать.

Я тут же поручил ей употребить все силы и направить всю свою крестьянскую смелливость на то, чтобы достать мне с десятка бланков Гуляйпольской Земской Управы за подписью головы Управы Григория Чучко, которые мне нужны были для документов ряду лиц не гуляйпольцев.

После нее меня посетили многие крестьяне, но никто из них не был так воинственно настроен, как она. Большинство из посетивших меня в первый день моего приезда в Гуляй-Поле убеждали меня выехать обратно в Рождественку еще на месяц-два, так как мое пребывание в Гуляй-Поле скоро станет известным властям, и задуманное дело провалится. Однако, я решил побывать у многих старых своих друзей, крестьян-революционеров, которые уже получили немецких шомполов и сидели молча, как мне передавали друзья помолоче.

За несколько ночей я побывал у многих из них. Устроил два собеседования с двумя десятками крестьян на тему: „За что мы должны прежде всего взяться“. Окончательно уяснил себе картину того контр-революционного переворота в Гуляй-Поле, который был совершен в мое отсутствие.

Переворот этот, как я выяснил, задуман был агентами Украинской Центральной Рады и немецко-австрийского командования, сынками кулаков, которые, приехав со внешнего фронта, об'явили себя украинскими социальстами-революционерами: Иваном Волком (ныне комиссар Чертковского района у большевиков), Аполлоном Волохом, Осипом Соловьем (путаются где-то в денкино-врангельских бандах), Василием Шаровским и агрономом Дмитриенко.

Под руководством этих лиц и силами центральной еврейской роты переворот был совершен в порядке ареста

всех членов Революционного Гуляйпольского комитета и большей части членов Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов. Был также отозван с противонемецкого и гайдамацкого фронта анархический отряд. Он в пути был разоружен и на половину арестован. Арест производился с целью выдать всех этих передовых революционеров Гуляй-Поля и района немецко-австрийскому командованию на уничтожение.

Переворот удался. Буржуазия его приветствовала. Она быстро, в течение нескольких дней, сделалась снова хозяином во всем районе. Начались погромы революционных организаций.

Некоторые подробности событий произвели на крестьян особое впечатление. Так, например, в Гуляй-Поле, под руководством „анархиста“ Левы Шнейдера, владевшего, помимо еврейского языка, и украинским, было разгромлено бюро анархистов. На украинском языке он обратился к шовинистическим бандам:

— Брати, я з вами вмру за ньеньку Украину!

С такими словами вскопчил этот „анархист“ в бюро анархистов, начал хватать и рвать черные знамена, срывать со стен портреты Кропоткина, Бакунина, Александра Семенюты, разбивать их и топтать. Даже шовинисты украинцы не делали того, что делал он, этот новоиспеченный украинский патриот, — говорили мне очевидцы.

Такой поступок еврея „анархиста“ еще более развязал руки еврейской молодежи из роты. Буржуазия, зная, что делать в такие минуты, указывала молодежи на пример „анархиста“. И еврейская молодежь, под руководством все тех же агентов Центральной Рады и немецкого командования, усердствовала.

— А где же теперь этот Лева Шнейдер? — спрашивал я крестьян.

— Он убежал из Гуляй-Поля, когда немцы и австрийцы окончательно осели здесь. Говорят, он „работает“ подпольно где-то в Харькове, вместе с большевиками и анархистами, — отвечали мне крестьяне и с особой настойчивостью требовали моего мнения об этом гнусном поведении анархиста еврея Левы Шнейдера.

Что я мог им ответить? Я, конечно, старался доказывать им, что еврей здесь не при чем; что не евреев, игравших

гнусную роль в перевороте, было несравненно больше. Я пересчитал ими же указанные мне имена этого большинства. Но убедить их не мог. Они, крестьяне, предложили мне пойти вечером в центр Гуляй-Поля и убедиться в том, кто по улицам и площадям веселится, кроме евреев, „участвовавших раньше вместе с нами в походе против контр-революции, а теперь вместе с контр-революцией веселившихся на трупе революции”. Чувствовалась великая злоба у крестьян против евреев: злоба, которой Гуляй-Поле еще не переживало.

Я тревожился. Передо мною ясно вставал грозный призрак нарождающегося антисемитизма. Я собирался с силами, чтобы преодолеть эту заразу в массе крестьян: заразу, привитую преступлением одних и глупостью других, самих же евреев. Я согласился переодеться в женские платье и пойти в центр Гуляй-Поля.

— Да, да. Вы, Нестор Иванович, пойдите туда. Вы увидите что там свободно гуляют и веселятся только те, кто выслужился перед властью немцев и Центральной Рады своими позорными действиями против революции, — говорили мне крестьяне.

В один из вечеров я, с рядом крестьян и крестьянок, побывал в центре Гуляй-Поля и, действительно, видел свободно гуляющими только тех, кто жил в центре. (Среди них было много евреев). Приходящих же из окраин патрули разгоняли, записывали, нередко арестовывали, избивали прикладами и указывали им дорогу к дому.

На одном из собеседований с крестьянами на Песках (одна из окраин Гуляй-Поля) я остановился подробнейшим образом на революции, на ее задачах и на антисемитизме. Я охарактеризовал подлинные широкие задачи революции и подчеркнул истинную роль и громадную опасность антисемитских настроений. Я напомнил крестьянам их героическую борьбу против погромов в 1905 году. Я еще раз указал им на то, каким должно быть дело подлинно анархиста-революционера, стремящегося к тому, чтобы трудящиеся могли, наконец, свободно и решительно высказать свои творческие силы.

— За этим свободным и решительным выявлением сил трудящегося крестьянского люда, — сказал я, — простирается широкий путь ко всенародному счастью. Будем же,

товарищи, работать во имя возрождения разбитой у нас на Украине революции, чтобы, пользуясь ею, как средством, прийти к счастью. Работа эта серьезная и ответственная. Она требует настойчивости и героических жертв, ведущих по одному пути, к одной цели. Всякое отвлечение в сторону будет срывать ее и тем самым губить новые наши силы. А они, пока, так не велики, что бросаться ими как попало будет великим преступлением. Вот во имя этого я против того, чтобы что-либо предпринимать сейчас по отношению к тем изменникам и провокаторам, которые совершали гнусный весенний переворот и теперь живут под крыльшком палачей революции.

— Так что же вы, Нестор Иванович, стоите за то, чтобы этих провокаторов не трогать? — спросили меня в один голос все присутствовавшие на этом собеседовании.

— Нет, я за то, чтобы их притянуть к ответу. Но на это будет время. Я глубоко верю, — сказал я этим своим нетерпеливым друзьям, — что мы общими усилиями организуем наши крестьянские силы на более прочных основаниях и изгоним немецко-австрийские контр-революционные армии вместе с их ставленником, гетманом Скоропадским. Тогда мы всех уцелевших провокаторов притянем к всенародному суду через сходы и собрания революционных крестьян и рабочих. И им не будет пощады. Как подлые провокаторы, они должны быть уничтоженными, и мы их уничтожим. Но уничтожать их теперь, по-моему, не следует. Это повредит или может повредить делу нашей организации, как инициативной силы на пути объединения крестьянских революционных сил против внешних и внутренних врагов революции, врагов свободы и независимости трудящихся от власти капитала и его кровавого детища — государства. Это, — подчеркивал я друзьям своим, — мы должны серьезнейшим образом учитывать при подходе к практическим действиям против известных нам провокаторов.

*
* *
*

Многих моих друзей крестьян я не мог уже видеть: одни были расстреляны, другие посажены в тюрьму, где они по закону немцев и гетманцев, исчезали бесследно.

Те же, кто остался в живых, были ограблены, чуть ли не еженедельно подвергались обыскам и избивались прикладами и шомполами.

У оставшихся в живых крестьян я уже не замечал того энтузиазма, той сплоченности и веры в свои стремления, которыми они жили всего два с половиною — три месяца тому назад. Но это меня не особенно беспокоило. Я верил, что стоит только начать дело организации крестьян против их угнетателей, они восстаноят и энтузиазм, и веру в себя и в свое дело. К этому возрождению действия я стремился с особым подъемом сознания долга революционера-анархиста, вопреки анархистам, живущим в наше время одним только голым отрицанием. И скоро я, при встрече и разговорах с крестьянами и крестьянками, окончательно убедился в том, что весь их угнетенный и как-будто безразличный вид — явление временное.

*
* *
*

Мы много говорили с крестьянами на разные темы. Между прочим, крестьяне рассказали мне подробно о вступлении немецко-австрийских и гетманских отрядов в Гуляй-Поле; о том, как их встречала буржуазия; наконец, о том, как вели себя и чем занимались эти поистине дикие контр-революционные банды в Гуляй-Поле.

В первую очередь они нашли нужным отомстить мне, как организатору революционных сил района. Они оцепили двор моей старушки матери, выгнали ее из дому и начали бросать бомбы в дом. Побили все окна, повыворвали двери, нанесли соломы в дом и зажгли. Зажгли дом и все постройки во дворе: клуню (овин), сарай и хлев.

Затем переехали к старшему моему брату, инвалиду мировой войны, Емельяну Махно, который вследствие своей инвалидности (он потерял глаз и был сильно контужен, всегда болен), активной роли в революции не играл. Они арестовали его и отправили в свою комендатуру. Хату и сарайчик сожгли, оставив жену его, мать пятерых маленьких детишек, вместе с детками во дворе смотреть, как горит все, что они своим трудом долгие годы наживали: жалкая хатенка, сарайчик да брочка.

Так об'езжали эти глупые изверги культурной Европы дворы всех крестьян, сыновья которых были активными революционерами и ушли в подполье, и жгли их дворы, грабя и насилуя.

В эти же дни, по провокации „социалистов”-шовинистов, действовавших под предводительством агронома Дмитренко, поймали молодого славного революционера-анархиста из бедной еврейской среды, Горелика, и зверски мучили его. Ударяли его по яичкам, плевали ему в глаза, заставляли раскрывать рот и плевали в рот. При этом ругали его за то, что — неподкупный еврей. И, в конце концов, убили этого славного юношу революционера.

Вскоре решили судьбу и моего брата. Чтобы наиболее жестоко поиздеваться над ним, над его женой и маленькими детишками, власти решили расстрелять его вблизи соседей, проведя его предварительно мимо его же двора. Снарядили шесть человек для исполнения казни над ним. Когда они приближались к двору, их увидели дети Емельяна и их мать. Дети постарше, увидев своего отца, окруженного штыками, заплакали. Младшие же, ничего не понимая, бросились к своему папе навстречу, ожидая, что он возьмет их на руки, как это он всегда делал, и предварительно поцеловав их, скажет, что он им купил. Но грубая солдатская свинота закричала на детей, истерично угрожая им винтовками. Дети опешили и остановились. А потом, увидев, что сердитые люди повернули влево от двора и повели с собою их дорогого отца, они бросились к матери, стоявшей со старшим мальчиком во дворе, словно прикованной к земле, теребили ее за платье и просили сказать им, куда австрийцы увели их „тата”. Мать целовала их и плакала вместе с ними. А слепые убийцы отвели Емельяна от его двора, через балку, в огород Левадного и там убили его.

Еще более потрясающей была сцена расстрела тов. Моисея Калениченко.

Всего через день-два после убийства Емельяна Махно, власти узнали, что Моисей Калениченко находится в Гуляй-Поле. Калениченко был анархист, из крестьянской семьи. Один из лучших мастеров механиков в Гуляй-Поле. Один из честнейших и мирнейших людей в районе. При организации гуляйпольской группой Анархо-Коммуни-

тов отрядов против экспедиционного нашествия, он, по постановлению группы, принял энергичное участие в этой работе. Во время одной поездки он упал с лошади и сломал себе ногу. Это обстоятельство принудило его остаться в Гуляй-Поле, в постели, в доме своих братьев.

Теперь, по доносу все тех же „социалистов“, власти его нашли. Но, зная о возмущении населения за дикий расстрел Емельяна Махно, они решили теперь, для вида, запросить мнения о Калениченко у общества. Был поставлен вопрос: — Кто такой Калениченко: злодй, чи добрый чоловік?

Оставшееся не арестованным трудовое население ответило, что оно за Моисея Калениченко ручается, как за хорошего гражданина села Гуляй-Поля. Но командование с этим ответом не считалось. Оно заслушало мнение о М. Калениченко собственников землевладельцев: Резника, Цанко, Гусененко, купцов Митровниковых, хозяина мыловаренного завода Ливинского, которые доносили: Моисей Калениченко — „злодй“: он был членом Гуляйпольского Революционного Комитета и помощником Нестора Махно в организации черни.

Немецко-австрийское командование на Украине в это время устанавливало закон о том, что Украина есть немецкий „тыл“, и подумывало просто превратить ее в неотъемлемую часть своего отечества. Оно нашло, конечно, лучшим признать, вместе с землевладельцами, помещиками и купцами, товарища Калениченко „злодием“. Оно распорядилось расстрелять его. Товарищ Калениченко был убит.

Его вывезли в Харсунскую балку, в Гуляй-Поле, и поставили у края оврага. Шесть человек, в форме рядовых немецких солдат, дали по нем залп. Он, тяжело, но не смертельно, раненый упал. Собравшиеся неподалеку крестьяне и крестьянки бросились убежать, ругая убийц. Но скоро они остановились и стали смотреть в сторону совершавшего преступления. Раненый поднялся и закричал:

— Убивайте же, убийцы, скорее!

Раздалась команда из группы тех, крутившихся тут офицеров, и по Калениченко дали другой залп. Он снова упал; корчась, опрокинулся на другую сторону и снова начал подыматься. Но в это время к нему подскочил один из офицеров (слухи были, что это был помещик Гусененко,

переодетый в офицерскую форму) и в упор выстрелил в него, целясь, видимо, в висок, но попал в щеку. Калениченко снова упал, но тотчас приподнялся на колени и, маша руками, кричал:

— Убивайте же, палачи, не мучьте!..

Неизменных шесть солдат дали еще подряд два залпа. Один, когда Калениченко еще стоял, другой уже в лежащего. Тело его было изрешетено пулями.

Кошмарная смерть постигла и товарища Степана Шепеля. Он — тоже крестьянин анархист, можно сказать, мой воспитанник. Я ввел его в свой кружок и затем в группу. Он был сын хорошей, мирной, трудовой крестьянской семьи. После нашей таганрогской конференции, он вернулся вместе с моим братом, Саввой Махно, и Семеном Каретником, нелегальными путями, в Гуляй-Поле для подпольной организационной работы. В одну из ночей Степан пошел домой, чтобы помочь жене и деткам своим, которых было четверо, расчистить от сорных трав ток для молотыбы. Он был выслежен шпионами и на следующую ночь схвачен немецко-австрийским ночным патрулем именно за этой домашней работой.

Как и всех революционеров в Гуляй-Поле, власти расстреляли его днем, на глазах у населения.

Перед расстрелом мужественный т. Шепель сказал своим убийцам:

— Сьогодні ви вбиваєте мене за мою вірність своїм братьям працівникам. Цим ви викликаєте нас, анархістів-комуністів, на шлях помсти! Я вмираю за правду анархії. Вмираю від рук сліпих але підлих катів революції. За це завтра мої товариші вб'ють вас...

Товарищ Степан Шепель, как и Моисей Калениченко и мой брат Савва Махно, были все очень преданы делу нашей группы и участвовали во всех ее революционных делах среди крестьян и вместе с крестьянами. Поэтому отсутствие их в эту грозную минуту возле меня, когда, к тому же, не было еще других моих друзей и товарищей, из числа отступивших в Россию, особо остро чувствовалось.

Товарища Павла Коростелева (он же Хундай) избили прикладами и шомполами так, что он через несколько дней умер.

Секретаря нашей группы, т. А. Калашникова, и Савву

Махно, со многими беспартийными революционными крестьянами, не расстреляли только потому, что среди богатеев, немцев, помещиков и кулаков-крестьян пронесся слух, что Нестор Махно вернулся из России и ведет усиленную подпольную организацию вокруг Гуляй-Поля с целью поднятия восстания против них. Они, лицемеря перед трудовым населением Гуляй-Поля и его района, хотели показать этому населению, что стоят вместе с ним за то, чтобы крестьян-революционеров, во главе с Саввой Махно и А. Калашниковым, не убивали. Но крестьяне отлично видели и понимали их лицемерие.

Их, действительно, не убили, а посадили в тюрьму, вместе с сотнями других ни в чем не виновных крестьян. Все они, при низвержении Центральной Рады, остались в тюрьмах, перейдя „по наследству” гетманщине.

Товарищи крестьяне хотели еще многое рассказать мне об учиняемых над революцией и жизнью лучших ее сынов насилиях. Но я дальше не мог их слушать. Их рассказы настолько взвинтили меня, настолько истерзали мне сердце, что я в этот вечер никак не мог успокоить себя, успокоить их, рассказчиков, выдававших предо мною, словно дети. С огромным трудом я овладел собою. И, помню, сказал всем собравшимся:

— Все то, о чем я вам, друзья, говорил, и все то, что вы мне рассказали, все это вместе взятое повелительно говорит нам о том, что мы не имеем никакого права сидеть сложа руки. Мы должны стараться группировать свои силы, силы широкой крестьянской массы, на основе одного лозунга: восстание против немецко-австро-гетманского произвола в стране, за возрождение и развитие революции во имя полного освобождения крестьян и рабочих, всех тружеников деревни и города, от власти помещика и фабриканта, а также их слуги: государственной власти вообще.

В связи с этим лозунгом мы тут же постановили признать необходимым с завтрашнего же дня организовать по районам в Гуляй-Поле инициативные группы в три-пять человек каждая. Эти группы в своей подпольной работе по организации населения совершенно свободны, но тесно связаны между собою через своих уполномоченных. А эти уполномоченные связываются непосредственно со мною и,

таким образом, направляют всю работу групп к одной цели объединения вокруг революционного Гуляй-Поля широкого трудового населения районов и поднятия его на беспощадную борьбу против гетманщины и немецко-австрийских контр-революционных армий.

Так была заложена вторично, под моим идейным и организационным руководством, гуляйпольскими крестьянами анархистами крестьянская революционная организация для борьбы с контр-революцией.

На этом решении мы закончили наше ночное собрание.

*
* * *

Я рвался на Украину для новой организации крестьянских отрядов и вольных батальонов революции; для того, чтобы, прежде всего, с их помощью добыть как можно больше оружия у врагов революции и, затем, поднять против этих последних все трудовое население, сперва в Гуляй-Поле и его районе, потом во всей Запорожско-Приазовской местности, трудовое население которой, по моим наблюдениям 1917-го и весны 1918-го годов, казалось мне наиболее революционно-бунтарским и наиболее способным на то, чтобы на него опереться в поднятии революционного крестьянского восстания по всей Украине.

Этой идеей я руководствовался и при отступлении из Украины в апреле месяце, и при организации таганрогской конференции, и на самой конференции. Во имя ее я в спешном порядке направил из Таганрога на Украину ряд товарищей и возвратился сам на Украину.

Однако, теперь, узнав подробности об аресте и расстрелах упомянутых товарищей, я, приступая к намеченной работе, в то же время как-будто забыл об этой идее... Я невольно стал отыскивать средства для отомщения палачам, казнившим моих друзей и товарищей, этих безымянных честных сынов Социальной Революции.

Я отыскал несколько бомб и решил взорвать в Гуляй-Поле штабы немецко-австрийского командования и гетманской державной варты.

Так как совсем один я выполнить этот акт технически не мог, я начал подготавливать к нему двух человек, жен-

щину и мужчину, которые нужны были мне только как помощники по подготовке акта. Совершить же его я считал своей обязанностью сам, и готовился выполнить его.

Но в этот момент на горизонте нашей подпольной жизни и работы всплыли новые условия, снова прервавшие все мои начинания.

Через день после только что описанного мною собрания, мы сошлись с крестьянами снова, в другом месте. На этот раз среди нас находились и представители от села Воздвиженки и Воскресенки. Воскресенцы нам сообщили, что они прочитали крестьянам мои письма, переданные им гуляйпольцами. Крестьяне решили действовать согласно им. Я испугался. Испугался потому, что письма мои из Рождественки были писаны только для своих близких. Они же пустили их по селам и этим, естественно, открыли мое пребывание под Гуляй-Подем.

Но было уже поздно предпринимать что-либо в том направлении, чтобы письма эти не печатались и не распространялись. Воскресенские крестьяне начали уже действовать. Они организовали отряд и назвали его Махновским. Под этим именем они напали на карательный немецкий отряд, разбили его, убили командира и нескольких солдат.

По выслушании доклада крестьян-воскресенцев об этом нападении, мы разошлись, в ожидании новых событий. Мы не ошиблись. Действие воскресенских крестьян отразилось и на гуляйпольцах. Немецко-гетманские власти установили, что засада была устроена на границе воскресенско-гуляйпольских земель и бросились с повальными обысками по районам этих волостей. Снова пошли многочисленные аресты, шомполование и денежные штрафы, выколачивание всякими пытками у крестьян оружия и выдачу революционеров-инициаторов.

Я убедился, что далее мне оставаться в Гуляй-Поле нельзя ни одного дня.

Меня в спешном порядке вывозят из Гуляй-Поля в Рождественку. Но волна обысков и арестов быстро перекинулась на весь Гуляйпольский район и добралась до Рождественки. Я принужден был покинуть и это гостеприимное село и перебраться на 80 верст далее от Гуляй-Поля, в деревню Терновку.

ДЕРЕВНЯ ТЕРНОВКА И ЗАГОВОР УБИТЬ МЕНЯ.

В деревне Терновке (она же Протопопово) я поселился у своего дяди, брата моей матери, Исидора Передерия, под видом родственника, по профессии учителя, из Матвеево-Курганской волости, Таганрогского округа, по имени Иван Яковлевич Шепель. Документ на это имя был сделан мне раньше, по моей просьбе, Затонским, известным украинским большевиком.

Родственники мои пустили по деревне слух, что я летом совершенно свободен и приехал к ним на все лето с целью уйти подальше от прифронтового шума и неурядиц. А так как в это время, в 75 верстах от Таганрога, у Батайска, как раз велась ожесточенная борьба между революционными войсками и контр-революцией, то этот, пущенный родственниками слух сошел за истину. К тому же, жил я на окраине деревушки и мало кому показывался на глаза, что тоже содействовало тому, чтобы не вызывать у населения лишних толков.

Но вот сын моего дяди, — так сказать, настоящий хозяин дома, — умер. Это заставило меня оставить квартиру стариков и перебраться в другую семью родственников, живших почти в центре деревушки. Здесь чаще всего появлялись немецко-гетманские карательные отряды, что принуждало меня иногда днем быстро уходить из деревни, прятаться в полу, в лесных посадках или в кукурузах, и возвращаться домой по ночам.

Такая моя жизнь скоро показалась странной крестьянской молодежи, так или иначе участвовавшей в революции. Эта молодежь взяла меня под подозрение. Она пыталась узнать от моих родственников, в чем дело? Кто я такой? Почему только по ночам показываюсь на деревне? Но не получив, видимо, удовлетворительных ответов, молодежь решила, что я — тайный гетманский шпион.

Около недели молодежь эта собиралась по соседству с моей квартирой и обсуждала, как я после узнал, вопрос, как поступить, чтобы избавиться от меня.

Я же, ничего не подозревая, продолжал временами ходить, в ночное время, от одного сына или племянника моего дяди к другому, и этим самым еще более навлекал на себя подозрения, теперь уже и со стороны многих пожилых крестьян. Я не знал, что жители деревни давно уже усиленно расспрашивали обо мне моих родственников.

И вот, в один из воскресных дней, крестьянская молодежь собирает между собой деньги, покупает пива и сагоноу, и устраивает, все там же, по соседству с моей квартирой, „пирушку“, с целью затянуть ее до поздней ночи, а затем силою схватить меня, вывезти в поле, убить и бесследно зарыть в землю.

В этот день молодежь вырывала из земли сохранившееся у нее от весеннего красногвардейского увлечения оружие: револьверы, винтовки с отрезанными дулами, называемые теперь „отрезами“, и шашки. С нетерпением ожидала она ночи, а потом и казни — дикой, звериной казни надо мной.

Итак, эти люди приготовились. Среди них был сын моего двоюродного брата, то есть мой племянник. Однако, решившая убить меня молодежь ничего не поведала ему о своем решении. Теперь же, кое кто из собравшихся, подпив немного, начали добиваться от моего племянника, кто я такой, и почему он никогда не приведет меня к ним: они хотели бы, дескать, со мною познакомиться.

Мой племянник долго отговаривался, но, в конце концов, согласился с ними и пришел за мною.

Я был свободен и охотно принял приглашение. Оно было для меня в некотором отношении даже важным, так как из Гуляй-Поля пришли сведения, чтобы я поспешил со своим возвращением. Я решил организовать силы для задуманного повстанческого авангарда отсюда. И я пошел.

Собрание имело место через улицу от моей квартиры во дворе, в большом крестьянском сарае. Посреди сарая стоял большой низкий стол. Вокруг него сидела молодежь. А сбоку, прямо на застланной рядом земле, по-цыгански, сидели крестьяне постарше, лет по 30 — 40. Первые выпивали и пели песни о крестьянской доле. Вторые играли в карты, в распространенную у нас, на Украине, в зимнее время, по деревням игру: в так называемую „Арбу“.

Мое появление в сарае кое кого смutilo, но кое кого

явно обрадовало. Почему, я еще не знал, но заметил. В сарае становилось уже темно. Кто-то, видимо из старших, крикнул:

— Хлопцы, угостите чужого человека пивом!

Я не прочь был выпить стакан пива, но чувствовал какую-то непонятную тревогу и воздержался, упросил не настаивать на том, чтобы я пил, так как я, де, нездоров и пить не буду. Меня попросили сесть и поиграть с ними в карты. Я и от этого отказался и сделал им в сжатых выражениях пояснение о том, что момент теперь такой тяжелый для крестьян и рабочих, что этим труженикам есть о чем подумать несравненно более серьезном, чем картежная игра. Пока я им это говорил, молодежь слушала внимательно. Люди же постарше — я заметил — подталкивали друг друга под бока, подмигивали глазами, и каждый себе под нос посмеивался. Однако, я на это не обратил особенного внимания. Разговор на эту тему меня втягивал все более в роль пропагандиста. Я вообразил себе тут же, что из этой молодежи можно создать солидный по количеству кружок, а из кружка выбрать более стойких людей и создать боевую группу для начальной деятельности в целях поднятия всей трудовой крестьянской массы против контрреволюции. Я увлекся своей речью и не заметил, как молодежь вся насторожилась, как игроки в карты бросили свою игру, прекратили свой глупо-злбный смех и тоже, одни сидя, другие вставши и стоя, повернулись ко мне и слушали меня с разинутыми ртами.

А когда я, кончая, заговорил о непрошенных властелинах — гетмане и немецко-австрийском юнкерстве, об установленной ими черной реакции над жизнью трудящихся вообще и крестьян в особенности, причем особенно ярко рассказал о том, как власть поступает с крестьянами в тех районах Украины, где крестьяне отобрали у помещиков и кулаков землю, живой и мертвый инвентарь; когда я упомянул о том, что в этих районах крестьян вешали на телеграфных столбах, расстреливали мужей и отцов на глазах жен и детей, с целью запугать все трудовое население, — молодежь не выдержала. Многие повскакивали с мест и начали кричать, что „у нас знают только играть в карты!“

Крестьяне постарше, в свою очередь, бросали в сторону молодежи:

— Мы, старые глупцы, научились только играть в карты!.. Это скверно, но это правда, и мы от этого не отказываемся... А вот вы сбоку нас учитесь пьянствовать...

На все это молодежь подавала свои смешанные голоса. А в результате, и те, и другие, чуть не каждый, не зная даже сами, для чего, подходили ко мне и, дружески улыбаясь, ничего не говоря, или произнося что-то расчувствованно-подавленным голосом, пожимали мне руку.

А затем, двое из них, подойдя ко мне близко и повернувшись к своим, сказали:

— Товарищи, оказывается, этот товарищ (указывая на меня) совсем не такой человек, как мы думали о нем, и ему нужно об этом сказать!

— Верно, правильно, — раздались голоса.

И тогда эти два человека (это были: Коробка и А. Ермократьев) отвели меня в угол сарая, приподняли лежавшую здесь кучу одежды и, отбросив ее в сторону, сказали мне:

— Смотри, товарищ!

Я посмотрел. То была куча „обрезов”, винтовок, револьверов, шашек и штыков.

— Это оружие, — продолжали они мне пояснять, — добыто нами в рядах красногвардейцев, весной. Оно приготовлено против тебя, товарищ. Мы думали, что ты шпион. И решили сегодня ночью схватить тебя, вывезти в поле и там рубить тебя по кусочкам, чтобы выпытать, кто ты, а затем добить и зарыть в землю...

Сперва я слушал их спокойно. Но под конец не выдержал. По моему телу пробежала дрожь, и тотчас сменилась жаром. Минуту-две я волновался до крайности. А когда преодолел это волнение, я спросил их:

— Чем же, все-таки, я навлек на себя такое подозрение? Все они уклонились от прямого ответа.

— Теперь, когда мы услышали твою речь, — уверяли они меня, — у нас этого подозрения уже нет. Мы только жалеем, что твои родственники были настолько глупы, что боялись сказать нам правду о тебе. Мы могли ночью убить тебя, товарищ, как шпиона.

Но я чувствовал себя нервно, окончательно расстроенным и, попрощавшись с ними, ушел к себе на квартиру. Главари кружка проводили меня до самой двери и все извинялись за задуманное ими против меня злодейство.

В скором времени я написал прокламацию к крестьянам этой же деревни и расклеил ее возле сельского управления перед сельским сходом. Ее читала почти вся деревня. Некоторые селяне подозревали, что ее написал я, но пустили слух, что с вечера пролетал аэроплан и спускался в поле на землю. А после-де кто-то видел двух матросов по улицам деревни. Лишь один кулак заявил на сходе, что все это вздор, что никакой аэроплан революционеров здесь пролететь не мог. Нужно, мол, присмотреться к родственнику Исидора Передерия (т. е. ко мне) и сообщить об этом случае Державной Варте. Родственник Передерия, мол, учитель, а все учителя — крамольники, и прокламация писалась не без его ума. Однако, многие крестьяне восстали против утверждений кулака, уверяя его, что сами видели двух матросов. А ночью этот кулак, спавший на своем гумне, кем-то из крестьян был накрыт рядом и сильно избит палками, с приговариванием, чтобы не подозревал невинных людей. А если и есть основание подозревать кого-нибудь в революционности, то чтобы не был провокатором и не болтал.

Соседи этого кулака говорили мне, что после происшедшего, он стал поучать своих сыновей, чтобы они, если что знают о врагах гетмана, ни с кем об этом не говорили, потому, что время настало такое, что нельзя сразу понять, где правда, на стороне ли гетмана или на стороне революционеров.

Такое отношение крестьян деревни Терновки к гетману и гетманшине, с одной стороны, и к революционной прокламации, с другой, меня радовало, и я старался подойти к ним ближе.

Теперь я начал вести между ними собеседования более положительного характера и организовал из них боевую группу. В задачу ее должно было входить не только группирование вокруг себя крестьян, чтобы в нужный момент не отстать от других волостей и восстать против гетманщины и немецко-австрийского хозяйничанья в стране, но и беспрепятственные нападения теперь же, до момента восстания, на помещичьи усадьбы, на немецко-австрийские военные транспорты, на Державную Варту и т. п.

В боевую группу вошло несколько человек, самостоятельно мысливших о реакции на Украине. Они будировали крестьян против нее, и это обстоятельство толкало меня на более решительные действия. Тем более, что я замечал в гуще окружавшей меня крестьянской молодежи стремление к тому, чтобы как можно скорее заняться реальным делом: отучить гетманские и немецко-австрийские карательные отряды от диких налетов на деревни, от обысков, арестов и избиений непокорных крестьян.

Помню, на одном из моих собеседований с крестьянами молодежь решительно настаивала на том, чтобы я разработал ей план засад и уничтожения этих карательных отрядов в открытом поле. Зная, что за такие действия немецко-гетманские власти взыскивают со всего населения данной местности, я объяснял молодежи, что разработать нужные планы засад и действий не трудно, но что такими действиями мы можем вызвать против себя возмущение со стороны крестьян и этим утеряем их живые силы для восстания. Молодежь возражала, что все население готово на жертвы, лишь бы жертвы эти послужили сигналом для всеобщего восстания трудящихся против насильников и эксплуататоров.

Так шли дни за днями. Я проводил собеседования. Советовал терновцам не прибегать к вооруженным действиям, не взвесив их цели всесторонне и не сговорившись с Гуляй-Подем, где есть силы и оружие, и где выработан определенный план согласования действий крестьян и рабочих широкого района.

— Гуляй-Поле, с его революционной частью крестьян и рабочих, имеет уже опыт и авторитет у населения других районов, — говорил я терновцам. С этими районами нужно во что бы то ни стало связаться, прежде, чем начать открытые действия. Открытое действие требует организованности. Кроме того, оно должно быть достойно революционной организации. Это значит, что необходимы: революционная определенность в цели и упорство в практическом дерзании. Надо согласовать пути и действия, при помощи которых нам всем, в разных концах района, области и всей Украины, придется непрерывно, не зная усталости и отдыха, подавать сигналы, звать всех угнетенных тружеников деревни и города на борьбу и давать живой пример в этой

борьбе. В Гуляй-Поле, в революционную часть его населения я верю. Оно пойдет на этот подвиг с открытым лицом, и с честью будет защищать его. Вот почему я советую не только вам, товарищи, но и всем, кого я видел до встречи с вами, связаться с Гуляй-Подем и согласовывать с ним ваше выступление против насильников.

И мы решили связаться с Гуляй-Подем. За этой связью поехал я и со мною два товарища из терновцев. Но мы доехали только до села Рождественки. Здесь меня встретили мои старые товарищи, которые, по причине бушевавших в Гуляй-Поле репрессий, сами оставили его. А репрессии эти разбушевались, главным образом, на почве того, что гуляйпольские крестьяне отказывались свозить обратно помещикам урожай с отобранной у помещиков и кулаков земли.

Немецко-австрийское командование распорядилось по своим и гетманским карательным отрядам принудить крестьян-бунтарей, силою штыка, тюрем и расстрелов, свозить их урожай в амбары помещиков и кулаков.

Это сообщение остановило меня на три дня в Рождественке, где я постарался тщательно проверить все полученные сведения. А проверив, возвратился снова в Терновку.

Терновская молодежь была рада моему возвращению. И я решил действовать пока в этом районе. Окружавшая меня крестьянская среда к этому действию была уже подготовлена. Поэтому я, не задумываясь, сразу же толкнул ее на путь вооруженных нападений на помещичьи имения и кулацкие хутора, с целью разгона из этих контр-революционных гнезд всех группировавшихся в них бездельников, разного рода хозяйчиков и охраны.

Лозунг наш был: Смерть всем, силою немецко-австрийско-гайдамацкого штыка дерзнувшим отымать у крестьян и рабочих революционные завоевания. Этот лозунг воодушевлял крестьян. Они запрягали лошадей в брички и, не взирая на недостаток в огнестрельном вооружении, бросались на помещиков и кулаков, на раз'езжавшие по району немецко-австрийские и гайдамацкие отряды, и сражались с ними.

При одном из нападений на помещичье имение, мы наткнулись на хорошо вооруженную охрану. Она состояла исключительно из немецких солдат. С трудом, нам все

таки удалось разоружить охрану. Но хозяин, вместе с офицерами охраны и офицерами из Синельниковского гарнизона, которые часто группами стояли у этого помещика и были как раз в это время у него, забаррикадировались в доме „барина”, решив защищаться. Картина была жуткая. Крестьяне, оцепив дом, требовали от помещика удалиться из имения, забыть, что он хозяин. Крестьяне требовали этого на основании, что он в дни революции покинул имение, в дни же контр-революции, во главе с немецко-австрийскими армиями, возвратился в него и, с помощью этих армий, отобрал у крестьян землю; более того – порол крестьян и загонял их в тюрьмы. Крестьяне не считали допустимым, чтобы этот помещик оставался жить по соседству с ними.

Помещик грозил из дома, что он уже протелефонировал в Синельниково и вызвал немецкий отряд, который, дескать, через час-два прибудет сюда. С этим отрядом он дерзает крестьян-бунтарей и накажет их так, как еще никогда не наказывал.

Крестьяне бросились к дому с целью взять в нем и помещика, и его гостей офицеров. Но последние, будучи хорошиими стрелками, метким огнем отбили наступление. Это заставило меня и другого товарища (Кирилла) подползти к окнам и с двух сторон бросить в дом по бомбе хорошей силы. В результате – сильный взрыв. Помещик и его защитники замолкли. А крестьянам больше ничего и не нужно было. Разграблением имения они не занялись. Батракам рабочим они сказали:

– Вы здесь хозяева. Продолжайте молочение хлеба. Недалеко время, когда вся Украина скинет произвол. Революция снова окрепнет и положит начало тому, как следует поступать с землей и всеми капиталами на ней. Тогда мы с вами встретимся и сообща решим, за что нам нужно будет взяться в первую очередь на этом пути.

Батраки слушали и, вздыхая, спрашивали:

– А не повесит нас барин, когда вы уедете?

Барин, напуганный бомбами, их не повесил. Он перебрался из „своего” имения в Синельниково.

И не только этот барин перебрался поближе к вооруженным силам контр-революции. После ряда наших решительных действий крестьян против помещиков, немало

бар убрались из своих имений. А немецко-австрийские и гетманские карательные отряды сделались после этого менее дикими в своих налетах на села и деревни.

Так крестьяне Терновского района, под моим руководством, входили в роль суровых мстителей всем тем, кто были повинны перед трудящимися за казнь над революционной морали, не из благородных. Тем не менее, крестьяне ее на себя взяли. А я всем, чем мог, помогал им в этой роли. Ибо я хорошо видел гнусную роль буржуазии по отношению к крестьянам и рабочим, по отношению к их правам на свободу и независимость от власти помещика, заводчика и их наемного слуги – государства. Я видел, как буржуазия заставляла крестьян молчать о своих правах на землю; как она, при помощи наемных убийц солдат, расправлялась с теми крестьянами, которые не желали этому ее повелению подчиняться. И я всем своим существом, не зная отдыха, часто не доедая и не досыпая, стремился к тому, чтобы использовать каждую возможность, вопреки нелегальной обстановке моей жизни, побывать среди крестьян, поговорить с ними, указать им, что я считал полезным для революции, и толкать их на путь решительного и смелого действия.

Таким образом, созданная мною терновская инициативная крестьянская группа повстанцев, для организации в этом районе восстания, была окончательно сформирована. Тайно она поддерживалась в своей деятельности широким трудовым населением.

Такое положение вещей скоро позволило властям узнать о присутствии в деревне Терновке какого-то приезжего учителя. Начались розыски. Это принудило меня перебраться в Славгород, а затем в Ново-Гупаловку.

И в Славгороде, и в Ново-Гупаловке я, с помощью товарищей крестьян из деревни Терновки, организовал инициативные крестьянские повстанческие группы. Я не успел, однако, повести их вооруженными против помещиков и немецко-гетманских властей. Я как-то очень быстро был заподозрен агентами гетманской державной варты. Однажды она попыталась схватить меня. К моему счастью, в это время у меня находились два товарища из терновцев и третий, славгородский учитель, социалист-революционер

по убеждениям. Я учил их обращаться с револьверами системы „Маузер” и „Кольт”. Мы оказали агентам вооруженное сопротивление и скрылись.

Теперь я, опять таки с помощью верных мне и делу революции товарищей крестьян, перебрался на правый берег Днепра, в район Звонецкой-Вовниги. Здесь я быстро связался со скрывающимися гайдамаками из „синезупанников”, дивизия которых не то была разоружена по распоряжению гетмана, как заразившаяся большевизмом, не то была только еще предназначена к разоружению. Во всяком случае, часть ее разбежалась с оружием и прятала его по островкам Днепра. По данным информации, сделанной мне рядом гайдамаков, их насчитывалось в этом районе более трехсот человек. По сведениям обывателей, все они были „большевистски” настроены. Но именем „большевиков” враги революции называли тогда всех революционеров. Такое положение дел меня радовало. Я представлял себе эту группу в триста человек внушительной силой, с которой можно начать в более широких размерах поход против врагов революции. И я остался среди них.

С неделю я скрывался, с частью гайдамаков, на одном из днепровских островков, питаюсь одной рыбой, которую мы ловили, тут же варили и ели. Много говорил я гайдамакам о врагах революции, о том, как нужно бороться с ними и т. д.

Но, в этой подготовительной работе я наскочил на их руководителя, который, хотя и заявлял себя „большевиком”, в действительности был сторонником гетманщины без немецко-австрийской поддержки. Он восхищался тем, что она крепнет и, как на факт, ссылался на то, что Раковский от Москвы, а Кистяков от гетмана и гетманщины ведут в Киеве переговоры о признании гетманщины и о мире с нею.

Этот лидер „синезупанников” гайдамаков сильно мешал моей деятельности по внушению гайдамакам идеи всеобщего восстания крестьян и рабочих.

В конце концов, я, с рядом гайдамаков, вооруженных винтовками и пулеметами, покинул днепровские островки и перебрался опять в деревню Терновку. Здесь я оставил пулеметы и часть бывших гайдамаков, а сам, с двумя из них, направился в Гуляй-Поле.

По дороге к Гуляй-Полю, мы останавливались по несколько дней в селах Лукашево, Бразолово, Ново-Николаевка, Рождественка, и, пользуясь тем, что крестьяне этих сел знали меня по революционной работе за 1917-й и весну 1918-го гг., мы пропагандировали среди них идею восстания и организовывали из их среды инициативные группы, наделяя каждую паролями связи с Гуляй-Подем. Таким образом я добрался до Гуляй-Поля, на сей раз уже не один, а с несколькими товарищами.

Глава IV.

ВТОРОЕ ТАЙНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МОЕ В ГУЛЯЙ-ПОЛЕ. ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ ТОВАРИЩАМИ И ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЯДУ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНИЯ КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ.

Как раз в то время, когда я, во второй раз, прибыл нелегально в Гуляй-Поле, прибыли в него из России и мои старые товарищи: Исидор (Петя) Лютый и Алексей Марченко. Я скоро разыскал их, а через них и Семена Каретника.

Встреча с этими товарищами очень укрепила меня в решении не терять времени и во что бы то ни стало перейти к открытой вооруженной партизанской борьбе против врагов.

Помню, товарищ Марченко заикнулся о том, что он в Курске видел многих анархистов и со многими говорил. Они, дескать, тоже стремятся на Украину с целью борьбы против контр-революции.

— Так не обождать ли нам их выступления, тем более, что они группируют свои силы вместе с большевиками, а последние имеют средства вооружения, — говорил он.

Я категорически восстал против этого. Указал товарищам на целый ряд виденных мною во время поездки по России примеров, прямо говорящих о том, что большинство наших товарищей — городских анархистов — не знают

крестьянства и не сумеют к нему подойти. Даже больше того: они, как и марксисты, впали в глупейшую ошибку в отношении крестьянства и считают его реакционно-буржуазным классом, не могущим дать живых творческих сил для революции. — Следовательно, — говорил я товарищам, — надеяться на них, что они придут из России и начнут дело революции среди крестьян, вместе с крестьянами, я считаю недопустимым и безобразным. Ибо наши городские товарищи в деревню не пойдут, а, по примеру 17-го года, окопаются в городах и из городов, через своих посланцев, будут завязывать связь с крестьянством. А крестьянство к такого рода связям относится с недоверием. В особенности, если связи эти крестьян с анархическими группами городов будут завязываться только через брошюрки или через легкий налет митингового пропагандиста. Крестьяне — реалисты. Они требуют от инициаторов конкретных организационных предпосылок для действия. Когда эти предпосылки перед ними на лицо, тогда они, крестьяне, идут на любое действие. Но этих-то предпосылок крестьяне от наших городских товарищей и не дожидутся, даже в том случае, если бы эти городские товарищи были рабочими от городского станка, которые и психологически, и физически связаны с интересами трудящихся, и к которым крестьяне относятся до некоторой степени с открытым сердцем. Но нельзя закрывать глаза на то, что в нашем анархическом движении по городам масса элемента и нерабочего. В нашей партии по городам, как и во многих политических партиях, к сожалению есть много элементов, вышедших из нетрудового класса, притом класса не интеллигентского, а купеческого, чуждого интеллигентности, ибо воспитанного на принципах всякого рода спекуляции и мародерства. Этот элемент широкой крестьянской массе внушает никакого доверия. Опыт моей работы среди крестьян и рабочих в 1917 г., — работы, о которой каждый из членов нашей группы знает, достаточно ярко показал мне, что крестьяне редко когда выслушивали наших товарищей из этих рядов, хотя многие из них были, быть может, более преданы делу нашего идеала и крестьянскому делу, чем даже многие из нас, которые вышли из трудовой семьи, с нею живем и воспитываемся. Мы, готовые пожертвовать своими жизнями, дерзающие поднять широкую тру-

довую крестьянскую массу на восстание, организовать ее и повести в бой со всякого рода врагами как самой революции, так и заметно светящегося в ней некоторыми своими сторонами анархо-коммунистического идеала, — мы не считаться с этим фактом не можем. Мы обязаны считаться с ним, иметь его в виду при всяком нашем деле там, где дело это связывает с нами массы тружеников. Отчасти на этом основании, а отчасти и на основании виденного и пережитого мною во время поездки моей по революционной России, я не могу, подобно товарищу Марченко, питать надежду на то, что где-то наши городские товарищи, вместе с большевиками, группируют свои силы для переброски их на Украину, с целью организовать восстание против укрепившейся немецко-гетманской контр-революции. В эти силы я не верю. В Курске я их видел. Силы эти посредственные. Они будут выполнять наказы большевистских центров и в угоду этим центрам, может быть, когда-либо забредут и в деревню, к крестьянам. Но главное свое внимание и свои помыслы личного, быть может даже спекулятивного характера люди эти сосредоточат в городе, на жизни и деятельности городских тружеников. А деятельность городских тружеников у нас на Украине, в настоящее время, мы видим. Мы видим, как городские труженики, в погоне за куском хлеба, спокойно и мирно работают в строе казненных революцию палачей. И наоборот: мы видим, как трудовое революционное крестьянство бунтует против этих палачей, попадая за это в тюрьмы и под расстрел. Следовательно, надеяться на тех наших товарищей, которые вместе с большевиками идут на Украину из Курска, мы не можем. Силы подлинной революции находятся в трудовом крестьянстве по деревням и в рабочих массах (поскольку эти последние не оравлены ядом власти и не стремятся к ней) по городам. Мы пробрались сквозь рогатки контр-революции к крестьянству, верные сыны которого нас знают и пойдут с нами. И мы должны пользоваться случаем, не терять, в связи с недостойными нашего внимания надеждами, напрасно времени, и действовать на смерть всем нашим врагам, за жизнь революции, нашего в ней идеала и тружеников мира.

— Правда, — подчеркивал я своим старым товарищам, сомневающимся в своих силах, — мы слабы. Мы берем за

грандиозное и ответственное дело, которое требует огромных и разнообразных интеллектуальных сил. У нас их налицо нет. Даже более того: их почти нет во всем анархическом движении. Мы ими очень бедны. Будучи в Москве, я это не только чувствовал, но и видел. И то, что я видел, отчасти дает мне моральное право менее прислушиваться к кому-то и более делать самому. В самом деле, друзья. В Москве я встречался с рядом анархистов – московских и приезжих из других городов. Я встречал среди них выдающихся работников революционного анархизма. Но большинство из них в данный момент не только не находятся, по-моему, на своем месте, но даже занимают в настоящее время не тем делом, каким им следовало бы, с моей точки зрения, заниматься. Многие наши товарищи, от которых есть, кажется, чему поучиться всем нам, читают там лекции, пишут много журнальных статей, но не все эти лекции к моменту. Я был на лекции товарища Рощина. Лекция о Л. Н. Толстом и его творчестве, если не ошибаюсь. Во всяком случае, о Толстом. Эта лекция, несмотря на сопровождавшее ее серьезное вступительное слово товарища А. Борового, ни рабочим, ни близко стоящей к ним революционной интеллигенции, по-моему, не нужна в настоящее время. Ничему революционному она не учит. Ничего конкретного, в связи с переживаемым нашим движением, – движением революции, – моментом, не намечает. А между тем, ее устраивали ответственные работники нашего движения. Работники, по заявлению наших же товарищей из Московской федерации анархических групп, настолько ответственные, что не могут мириться ни с какими ошибками органа этой Федерации, ежедневной газеты „Анархия“, и поэтому не участвуют в нем, а выделились в особый „Московский Союз Идеиной Пропаганды Анархизма“. Здесь, на Украине, в связи с удушением революции и попытками со стороны власти тормозить развитие революции и там, в России, наше движение переживает момент, когда есть над чем подумать, чтобы заставить себя и товарищей заняться насущными вопросами, хотя бы в области влияния на психику трудовых масс. Необходимо развивать и поддерживать в них дух бунта и непримиримости по отношению к попыткам со стороны социалистов-государственников исказить революцию. Лично я над этим уже

достаточно подумал. И мне становится совершенно ясным, что наш революционный путь здесь – путь, вступив на который, мы в районе нашей работы имели значительный успех среди трудовых масс, – верный путь. Нужно иметь лишь мужество удержаться на нем и быть всегда верным тем целям, которые ставит нам наш идеал. Правда, вы можете заметить мне, что мы слабы и мало сведущи в практических положениях анархизма. Я против этого не буду возражать. Напротив, с горечью повторю, что это не так. Но знания практических постулатов нашего идеала нигде нельзя почерпнуть кроме как в нашем непосредственном действии и действии тех широких трудовых масс, во имя которых и силами которых мы до сих пор старались расширять путь развитию революции, борясь со всякого рода попытками представителей разных партий и их правительств всячески исказить подлинную сущность целей нашей революции. Эту сущность трудящиеся с помощью истинных своих друзей, революционеров безвластных, должны наметить и, в процессе решительной борьбы, стараться во что бы то ни стало реально закрепить за своей жизнью. Борьба эта уже началась. По всей Украине крестьяне и рабочие кровно заинтересованы в том, чтобы изгнать отсюда немецко-австрийские контр-революционные армии, низвергнуть гетмана и притянуть ко всенародному революционному суду социалистов из Украинской Центральной Рады, приведших эти контр-революционные немецко-австрийские силы против революции и тем не менее нагло, до сих пор, считающих себя друзьями украинских тружеников. И хотя эта борьба носит пока что слабый, главным образом психологический характер, но отсюда недалеко до того момента, когда она примет характер повсеместного и прямого действия. Отдельные акты такого действия начинают все чаще и чаще давать врагам нашим себя чувствовать. Необходимо эти акты теперь же расширить и участить, придавая им в то же время организованный и идейно устойчивый характер. Об этом на нашей таганрогской конференции я уже говорил. Тогда товарищ Марченко целиком меня поддерживал. Тогда же была вынесена нами резолюция. И я считаю, что эта резолюция не устарела. Согласно ее положениям, я вел здесь работу до вашей, товарищи, встречи со мною. Думаю, что теперь мы эту работу

расширим и выявим в открытом вооруженном наступлении.

Товарищ Марченко, вместо ответа, плакал и целовал меня. Семен Каретник, А. Семенюта, Лютый и многие другие товарищи согласились целиком со мною. Они настаивали, однако, на том, чтобы, до открытого восруженного выступления в Гуляй-Поле, уничтожить руководителей вешенного контр-революционного переворота: Ивана Волка, Аполлона Волоха (оба офицеры), Осипа Соловья (рабочий механик), Дмитренко (агроном; по убеждениям укр. с.-р.), Василия Шаровского (укр. соц.-рев.), командира еврейской роты Тарановского (приказчик лавченки, прапорщик военного времени), взводного командира этой же роты Леймонского (приказчика по профессии, по убеждениям — куда ветер дует), а также и ряд шпионов, во главе которых стояли: старый испытанный шпион Сопляк, И. Закарлюк и Прокофий Коростелев.

С этим мнением товарищей я согласился, но предложил не трогать командира роты Тарановского и начальника артиллерии В. Шаровского.

Против убийства Тарановского я стоял потому, что он не руководил арестами членов Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов и Революционного Комитета. Он лишь, по требованию штаба заговорщиков, сдал, со своей ротой, дежурство по гарнизону; нес дежурство за него его помощник, по приказаниям которого и посылались части роты в распоряжение штаба заговорщиков, чтобы, каждая в своей области, действовала против революции.

Взводный командир Леймонский усердствовал при аресте революционеров; а в то время, когда о нем шла речь, служил шпионом в немецком штабе. Против убийства его, как и Сопляка, Ивана Закарлюки, Прокофия Корстелева, Ивана Волкова, Аполлона Волоха, Дмитренко, Тихона Быка (председатель делегации от заговорщиков к немецкому командованию) и многих других я не возражал. Как и все мои товарищи по группе, я считал этих людей преступниками, достойными смерти именно от руки нашей организации.

Но в то же время, я несколько опасался такого похода против изменников и провокаторов в революции. Опасался я того, чтобы этот поход не превратился в поход и про-

тив еврейской буржуазии. Разумеется, эта буржуазия радовалась действиям еврейской роты не одна, а вместе с русской и украинской буржуазией, явно поддерживая, угощая и всячески восхваляя главных воротил штаба заговорщиков. Но еврейская буржуазия осталась в глазах гуляйпольского населения более заметной, чем не еврейская. Поход против нее мог отразиться в тот момент на евреях вообще, приняв массовый характер.

Вот почему я, повторяю, боялся того, чтобы до нашего открытого выступления против немецко-гетманского призыва, заняться террористическими актами против провокаторов.

Что касается Василия Шаровского, то он, как я узнал, с первого же момента возмутился против совершенного переворота. При передаче штабом провокаторов немецкому командованию орудий, пулеметов и винтовок, которых бойцы вольного батальона не успели полностью попрятать, Шаровский первый решился на то, чтобы сдать немцам орудия и оружие в негодном состоянии. С орудий он снял прицелы и панорамы, а с некоторых даже замки, и все это попрятал с намерением, при первом же удобном случае, передать все эти вещи нашей организации. Об этом он сообщил мне через крестьян, как только услышал, что я нахожусь где-то недалеко от Гуляй-Поля. При этом он старался быть осторожным, чтобы не попасться мне на глаза. Мне было ясно, что В. Шаровский ясно сознавал, что, как член штаба заговорщиков, он должен поплатиться жизнью, так как эта измена взяла ряд жизней революционеров (немецкий штаб их расстрелял).

Но, в то же время, для меня было ясно и то, что В. Шаровский отстал от изменников. Так, несмотря на требования штаба немецкого командования указать, куда делались прицелы, панорама и замки от орудий, он не создался.

С этим поступком Шаровского я очень считался. Кроме всего этого, я знал Шаровского за выдающегося знатока артиллерийского дела и имел в виду использовать его знания в намеченном восстании.

На этом основании я настаивал перед группой своих товарищей, сторонников немедленного проведения в жизнь террористических актов против изменников и про-

вокаторов, чтобы В. Шаровского совсем из'ять из списка изменников, подлежащих уничтожению.

После долгих споров товарищи согласились со мной. В. Шаровский был, казалось, на время вычеркнут из списка на лиц, по-нашему достойных смерти.

Через неделю после этого, члены нашей группы выследили старого и опытного шпиона царского сыска, некоего Сопляка, и убили его.

Убийство этого сыщика вызвало у трудового гуляй-польского населения немалое удовлетворение. Крестьяне с усмешкой перетерпели ряд повальных обысков. Однако, обыски эти повредили нашим нелегальным собеседованиям с крестьянами и даже моему пребыванию в Гуляй-Поле.

Товарищи сторонники немедленного террора против провокаторов, изменников и сыщиков скоро почувствовали правильность моего сопротивления террористическим актам до поднятия крестьян на открытую вооруженную борьбу.

*
* *
*

Переехав в ближайшую от Гуляй-Поля деревню Марфополь, я использовал все мое идейное влияние на своих товарищей в том направлении, чтобы организовать ряд повторных крестьянских вооруженных нападений на многочисленных вокруг Гуляй-Поля помещиков и их охрану.

Гуляйпольские крестьяне выделили из себя около сотни вооруженных бойцов. Деревня Марфополь и Степановка тоже. Поход против помещиков и их наемной охраны начался. Скоро смерть и разрушение постигли тех из помещиков, которые, при отобрании у крестьян завоеванной ими земли, живого и мертвого инвентаря, занимались сами или заставляли своих наемных немецко-австрийских и гетманских собак запарывать крестьян до полусмерти плетьюми и засекать шомполами.

Но этот поход крестьян против помещиков вынудил меня, со всем основным ядром нашей организации, опять расстаться с районом.

Правда, мы (я, Марченко, Каретник, Лютый, Ф. Рябко и прибывшие на сей раз со мною из-под Днепра товарищи)

сделали серьезную попытку удержаться в нем. Мы переехали на лучшие наши нелегальные квартиры в самом Гуляй-Поле. Однако, через день, немецко-гетманские власти, с помощью своих лучших шпионов, раскрыли нас и в одно утро застали меня, Марченко, Лютого и двух приднепрянцев еще в постели.

На наше счастье, в этой группе солдат и вартовых был человек, который однажды попался нам в руки и обещал покинуть службу вартового. По моему настоянию он остался на этой полицейской службе, с целью добывать и сообщать мне через своих родных все сведения, какие мне нужны из боевой жизни немецких карательных отрядов и связанной с ними гетманской варты.

Это был молодой и серьезный парень, беженец из Волыни во время мировой войны. Попал он в Гуляй-Поле со всей своей родней, которая, вследствие безработицы, сильно голодала. Он поступил на полицейскую службу временно, чтобы выйти самому и вывести своих близких из положения голода. Зная меня по революционно-общественному посту еще до немецко-австрийской оккупации Украины, этот молодой человек поклялся мне и моим товарищам, что он хочет служить делу революции, но нужно спасти родителей от голода. И он в царстве гетманщины не может переезжать с места на место, чтобы найти работу. Поэтому, — сказал он, — поступил здесь в вартовые.

Мы снабдили его семью мукой и салом, но, повторяю, я настаивал, чтобы он остался на посту вартового.

Вот этот-то молодой человек первый соскочил с лошади и громко крикнул хозяину нашей квартиры:

— Ты кого у себя придержишь?

Его крик был нами услышан раньше, чем дом был окружен цепью убийц. Мы выскочили в противоположное окно дома полуодетые, оставив даже несколько бомб в изголовье своих постелей.

Заскочив в комнату, где мы спали, этот вартовой опять-таки первым бросился к нашей постели. Увидев бомбы, он быстро прикрыл их разной одеждой, делая вид, перед своими коллегами по полицейской службе, будто он тщательно перетрушивает эту одежду. Этим он спас хозяина квартиры от расстрела.

А мы, перебежав ряд дворов и затем захватив у одного крестьянина лошадей, сбежали в другую деревню.

Мы надеялись, что, хотя мы уже и открыты (многие кулаки видели нас во время перебега через их дворы), нам все таки удастся, до открытого восстания организованных и организуемых нами крестьян, удержаться, если не в самом Гуляй-Поле, то хотя бы в ближайших от него деревнях. Мы считали эту возможность удержаться здесь настолько важной для организуемого нами дела, что готовы были ради успеха на любой риск.

Однако, сила контр-революции разбила наши надежды.

В один из наших переездов из деревни в деревню мы наткнулись на карательный немецко-гетманский отряд, в перестрелке с ним потеряли двух товарищей убитыми и долго не могли отделаться от преследования. В конце концов, мы ушли, но зато покинули нужную нам деревню, оставив далеко в стороне и самое Гуляй-Поле.

Потом мы попали в такую деревню, где чуть не половина всех крестьян сидела в тюрьмах, в распоряжении немецко-австрийских и гетманских „особых комиссий”. Это положение деревни произвело на нас удручающее впечатление. Кое-кого из нас охватило даже тяжелое разочарование в организации задуманного восстания крестьян. Нам казалось, что все наши начинания в этом направлении напрасны; что мы слишком малочисленны и слабы. И становилось больно за свою малочисленность и слабость.

Но, в то же время, мы все были упорны и поддаваться надруганию над революцией не намеревались.

Мы готовились к жестокой, необходимой для дела освобождения трудящихся от власти буржуазно-капиталистического общества, борьбе. Больше того: мы уже боролись с этим обществом. Но борьба наша все еще носила частичный характер. От этого сознания мы страдали. Это кое-кого из нас заставляло иногда впадать в уныние, вплоть до чувства безнадежности углубить нашу групповую борьбу и превратить ее в борьбу широких крестьянских масс.

Видя настроение товарищей, я настоял перед ними на том, чтобы еще раз вернуться в Гуляй-Поле.

Когда мы вернулись, я переодетый в дамское платье, сделал соответствующий грим и, с товарищем Лютым в качестве барышни, пошел в центр села. Здесь мы намерева-

лись взорвать весь штаб немецко-австрийского командования над Гуляй-Польским районом. Штаб этот расстрелял слишком много революционных крестьян и еще большее количество загнал в тюрьмы, откуда эти безымянные революционные бунтари забирались и расстреливались.

Однако, взорвать штаб нам не удалось.

В момент первого нашего подхода к помещению штаба в нем никого не было. Я и тов. Лютый были против того, чтобы бросать бомбу в пустой штаб, не казнив никого из палачей революции.

Второй наш подход был очень удачным. В зале штаба, видимо, все были в сборе и веселились.

План был таков: один миг, и товарищ Лютый убивает часового, который прохаживается под окнами, а я бросаю шестифунтовую бомбу в зал, и мы проскакиваем через двор Никущенко (соседний со штабом) на набережную и далее к речке. Путь нашего бегства очень удобен для нас и охраняется товарищами: Каретником, Марченком, Рябком и другими.

Но когда мы подходили поближе к зданию штаба, мы заметили, что в зал веселящихся вошло несколько дам с детьми. Дамы садились, а дети подходили к окнам и, указывая друг другу в сторону соборной площади, мило смеялись.

Товарищ Лютый обратился ко мне:

— Вы готовы? — И начал было отделяться от меня в сторону часового.

— Стой, Петя! — кричу я ему в полголоса и сам отхожу от тротуара к ограде церкви. Лютый почти подбежал ко мне и взял меня под руку:

— В чем дело? — спрашивает.

— Нельзя убивать детей и женщин. За что они должны погибнуть среди палачей? Нужно выждать, — сказал я ему. И мы начали ходить взад и вперед среди гуляющей публики, обмениваясь фразами и чуть не бранясь. Петя настаивал, чтобы ни с чем не считаться:

— Момент удачный, и штаб должен быть взорван, — горячася, шептал он мне. Я уговорил его удалиться от площади к кинотеатру. По дороге спешно раз'ясняю ему, что задуманный нами акт — серьезный и ответственный акт. Он должен послужить, как мы это уже и обсуждали, не

только агитацией, но и прямым сигналом к открытому и решительному выступлению нашей повстанческой организации во всем районе. Смерть же при этом акте невинных, быть может, женщин, а главное, безусловно невинных детей, вызовет у населения района и к самому акту, и к нам не симпатию, а вражду. А это может погубить все наше дело.

Товарищ Лютый долго не хотел соглашаться со мною. Но видя, что я говорю с ним без каких бы то ни было ужимок и колебаний, а категорически и решительно, последовал за мною. Мы направились к набережной. По дороге встретили С. Каретника, Марченко и других товарищей. Я сообщил им, почему мы не взорвали штаб. И мы, оставив центр Гуляй-Поля, возвратились на свои, отдаленные от него, нелегальные квартиры у крестьян.

На другой день наше решение взорвать штаб немецко-австрийского районного командования подверглось более спокойному пересмотру. Я и С. Каретник пришли к тому, что, в сущности, уничтожение штаба карательных немецко-австрийских войск не столько принесет пользы организации восстания, сколько может ей повредить. Нам не дадут возможности работать среди гуляйпольцев. А вооруженная революционная сила была на лицо, пока что, только в Гуляй-Поле и прилегавших к нему деревнях. Поэтому мы поставили вопрос перед остальными товарищами: не лучше ли нам еще раз объехать район, еще раз убедиться в твердости революционного духа крестьян по району? Товарищи Марченко, Лютый, Рябко и другие настаивали на том, чтобы штаб взорвать теперь же, не откладывая на будущее. Они требовали от всех товарищей присоединиться к их предложению.

— Ивана Яковлевича (так они меня тогда называли) не пускать в центр Гуляй-Поля. Мы сами бросим бомбы. А если погибнем на месте преступления, то Иван Яковлевич должен будет организовать серьезное отомщение нашим палачам.

Я лично не противился этому их предложению, хотя и боялся, что они, в пылу страстной ненависти к палачам, сделают все, но неудачно. Мне почему-то казалось, что они убьют и часового, и всех, кто на подходе к штабу будет им мешать, но самого штаба не уничтожат.

А Семен Каретник прямо запротестовал против этого их предложения, мотивируя свой протест тем, что уж если решить уничтожить штаб, то метание бомбы поручить только Ивану Яковлевичу, как наиболее хладнокровному и умеющему хорошо обращаться с бомбами.

И товарищи решили сделать все для того, чтобы расчислить мне путь к окнам здания штаба. Вечером мы пошли опять в центр Гуляй-Поля. Сколько воодушевления проскальзывало тогда в каждом из шедших со мною!.. Увы, по дороге мы встретились с нарядом державной гетманской варты и нельзя было его обойти. Мы должны были отряд остановить, скомандовать вартовым руки вверх и похватать их.

Среди схваченных оказался и голова (шеф) варты. Нужно было его повесить на первом же попавшемся огороде. Но так как среди этих вартовых был и наш человек, который нами один раз уже был схвачен и не уничтожен потому, что был сторонником революции, и теперь исправно и во время информировал нас всегда обо всем, мы тут же решили никого не уничтожать, а отпустить на этот раз их всех, и самого шефа, живыми и невредимыми.

Все они были отпущены. Но это же решение помешало нам совершить задуманный акт. Произведенный задержанием наряда шум заставил штаб устроить облаву по всему Гуляй-Полю. А это заставило нас в ту же ночь покинуть Гуляй-Поле.

Глава V.

В ПУТИ: ПО РАЙОНАМ И ВОКРУГ ГУЛЯЙ-ПОЛЯ.

Мы выехали из Гуляй-Поля в районы под Синельниково-Славгород.

На этот раз наша поездка по району оказалась настолько затруднительной, вследствие рейсирования по нем гетмано-немецко-австрийских карательных отрядов, что мы вынуждены были лишь по два-три человека перебираться из одного села в другое. И даже при такой осторожности мы двух товарищей потеряли. На них наскокил один из

немецких карательных отрядов и, так как они не сдавались, стрелял их, как кур на расстоянии.

Так, проезжая, а кое-где переходя пешком из села в село, мы связывались с организованными нами ранее инициативными группами, давая им руководящие указания общего характера.

Мы добрались опять к берегам Днепра, в район, где хранилось несколько пулеметов и винтовок. Здесь я посоветовал крестьянской молодежи ряда деревушек и села Васильевки собраться и в последний раз заслушать мой доклад о том, когда мы, гуляйпольцы, думаем выступить открыто против гетмана и немецко-австрийских армий и больше в подполье не залезать.

Через три дня крестьянская молодежь этого района собралась. И я, в последний раз, одушевленный несокрушимым революционным энтузиазмом, выступил перед нею с докладом на тему: когда мы, гуляйпольцы, выступим по пути открытого вооруженного единоборства с палачами революции на Украине, с чем мы выступим, и какой беспощадный метод борьбы мы будем стараться применять по отношению к этим палачам и поддерживающей их буржуазии.

Молодежь этого района не один раз уже слушала меня, до этого дня говорившим о наступлении близкого часа расправы трудящихся подневольной украинской деревни над ее врагами. Но она еще не слыхала меня говорящим с таким под'емом чувства негодования против палачей и, в то же время, надежды, что торжеству их скоро наступит конец, — нужно только решительно и повсеместно действовать всем, и старым, и малым труженикам. Это я чувствовал сам, и это молодежь отметила мне при расставании со мной. Друг перед другом и передо мной, перед моими близкими из Гуляй-Поля, молодежь эта поклялась теперь в том, что она, при первом же выстреле из Гуляй-Поля, восстанет повсеместно, разгонит чиновников правительства гетмана, займется разоружением немецко-австрийских воинских частей и, твердо держа знамя восстания в своих трудовых руках, сольется с угнетенными города воедино, во имя углубления и расширения общего и единого фронта революции и торжества, через эту революцию, идей свободы и права на самоуправление тружеников без опеки государства.

Следует, впрочем, отметить, что я и мои близкие из Гуляй-Поля, хотя и рады были такому воодушевлению крестьянской молодежи, которая увлекла и стариков за собой, предпочитали, все же, быть осторожными в своей радости, так как вести из Гуляйпольского района получались далеко неблагоприятные.

Однако, колебаниям уже не было места ни в одном из нас.

* * *

22-го сентября 1918 г. мы, приготовив нужные нам ручные пулеметы и пулеметы системы „Максим“, захватили с собой нескольких товарищей из Тернового и Васильевки и выехали в направлении Гуляй-Поля с расчетом покрыть девятистоверстное расстояние за девять часов.

По дороге, невдалеке от села Лукашево, с нами встретился конный гетманский отряд под командой двух офицеров. Сам я тоже был в форме капитана. Блеск моих погон видимо внушал руководителям этого отряда доверие, и он подпустил нас к себе на 70—80 шагов. Это дало мне возможность стать во весь рост на тачанке с пулеметом, с которым я ехал впереди, и скомандовать конному гетманскому отряду остановиться и сдать оружие.

Но отряд, в мгновение ока, схватил свои винтовки с плеч и взял их на изготовку.

Наш „Максим“ затрещал, и пули его пролетали над головами всадников. Они все соскочили с лошадей и дали сигнал о сложении оружия.

Повстанцы быстро их окружили и разоружили.

Допрашивая офицеров, мы выяснили, что они — помещики. Один из них — поручик Мурковский. Он еще весной организовал на свои средства отряды помощи немецко-австрийской оккупации Украины, а теперь руководил конным отрядом Александровской государственной стражи.

Мы, в свою очередь, назвались карательным отрядом по борьбе с революционерами. Я и мои товарищи отрекомендовались. Я сказал, что прислан из Киева, по распоряжению самого гетмана, в этот бунтарский Александровский уезд, чтобы навести в нем расшатанные революцией порядки.

Далее начальник разоруженного отряда объяснил мне, где он со своим отрядом был, и куда направляется. Направлялся он в имение своего отца, погулять день-два, поохотиться за дичью и за крамольниками в ближайших от имения деревушках. Рассказал он мне и о том, в каких деревнях и хуторах впереди моего пути стоят немецко-австрийские войска; где, какого количества и рода оружия, и в каком направлении, передвигаются из деревни в деревню карательные отряды. И, вообще, начальник этот настолько разболтался передо мною о доблести своей и карательных отрядов в борьбе с бунтующим революционным крестьянством Запорожья, что не заметил нервно вздрагивающих, при выслушивании его, моих глаз, губ и вообще мускулов лица. Под конец разговора, начальник сказал мне:

— Может быть, угодно вам будет пожаловать с нами в наше имение? Поужинаем и поохотимся на диких уток на пруду. А завтра, если вас ожидает спешное дело, съедемся в путь.

Я зло рассмеялся и ответил ему:

— Вы, господин поручик, меня не понимаете. Я задался целью борьбы с негодяем гетманом и его опорой — всей контр-революционной сволочью, с немецко-австрийским юнкерством во главе. Вы, по-видимому, не узнали меня? Я — революционер Махно. Фамилия вам, кажется, достаточно известная, не правда ли? Я, со своим отрядом, несую смерть всем палачам и убийцам свободы и жизни трудового народа Украины и революции, через которую трудовой народ завоевывал себе свободу, а палачи ее казнят...

Начальник бросился на колени, делая попытку схватить меня за ноги, чтобы поцеловать. Его подчиненные тоже упали на колени. Но когда я сделал три-четыре шага назад от него, он начал сперва рвать на себе волосы, а затем, придя в себя, предлагать мне под'ехать с ним в имение, и он даст мне сколько я захочу денег.

Из рядов его подчиненных тоже посыпались предложения подобного же характера. А шурин начальника, тоже офицер (или во всяком случае носил офицерские погоны) прямо заявил мне:

— Сколько вы, господин революционер Махно, захотите денег, я и мои родственники вам не дадут, но двадцать тысяч рублей я вам обещаю.

Мои хлопцы, держа перед каждым их этих жалких людишек винтовки на изготовку, не выдержали. Они расхотались над их предложениями денежного подкупа и закричали мне:

— Вы думаете этих негодяев пощадить?

— Конечно, убивать их нельзя, — сказал я друзьям: — У нас нет данных об их зверских действиях в борьбе с революцией, против тружеников. Повяжите их и быстро отвезите в сторону от дороги, саженой на сто, сто пятьдесят, и бросьте их там где-нибудь в ложбинке. Ночью их никто не развяжет, а могут их развязать только на утро пастухи или кто либо из проезжающих по полю крестьян. За это время мы будем совсем в других районах, за Днепром. (Слово „Днепр” я упомянул умышленно, для отвода глаз. В действительности мы держали путь на Гуляй-Поле).

Но разоруженные наемные слуги гетманщины в это время кинулись убежать во все стороны. Мы бросили лошадей и подводы, и все, как один, бросились за ними в догонку. Кого легко настигали, тех хватали и сводили к подводам; а кого трудно было поймать, тех пристреливали.

Офицеров и нескольких рядовых вартовых мы поймали. Мои хлопцы снова закричали мне:

— Вы и теперь еще будете нянчиться с ними?

— Нет, видно, это — верные слуги негодяя гетмана и немецко-австрийского юнкерства, — ответил я своим на их возмущенный крик. И тут же добавил: — Сегодня они пытались подкупить меня, завтра попытаются подкупить других и, быть может, наскачат на слабых и подкупят. Нет, нет, пощады им никакой! Отпустить тех, кто служит за деньги палачам революции и помогает им уничтожать нас, тружеников, мы не можем, — тем более после этой их попытки убежать от того, чтобы не быть связанными и молча пролежать известное время где-либо в поле, пока мы, не прошившие их встречаться с нами, уедем дальше...

Я даже не успел сформулировать свое конкретное решение, как поступить с этой частью отряда. Мне пришлось лишь посмотреть, как она выстраивалась бойцами на растрел, и добавить ко всему сказанному:

— Не возитесь же долго!

И остаток этого отряда был расстрелян...

Теперь мы сели на лошадей этого же отряда, хороших и сильных лошадей, ибо они почти все были „собственностью” бывших их всадников. То был момент, когда помещики и кулаки, идя в гетманскую конную державную варту, приводили с собою своих коней.

И мы, зная теперь, где в деревнях и какие стоят немецко-австрийские войска и гетманские отряды, пустились далее по дорогам к Гуляй-Полю.

Мы от'ехали пять-семь верст от места уничтожения отряда и проезжая мимо старинных барских усадеб, раскинутых по земле „пана Миргородского”, когда из одной из этих усадеб выскочил нам навстречу голова Лукашевской державной варты, тоже поручик, и спросил:

— Не знаете ли вы, что за стрельба была в направлении, откуда вы едете?

Я ему ответил:

— А вы — начальник варты, и не знаете, что делается в вашем районе? Мы никакой стрельбы не слышали...

Начальник варты расвирипел и выпалил по адресу военных карательных отрядов:

— Все военные отряды получают деньги за свои об'езды, но никогда ничего не знают.

Я его грубо оборвал, а затем спросил:

— А вы кому служите?

— Державі та її голові, Вельможному Панові Гетьманові Павлові Скоропадському, — последовал ответ.

— Так вот, возитесь нам с вами некогда, — сказал я ему и, обратясь к товарищам, добавил:

— Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище. Оставьте на нем все как есть, но пришипьте на груди ему записочку с девизом: „Нужно бороться за освобождение трудящихся, а не за палачей и угнетателей...”

Уничтожение отряда с помещиком Мурковским во главе, уничтожение головы Лукошевской варты, это были лишь дорожные эпизоды, но еще не действия наши против контрреволюции.

— К действиям решительным, не знаям колебания, мы только готовимся и начнем их из Гуляй-Поля и его района, — твердил я сам себе и всем друзьям повстанцам, мчась без остановок, в ночную пору, через хутора и деревушки, нередко занятые немецко-австрийскими войсками, погруженными в сон, за исключением часовых. Но при встречах с часовыми нам очень помогали в эту ночь фуражки с желтыми околышами, погоны и куцые бесхвостые лошади уничтоженного нами отряда.

23-го сентября 1918 г. мы вскочили в Гуляй-Поле. Но оказалось оно полно немецко-австрийских войск. Нас спасло только то, что мы не перескочили мост, ведущий в центр, а свернули влево и окраиной Гуляй-Поля проскочили его.

Оставаться в Гуляй-Поле было невозможно. Мы оставили в нем только одну подводку с пятью бойцами, лошади которой отказались следовать дальше. Наши бочанские (окраина Гуляй-Поля) крестьяне, не взирая на утро, могущее их выдать, в мгновение ока спрятали и эту нашу подводку, и людей, и лошадей. Нам, гуляйпольцам, обидно было, что именно мы не можем остановиться в это утро в Гуляй-Поле. И мы с Бочанской стороны перескочили в Песчанскую, надеясь, что в этой, самой отдаленной от центра окраине мы разместимся. Тем более, что в этой части Гуляй-Поля имелись самые лучшие наши нелегальные квартиры. Но оказалось, что в ней идут облавы всю неделю, и не исключена возможность, что мы будем сразу же накрыты. Поэтому мы, снова выехав на дорогу, направившись в деревню Марфополь, в 5—7 верстах от Гуляй-Поля.

Когда мы в'ехали в эту деревню, то солнце уже подымалось. Следовательно, прятаться в деревне было нельзя. Да и квартиры, в которых мы должны были остановиться, оказались пустыми. Хозяева и хозяйки их — крестьяне — были все переарестованы немцами и сидели в Гуляй-Поле

под строжайшей охраной, как укрыватели „опасного, но неуловимого Махно и его близких товарищей”.

Это обстоятельство заставило нас направиться в поле, в поисках удобной балки, где можно было бы, скрыто от прохожих и проезжих людей, остановиться, погасить лошадей и самим отдохнуть.

Как только мы выскочили за деревню, в поле, мы сейчас же свернули в сторону одной из больших и длинных балок: в так называемую Хундаеву балку. Здесь мы остановились. Обставили место расположения пулеметами при одном дежурном пулеметчике, расседлали лошадей, а других распрягли и пустили пастись. А сами легли, чтобы прилечь.

Но не долго нам пришлось отдыхать. На нас наткнулись пастухи, к которым, в час обеда, с'езжаются многие из Гуляй-Поля доить коров. Естественно, увидев нас, пастухи начнут рассказывать об этом с'езжавшимся к ним. Первы и без того натянуты, а тут еще черти несут пастухов...

Подымаюсь я сам. Решил открыть себя. Иду к пастухам. Созываю их в одно место. Об'ясняю им, почему мы остановились в этой балке. Убеждаю, что они об этом нигде ни словом не должны обмолвиться. Говорю им о том, что нужно бороться с немецко-австрийской армией, с гетманом и его правительством, с законами этого правительства; и что они, пастухи, должны в этом помогать борющимся хотя бы тем, что не выдавать их, если увидят, властям или их секретным агентам, так называемым шпикам.

Об'ясняю им, что борьба борющихся против немцев и гетмана должна превратиться в великую украинскую крестьянскую революцию, и тогда мы, труженики, их победим. Спрашиваю их мнения о том, что сказал им. А они остановились (все это я говорил им на ходу, идя вслед за коровами) и, разинув рты, молчат. Почему? Оказывается, они перепугались, неожиданно увидев меня. Начинаю их уговаривать быть смелыми и хорошими сынами трудового крестьянства. А они мне рассказывают, что им известно, что я набрал у гуляйпольских крестьян много денег и убежал в Москву. Купил там роскошный барский дом и живу в роскоши, а о крестьянах даже и не вспоминаю.

Я добиваюсь, где и от кого они все это слышали. Они говорят:

— Нам многие из наших буржуев говорили; да и прокламацию немецко-австрийского штаба читали.

И тут же один из них побегал в свой пастушечий курень и принес мне эту прокламацию на украинском и русском языках.

Я, прочитавши эту прокламацию, начал было их убеждать, доказывая, что это буржуазия умышленно брешет на меня, чтобы крестьяне об'единились вокруг нее и боролись против революции и революционеров. На это мои слушатели заявляют мне, что они этой прокламации и не думали верить. — Але нам боляче було тому, що ви виїхали з Гуляй-Поля. А тепер бачимо, що ви повернулися і це дуже добре, — сквозь слезы говорили мне пастухи.

После они снабдили меня хлебом, двумя арбузами и обещали молчать, никому ни слова не говорить о том, что они видели меня. Я их поблагодарил, и на этом мы закончили нашу беседу.

Я хотел уже уходить от них, как вдруг между скотом пробивается к нам т. Лютый. Он был очень сердит, что я так долго задержался возле пастухов и, не спрашивая меня, о чем мы говорили и чем кончился разговор, вынимает из-за пояса револьвер и, обращаясь к пастухам, говорит, указывая на меня:

— Вы видели Нестора Ивановича и меня. Если мы узнаем, что вы где-либо сегодня до вечера проболтаетесь об этом, вы будете убиты.

Несчастные пастухи на смерть перепугались. Пришлось поспорить с Лютым, а их минут десять успокаивать.

В конце концов я склонил т. Лютого к тому, чтобы он перед ними извинился за то, что не выяснив того, как они смотрят на предателей, начал угрожать им. Т. Лютый извинился, и мы расстались друзьями.

*
* *
*

Время приближалось к полдню. Мы поели, и теперь я, предложив товарищам свести к ставу и напоить лошадей и к трем часам дня оседлать их всех, и упряжных из них приготовить, лег, чтобы эти три часа поспать.

Но и в три часа мы не могли сняться со своей стоянки. Слишком уж много проезжало народу по трактовым дорогам, и мы предпочли не показываться проезжим.

Так мы продержались в скучной Хундаевой балке, кормя лошадей и сами отдыхая весь день.

Но к вечеру как-то неожиданно нависла над нами, одна над другой, дождевые тучи, и полил дождь. Это было похуже для нас. Перед нами встал вопрос: что же делать? На ночь оставаться в поле нельзя. Каждый из моих славных друзей обращался ко мне, словно я один виноват в том, что мы очутились в балке, что пошел дождь, что предстоит неизвестное будущее, и как будто только от меня зависит определенное решение о том, что делать.

Я был не в духе. Сердит, сам не зная на кого, скорее на создавшееся положение, и ответил им:

— Если вы, друзья, будете во всем надеяться, что только я один могу придумать, как выйти из создавшегося положения, то мы ни черта не сделаем.

— Брось дурака валять, — закричали Марченко и Каретник, — мы вступаем в полосу решительных военно-революционных действий. Инициатива этого дела — твоя инициатива. Мы и полагаемся на тебя. Мы будем тебе помогать, поправлять тебя, если это нужно будет, но мы всегда считались с твоими предложениями, и мы ждем, что ты скажешь о настоящем нашем положении.

Я рассмеялся и сказал им:

— Если это от меня зависит, если вы хотите, чтобы я решил, как нам следует сейчас поступить, чтобы выйти из создавшегося положения, то я стою за то, чтобы переехать на ночь в деревню Степановку и, в крайнем случае, в Марфополь. А дальше видно будет, что мы предпримем. И чтобы не терять понапрасну времени, — добавил я, — я сейчас же с кем-либо из вас поеду в Степановку, подготовить квартиры для всех нас. Согласны с этим?

Все товарищи выразили свое согласие, и тотчас же, с двумя из них, мы сели на лошадей и поскакали в деревню Степановку.

В деревне мы быстро созвали нескольких крестьян. Я рассказал им, что невдалеке, верстах в семи от Степановки, в поле, под открытым небом, находится наш отряд с пулеметами на тачанках и несколькими всадниками. Оста-

ваться в поле под дождем нельзя. Мы к утру промерзнем и потеряем всякую энергию к борьбе, которую, надеюсь, вы, мол, всемерно поддержите. А потому, отряд нужно перевести в деревню и расквартировать.

Наши крестьяне вообще не любят много говорить. Они тут же снарядили и выслали своих гонцов к отряду, в Хундаеву балку.

После захода солнца, отряд был приведен в деревню и расквартирован.

*
* * *

Почти всю ночь пожилые крестьяне и молодежь провели в беседе со мною о том, как их гетманцы обманывают. Гетманцы им говорят:

— Вот и уважаемый и поддерживаемый вами весь 17-й и весну 18-го года Махно. Он бросил вас и уехал к москалям, к кацапам в Москву. Купил себе там роскошный барский дом и живет себе „припеваючи“. Такие все революционеры, как Махно; они только наживаются на вашем неблагоприятии.

— Все время, — говорили крестьяне, — гетманцы стараются перетянуть нас на свою сторону, чтобы вместе с ними заниматься ловлей революционеров и выдачей их немецким и австрийским властям.

— И что же вы теперь скажете им, когда видите меня в своем кругу? — спросил я их.

— Что ж тут говорить? Мы и раньше знали, что они, гетманцы, нам врут, но мы не могли говорить им это прямо в глаза, нас за это переарестовали бы и поубивали. Теперь же можно, хоть сейчас, пойти ко всем этим провокаторам, забрать их и проучить.

Конечно, степановские крестьяне, как говорили, так и сделали бы, если бы я сказал им: „Да, идемте“, или — „Идите сейчас же и уничтожьте гетманцев“. Но братья за этих провокаторов было не в нашей цели, тем более в эти дни.

Перед нами стояла прямая задача: как можно решительнее перейти самим и призвать все, нами организованные и инициативные повстанческие группы к решитель-

ным вооруженным действиям против гетманщины и немецко-австрийской вооруженной силы, водрузившей гетманщину в стране и целиком и во всем защищавшей ее своими штыками.

Чем отважней и, без всякого политического доктринерства, прямее мы подойдем сейчас же к действиям против контр-революции, — твердил я каждый день своим друзьям и товарищам по группе анархистов-коммунистов, — тем лучше трудовое крестьянство нас поймет, и тем скорее мы его подыдем, в широком смысле этого слова, на борьбу, организуем его и, через его организованную революционную мощь, поставим во всей полноте, и перед самими собою, как инициативной силой авангарда революции, и перед трудящимися вообще, вопрос о задачах украинской революции, которая, хотя и явится продолжением русской революции на Украине, но, по характеру и антигосударственному духу, будет украинской революцией. Размах волюнтаризма, размах независимости, духа свободы и революционной самостоятельности примет здесь специфический характер украинской шири, которая стремится вывить себя на просторе, и притом именно так, как того требует реальная действительность, т. е. учетом как сил самих разворачивающихся событий, так и сил, сопротивляющихся этим событиям.

И спасибо моим друзьям: они предоставили мне полное право мыслить именно в этом направлении и обдумывать наши организационные действия только в этом духе.

Последовательное развитие этих моих мыслей и связанных с ними практические действия нашей организации совершенно оторвали меня от городского анархизма того времени, как от какой-то абстракции, искусственно, по моему, толкнувшей лучших моих идейных товарищей в городах на путь нереальности, безжизненности, совсем далеко в сторону от практического дела революции и нашего анархического движения в ней.

В селе Степановке я лишний раз подчеркнул это своим товарищам. И хотя я получил от них резкую отповедь, вроде: „Ты слишком зарываешься“, и т. п., мне становилось все яснее, что надеяться в настоящий момент на город, в смысле влияния нашего городского движения на ход разворачивающихся событий, не приходится. Городская ненор-

мальность расшатала силы нашего движения в городе и повергла их в тяжелое, все более дезорганизованное положение.

За такими мыслями и разговорами со степановскими крестьянами и со своими друзьями и товарищами, теперь уже составлявшими отряд и кое в чем мне подчинявшимися, я провел всю целиком ночь и следующий день. И лишь на другую ночь мы, предварительно сговорившись с крестьянами деревни Марфополь, переехали в эту деревню.

Здесь у нас было особо важное совещание, после которого я написал ряд пакетов в Гуляй-Поле и другие волости, к нашим инициативным группам (которые нами понимались, как подотделы моей группы), и разослал эти пакеты через нашего марфопольского курьера.

На запрос нашей группы у гуляйпольцев, готовы ли они к открытому выступлению, мы получили в тот же день ответ: „Присутствие ваше, Нестор Иванович, здесь необходимо. А поэтому мы настаиваем, чтобы вы в эту же ночь переехали к нам“.

Мы посоветовались между собой. Назначили Марченко и Каретника на мое место в отряде. Я приготовился в ночь на 26-е сентября перебраться из Марфополя в Гуляй-Поле. Однако, не успел. Нас предупредили, что сюда направляются гуляйпольская варта и немецко-австрийские карательные части. Они, по обыкновению, два-три раза в неделю делали свои дикие налеты на деревушки и учиняли обыски. Искали оружия и неблагонадежного в политическом отношении элемента среди крестьян. И вот, как раз в этот последний день они совершили налет на деревню Марфополь.

При этом налете, одна из карательных частей наскочила на наше расположение. Хозяева квартиры, где находились я, Марченко и Петя Лютый, с одним пулеметом и прислужкой к нему, растерялись. Им, ведь, грозила верная смерть. Но ввиду того, что и мы, и они об этом наперед знали, растерянность хозяев нас не могла тронуть. Мы решительно и быстро постановили дать должный революционный отпор наглым налетчикам. Поэтому, спешным делом, мало задумываясь над последствиями нашего решения, я приказал (вопреки „священным принципам“ кабинетного анархизма) в оперативном порядке своим друзьям бросить верхо-

ввы лошадей у их корыт, снятые седла прикрыть половой, соломой и чем попало, а выхватить со двора лишь тачанку с пулеметом, на которую я сам сел, предупреждая первого номера пулеметчика сохранять максимум хладнокровия и действовать пулеметом только тогда и так, когда и как я прикажу.

Мои беззаветно храбрые и честные друзья бросили все, кроме карабинов и патронов, в своих квартирах и, через дворы и огороды, отступали вслед за мною, ехавшим, стоя на тачанке, с пулеметчиком и кучером, управлявшим лошаадьми.

Человек 22–25 немцев, австрийцев и вартовых бросились за нами, крича: „Стой!“ и целясь в нас. Я крикнул кучеру:

– Поворачивай лошадей назад и держи направление параллельно бегущим негодьям!.. Гаврюша, возьми прицел!

Гаврюша (пулеметчик), словно присосался, прилег к пулемету. Кучер же, с лихорадочным волнением, но быстро, повернул лошадей в указанном направлении и, как бы теряясь, нервно натягивал вожжи, будто хотел остановиться. Каратели-налетчики приблизились к нам уже шагов на 20 – 25, направляя дула своих карабинов прямо на нас.

Я поднял левую руку и крикнул этим негодьям:

– Пан, стой, не стреляй! Мы – милиция.

Со стороны врагов раздался злобный ответный голос:

– Яка міліція?

И они как будто перестали целиться в нашу сторону.

Я крикнул Гаврюше: „Бей!“ И сам выстрелил в сторону нападавших. Пулемет „Максим“ заговорил, как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших не устоял. Все упали, частью, разорванные пулями, частью легко раненые, но притворившиеся убитыми.

Товарищи, отступавшие в спешном порядке, быстро окружили нападавших и предложили им подняться. Тех, которые позалезали в кусты и оттуда отстреливались, расстреляли тут же. Несколько раненых подобрали и увели с собой. Затем бросились – одни выхватывать своих, оставшихся по дворам крестьян, лошадей и седла, другие в погоню за убегающими немецко-австрийскими солдатами и гетманскими вартовыми, не успевшими попасть под наш

пулемет. Я лично, с тремя товарищами, кинулся к телеграфным и телефонным столбам, ведущим к Гуляй-Полю, и перерезал на них провода.

Товарищи, бросившиеся в погоню за убегающими солдатами и вартовыми, поймали нескольких из них. Среди пойманных оказался и начальник гуляйпольской варты. Последний был тут же пристрелен. Солдат и рядовых вартовых мы забрали на свои подводы.

– Как же быть с убитыми? – мгновенно мелькнуло у меня в голове. – Ведь за них гетманское правительство и немецко-австрийское командование взыщет с крестьян деревни. (То был период, когда за каждого погибшего немецкого и австрийского солдата или вартового, – погибшего в самой ли деревне или на земле этой деревни, – власти взыскивали с крестьян этой деревни, в виде расстрела известного количества крестьян и наложения на всех крестьян тяжелой денежной контрибуции, которая должна была быть внесена в указанные часы. Невыполнение контрибуции каралось новыми расстрелами крестьян, конфискацией имущества и т. п.).

И я тут же распорядился, чтобы сбежавшиеся нам на помощь крестьяне взяли лопаты и, подобрав все трупы убитых, вывезли их за деревню, в помещичий лесок, и там прикрыли бы их землей или просто так бросили бы их там...

Трупы были подобраны и вывезены из деревни в помещичий лесок.

Мы же, попрощавшись с крестьянами, выехали в направлении села Туркеновки и по дороге, как бы обходя это село, остановились в одной из балок. Здесь я опросил захваченных в плен. Среди них оказались два человека украинцев галичан, из австрийской армии. Мы с ними сговорились написать под мою диктовку письмо к немецким и австрийским солдатам, в котором наша повстанческая организация предлагала им не слушаться своих офицеров, перестать быть убийцами украинских революционеров, крестьян и рабочих, и палачами их революционного освободительного дела, а убивать своих офицеров, которые привели их на Украину и делают из них убийц лучших сынов трудового народа, и уезжать на свою родину: творить там революцию и освобождать своих угнетенных братьев и сестер. „В противном случае, – подчеркивалось в этом

письме, — украинские революционные труженики, под знаменем восстания против власти ваших офицеров и поставленного ими гетмана Скоропадского, принуждены будут убивать и вырезывать всех вас поголовно, вместе с вашими офицерами и агентами гетмана, как убийц и палачей...”

Вручив это письмо пленным и отпустив их, мы сами, на их же глазах, тронулись в одном направлении. А как только наступила ночь, мы свернули влево, а затем назад, и остановились в 17-ти верстах от Гуляй-Поля, в деревне Шанжаровке.

Глава VI.

НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИЕ ВОЙСКА В ДЕРЕВНЕ МАРФОПОЛЬ ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЯ НАМИ ИХ ОТРЯДА. МЫ В ГУЛЯЙ-ПОЛЕ.

Как только мы оставили деревню Марфополь, туда прибыли войска. По вступлении в деревню, они сразу же расстреляли старшего из хозяев той квартиры, где я с гг. Марченко и Лютым сутки помешались. Затем согнали сельский сход. Перепороли шомполами тех из крестьян, чья физиономия не нравилась озверевшим офицерам. Кое-кого из крестьян арестовали и отправили в Гуляй-Поле в штаб, где их пытали и истязали при опросах. И потом уже наложили на всю деревушку непосильную, в шестьдесят тысяч рублей наличными, контрибуцию, которую крестьяне в течение суток должны были собрать между собой и внести в их штаб, в Гуляй-Поле.

Многие крестьянские семьи не в силах были внести требуемое с них палачами. Начались избиения прикладами, порка шомполами этих крестьян. Стоны избиваемых в этой деревне быстро долетали до нас: вести о событиях распространялись всюду по другим деревням и селам Гуляйпольского района. Но в этих столах не чувствовалось отчаяния, и этого-то обстоятельства глупые палачи не понимали и не учитывали.

Само собою понятно, что наглого насилия по отношению к крестьянам деревни Марфополь со стороны немецко-австрийских и гетманских сапоропов ни мы, ни крестьяне простить этим непрошеным хозяевам и властелинам не могли.

На другой же день мы, посоветовавшись между собою, разделились: товарищи с берегов Днепра и из некоторых других районов выехали сейчас же в свои местности, с целью ни минуты больше не ждать, а повсеместно выступать и решительно действовать, увлекая на этот путь все лучшее и преданнейшее делу революции в крестьянстве. Мы же, гуляйпольцы и обитатели других сел и деревень перебросились в само Гуляй-Поле, из которого в это время главные немецко-австрийские силы выехали в район — охотиться за революционными крестьянами, оставив в нем лишь одну роту своих солдат и усердно ей прислуживавших человек 80 гетманской варты.

В Гуляй-Поле мы совсем раздробили свои силы и разослали их по району, оставив для Гуляй-Поля всего навсего семь человек во главе со мною. Наша гуляйпольская организация, которая все время оставалась в нем, в следующую же после нашего прибытия ночь постановила созвать в ближайшую ночь все свои вооруженные силы неподалеку от Гуляй-Поля, в открытом поле, чтобы я мог видеть этих бойцов и поговорить с ними.

Выезд крестьян в одном направлении из Гуляй-Поля был подозрителен и для них очень рискован. Тем не менее, с'ехалось более четырехсот человек. В каждом из нас, совершенно нелегальных, рождались новые силы. Мы были переполнены желанием борьбы за волю и независимость трудящихся, за революцию и ее идеалы, за построение на их началах свободного общества тружеников.

Я лично, да и я ли только, глядя на боевые крестьянские колонны в открытом поле, на стройные их ряды, расчувствовался. Хотелось тут же лишний раз спросить своих близких, иногда подтрунивавших над моими, часто резкими, выпадами по адресу родственников нам по идее городских групп, обращавших мало внимания на деревню, на ее живые и плодотворные силы, — хотелось снова спросить их о том, кто же виноват, что эти силы до сих пор не организо-

ваны в стране вообще. Однако, я тут же сознавал, что на эту праздную болтовню нет времени.

Мы все сели, а кое-кто даже лег на землю, и занялись разрешением вопроса: когда и в каком направлении начнем мы свою революционную атаку из Гуляй-Поля, а затем и по всему району, атаку против немецко-австрийских армий и гетманских банд.

Все высказались: в следующую ночь!..

Тогда были сделаны указания: пешанам и гурянам с вечера занять все пути входа и выхода из Гуляй-Поля со стороны сел Федоровки, Воскресенки и Полог, где стояли внушительные по количеству силы немецко-австрийских войск. А бочанцы, ярмарковцы, подолянцы и вербовцы (все это — районы Гуляй-Поля) пойдут в центр Гуляй-Поля и, захватив его в свои руки, разгонят гетманскую варту и немецко-австрийскую роту, по возможности захватывая пленных, чтобы уничтожить весь их штаб.

Затем все мы спокойно и тихо разбрелись по своим квартирам.

Эту ночь ни я, ни мои близкие друзья не спали. Я писал две прокламации, с надеждой, при занятии центра Гуляй-Поля, сейчас же их отпечатать и распространить по всем районам, которые наша организация взялась организовать и поднять на борьбу. Товарищи обдумывали детали плана намеченного действия.

На следующий день в Гуляй-Поле возвратилась еще одна рота немецко-австрийских экспедиционных войск. Мы, было, немного беспокоились, но не отменили задуманного на вечер действия. Вечером все бойцы во всех районах Гуляй-Поля были готовы к бою, и мы повели наступление. Легко и безболезненно (для себя, конечно) разогнали и немецко-австрийских солдат, и гетманских вартовых. К сожалению, лишь штаба их не схватили: последний раньше всех своих подчиненных сбежал.

Сейчас же по занятии Гуляй-Поля, мы установили своих контрольных на почте, телефонной станции и на станции железной дороги. Я, с товарищем Каретником и с хозяевами типографии, провел ночь и полдня в наблюдении за работой в типографии, и наши листовки были отпечатаны. Одна — в виде призыва к крестьянам поддерживать своими представителями революционно-повстанческий штаб

и смело, не теряя времени, организовывать в своей среде, из добровольцев, боевые отряды и объединять их вокруг штаба с целью выгнать из Украины непрошенных трудовым народом oprичников. Другая листовка раз'ясняла задачи крестьян после изгнания всех этих владык.

Гуляйпольские крестьяне зашевелились. Устроили митинг, на который собрались отцы и матери со своими детьми. Все высказались сами о моменте и запрашивали моего мнения, мнения гуляйпольской группы анархистов-крестьян о том, за что же взяться прежде всего? Что прежде всего нужно освобождать, чему надо прежде всего расширять путь? Чувствовался голос подлинной революции в устах этих, не один раз избитых прикладами, выпоротых шомполами, раздетых, ограбленных и физически временно побежденных тружеников украинской деревни.

Само собою понятно, что, действуя в самом Гуляй-Поле, мы не оставили без внимания и его район. Здесь крестьяне тоже воспрянули духом и взялись за дело своего освобождения. И хотя крестьянам на районе, как имевшим в своем распоряжении мало оружия, местами тут же и попадало, — на них тут же наскакивали гетманская варта и карательные немецко-австрийские отряды и разбивали их, — но дух революции уже носился всюду. И, казалось, еще день, еще два, и гуляйпольцы дружно и мужественно пойдут целым фронтом против своих врагов, пойдут на поддержку другим селам и другим районам. К этому мы стремились и в этом направлении проделали известную работу.

Но нужно отметить, что и австрийско-немецкое командование не дремало. Оно, располагая крупными денежными суммами, успело подкупить, помимо своих шпионов, и многих из рабочих, крестьян-кулаков, купцов и лавочников, и через этих людишек держало себя, почти всегда во время, в курсе наших дел. Не решаясь напасть на Гуляй-Поле с одной какой-либо стороны, оно спешно стягивало свои войска и группировало их вокруг Гуляй-Поля, с расчетом окружить его так, чтобы не выпустить уже больше из него „неуловимого”, как они меня прозвали, Махно с его помощниками.

Это обстоятельство заставляло нас все ночи напролет раз'езжать вокруг Гуляй-Поля, ставить секреты и заградительные заслоны, ожидая наступления врага.

Вдруг, в одно утро, немецкий районный штаб из Полог, австрийский из Покровского и из Рождественки вызывают по телефону Гуляй-Поле, Революционный комитет, просят „господина” Махно к трубке.

Сажусь на лошадь и скачу на телефонную станцию. Говорим. Из Полог предлагают Революционному Комитету или Штабу Повстанчества разрешить ввести в Гуляй-Поле немецко-австрийские войска, численность в батальон. Я отвечаю, что народ этого не пожелает. А если вздумаете вступать в Гуляй-Поле сами, произвольно, то встретим с оружием в руках.

Покровский австрийский штаб запрашивает:

— Правда ли, что Штаб Повстанчества перерезал всех богачей в Гуляй-Поле?

Отвечаю: — Взор. Все богачи сбежали вместе с вами.

Австрийский Штаб из Рождественки грозит двинуть свои войска на Гуляй-Поле и уничтожить его вместе с жителями, если Штаб Повстанчества не освободит попавших в плен хозяйственников его войск. Отвечаю:

— Двигайтесь. Посмотрим, как вы будете подмазывать свои пятки и удирать... Тем более, что мы только что вооружили несколько тысяч крестьян, с'ехавшихся сюда, в распоряжение нашего Повстанческого Штаба. Они вас ждут.

Отовсюду телефонные звонки, отовсюду грубая ругань переводчиков немецко-австрийского командования.

Пока все эти „герои” из штабов вели переговоры с революционно-повстанческим штабом (он же и Революционный Комитет), штаб отпечатал еще две прокламации и часть их сейчас же распределил среди крестьянских гонцов (которые должны были развезти их во все села и деревушки, а также, по возможности, и к рабочим, в города: Александровск, „Юзовские Шахты” (теперешний Донбас), Мариуполь; часть же погрузил на свои подводы, считая, что не сегодня-завтра, немецко-австрийское командование двинет свои силы со всех концов на Гуляй-Поле, и нам придется временно опять оставить село и продолжать рейд своим, хорошо вооруженным, но количественно небольшим отрядом по районам, с целью провести агитацию и распространить самому эту часть прокламаций.

Помню, мои друзья увлеклись успехом и хотели верить,

что мы удержимся на сей раз в Гуляй-Поле на весьма продолжительное время, тем более, что из районов начали поступать на сей раз сведения более утешительные. Некоторые наши повстанческие группы одержали победу над гетманскими и немецко-австрийскими карательными отрядами и намеревались прибыть в Гуляй-Поле. Но я был осторожен и убеждал друзей, что увлечение их может привести к непоправимым ошибкам. Следуя увлечению, мы должны будем призвать всех крестьян и рабочих Гуляй-Поля к тому, чтобы дать решительный бой врагу, какие бы силы ни наступали на Гуляй-Поле. Однако, боя этого мы до конца не выдержим. А поражение наше создаст катастрофические последствия для дальнейшего развития наших повстанческих групп, все взоры и помыслы которых обращены к Гуляй-Полю, в ожидании его инициативных идейно-руководящих положений. И я говорю:

— В случае решительного наступления врагов на Гуляй-Поле, мы и на этот раз сейчас же оставим его. Притом мы должны оставить его так, как будто население только слушало нас, но не оказывало нам активной поддержки.

Необходимо отметить, что за все время нашего пребывания в Гуляй-Поле, вооруженное население только по ночам выезжало на заставы вокруг села, на станцию и на другие пункты, в которых могли появиться войска врага. Днем же мы ограничивались силами отряда и некоторыми смельчаками из крестьян.

— Так и должно продолжаться, — настаивал я перед своими помощниками: — мы, в момент натиска на Гуляй-Поле вражеских сил, оставим его, сообщив лишь во-время населению, чтобы оно тщательнейшим образом попрятало оружие и сохраняло мужество и хладнокровие, как ни в чем не бывало: как будто мы своим отрядом произвольно все здесь проделывали.

Мои друзья были очень недовольны таким моим маневром, но решительно против него ни один из них не протестовал. Наоборот, теперь они делали все то, что в совещании со мною обсуждали и решали.

На этом решении наш штаб остановился определенно. Согласно этому, товарищ А. Марченко оповестил о нашем

решении, через моих военных „атташе”, все сотни населения Гуляй-Поля. И лишь теперь наш штаб несколько освободился от кипучей местной работы.

*
* * *

В один прекрасный день, я снова был вызван немецко-австрийским штабом из Полог к телефону. Начальник этого штаба повел со мною разговор: почему я, в своих звонаниях к украинскому трудовому народу, называю немецко-австрийские регулярные войска бандами, а их командиров убийцами, и т. п. Я „раз’яснил”, и разговор наш затянулся.

Я инстинктивно почувствовал, что начальник затягивает разговор со мною с определенной целью, и поспешил предупредить гг. Марченко и Каретника быть особенно бдительными и усилить внимание наблюдателей с колокольни и на заставах. — Сегодня, видимо, враги решили действовать, — говорил я им, — и мы должны своевременно знать, откуда, какими и какого рода оружия силами они начнут это свое действие.

Сам я продолжал оставаться у трубки телефона. За это время наш штаб вызывался из Покровского и Рождественки, но с ними мне не пришлось говорить. Действительно, случилось именно так, как я предполагал. Начальник железнодорожной станции сообщил нашим наблюдателям, что из Полог вышли два воинских эшелона на Гуляй-Поле. Пока кур’ер донес мне это сведение (по телефону сообщить его нельзя было), тот же начальник станции сообщил мне:

— Нестор Иванович, карательные войска, в количестве двух эшелонов, не дойдя до станции, остановились посреди пути, выгружаются и направляются в село.

Я в ту же минуту бросил трубку и изолировал нужные телефонные районные линии. Спешно, с двумя пулеметами, 15–17-ю пехотинцами и несколькими кавалеристами, я выехал за Гуляй-Поле навстречу этим всемогущим „непобедимым” немецко-австрийским боевым частям. Части эти подходили и были уже на пол-дороге к селу своими не развернутыми колоннами. Мы подпустили их еще ближе и

обстреляли метким пулеметным огнем. Тем самым мы заставили их сперва лечь, а затем развернуться фронтом и открыть бешенный огонь со своей стороны.

Мы, задорно смеясь и над своими силами, и над силами и маневрами противника, продолжали изредка, но метко стрелять. А когда заметили с фланга группу его кавалерии, то тотчас же снялись и, перескочив Гуляй-Поле на поперек, закрепились на другой стороне его и продолжали отвечать наступавшим на их бешеную пальбу, сосредоточенную исключительно на колокольне и центре Гуляй-Поля.

За это время к нам подошло несколько десятков вооруженных крестьян, с намерением целиком разделить участь нашего отряда в пути по району. Остальные, около 1000 человек вооруженных, из которых 300–400 человек все время, до сегодняшнего дня, несли службу на заставах по охране Гуляй-Поля, теперь сидели по своим квартирам, ожидая „неожиданностей”, какие в это время вообще создавались.

На этой, Бочанской стороне Гуляй-Поля, мы, стянув все свои подводы, оставались пока не подошли вражеские отряды и с других сторон. (Делали мы это с целью укоротить для врага дневное время). Но подход неприятельских частей с других сторон заставил нас сняться и, сказав населению Гуляй-Поля: — До свидания! Через неделю-две мы возвратимся! — покинуть Гуляй-Поле.

Мы направились в районы Юзово, Мариуполь, чтобы таким образом расширить район своей деятельности и, в то же время, сбить с нашего следа врагов, жаждавших настичь и раздавить нас. По пути мы отобрали у помещиков, кулаков и охранявших эту свору немецко-австрийских солдат несколько тачанок, один пулемет, несколько кавалерийских лошадей с седлами и кой-какое оружие. Кое-кого из помещиков мы уничтожили, заодно с их усадьбами, так как они отстреливались при нашем появлении.

Остановились мы лишь во второй половине ночи в селе Больше-Михайловка (или Дибривки) с его знаменитым Дибривским лесом.

НАША ОСТАНОВКА В СЕЛЕ БОЛЬШЕ- МИХАЙЛОВКЕ. ВСТРЕЧА С ОТРЯДОМ ЩУСЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭТОГО ОТРЯДА К НАМ.

Подъехав к селу Больше-Михайловка, мы решили не везать в него по мосту через речку Волчью. Мы пустили вброд через эту речку свою конную разведку, которая обследовав улицы и выяснив, что немецко-австрийские войска вот уже около трех дней отсутствуют, перевела затем и весь отряд. Это помогло нам тихо проехать через центр села и остановиться на подлесной его окраине. До рассвета оставалось еще 3–4 часа. Отряд наш расположился возле двора одного крестьянина с расчетом охранять себя только с трех сторон. Все, кроме часовых, улеглись спать.

На рассвете к нам собралась толпа крестьянских детишек. От них мы узнали о пребывании в лесу отряда товарища Щуся. Об этом отряде я и раньше слышал. Но тогда он был под командой матроса Бровы, которого я не знал. В описаниях отряд этот изображался как отряд типа кавказских разбойников. Поэтому я его деятельностью не интересовался. Теперь же он оказался под командой товарища Щуся. Последнего я смутно припоминал. Он был славным бойцом весною в отряде нашей гуляйпольской группы, действовавшем против нашествия на Украину немецко-австрийских армий. Т. Каретник помог мне еще яснее вспомнить т. Щуся, так что, в конце концов, я, действительно, хорошо припомнил его, как участника на нашей таганрогской конференции.

Мы все обрадовались, прежде всего, тому, что он, Щусь, благополучно пробрался через фронт из-под Таганрога. Да и то, что он не сидит сложа руки, а действует, нас радовало.

Я постарался тут же выяснить, в какой части леса этот отряд расположен. Я выслал двух гонцов, чтобы они разыскали этот отряд и привели ко мне одного-двух человек от него. Задача была выполнена. После этого я лично выехал в лес к этому отряду.

Товарищ Щусь получил от гонцов мою записку и согласился встретиться со мною. Однако, он не доверял тому,

действительно ли это я, а не кто-либо из агентов гетманщины. Поэтому он весь свой отряд, человек в 50–60, вывел в сторону от устроенного им в лесу неприступного блиндажа, оставив в нем только раненых. Он готовился, если встреча со мною есть ловушка, оказать решительное сопротивление.

Когда я подъехал к поляне, где должен был выйти мне навстречу товарищ Щусь, я увидел выстроенный в карре отряд, наполовину в немецко-австрийском одеянии. Думая, что я влетел в немецко-гетманскую заставу, я быстро повернул назад лошадь, чтобы как либо улизнуть. Но в это время послышался голос:

– Товарищ Махно, это я, Щусь.

В то же время, он отпустил ко мне оставленного у него, как заложника, одного из моих гонцов. Последнее обстоятельство меня окончательно убедило. Я направился прямо на полянку, к отряду. Поздоровался с отрядом и с самим Щусем. Теперь только я, глядя на Щуся, одетого в гусарскую немецкую форму, плотно облегавшую его красивую и стройную фигуру, и вооруженного до зубов, узнал в нем того самого красавца матроса Щуся, которого знал раньше. Мы обнялись и поцеловались. Отряд его был также хорошо, хотя и разнообразно, одет в немецкую, австрийскую, украинскую гайдамацкую форму и в крестьянскую одежду; и тоже был вооружен до зубов. Это придавало ему боевой вид. В отряде чувствовался восторг, когда мы со Щусем облобызались.

Затем я поставил т. Щусю вопрос:

– Что ты, товарищ Щусь, делал с этим отрядом до сих пор, и что намерен делать в дальнейшем?

Ответ был краткий:

– До сих пор я совершал нападения на возвратившихся помещиков и уничтожал их и всех их охранителей, немецких и австрийских солдат.

– А как ты относишься к гетманской варте? – спросил я его.

– Варту я обычно разгонял.

– И только? – переспросил я его.

– Иной работы я пока не предвижу, ибо уничтожаемых мною „гадов” еще очень много.

В этих кратких фразах товарища Щуся для меня было все ясно и понятно. Он следовал в своей борьбе против угнетателей своеобразно им понятным постановлениям наших гуляйпольцев на конференции в городе Таганроге. Поэтому советовать ему что-либо другое в это короткое время я не мог. Однако, видя его теперь лично и припоминая отзывы о нем друзей, я очень не хотел, чтобы он, этот, по натуре своей, по мужеству и отваге, славнейший человек, так безумно сгорел в том способе борьбы, которого он придерживался до сих пор. Подумав, я предложил ему выслушать меня о моих намерениях, о намерениях всей нашей повстанческой организации члены которой, хотя еще и не все, с'ехались.

Я рассказал ему о том, какая работа нами проводится. И в заключение, я сказал ему: — Я прошу тебя, брось лес, выйди со своим отрядом на простор, в села и деревни; бросайся с ним сам, и зови крестьян, и особенно крестьянскую молодежь, в революционную бурю, с ясными, определенными и для всех понятными общими целями, дающими нам, революционерам, право поднять свое оружие, свой карающий меч, вместе с трудовым народом, против всех тех, кто во имя власти и привилегий буржуазии, подымает свой меч против трудящихся, против их воли и прав, задавая целью уничтожить всех нас. Идя в авангарде трудового народа, борющегося против контр-революции за революцию, мы, преданнейшие сыны его, ринемся в открытый бой с нашими палачами...

Товарищ Щусь низко наклонив голову и глядя в землю, долго ни слова не возражал мне. Он лишь изредка посматривал на бойцов своего отряда и спрашивал их, слышат ли они что я говорю. И сам слушал меня. А затем, когда я его спросил, что он может возразить на высказанные мною мысли, он быстро выпрямился и, по-детски улыбаясь, схватил меня в свои здоровенные объятия, выкрикивая:

— Да, да, я пойду с тобой, товарищ Махно!

В отряде раздались возгласы:

— Слава! Слава!

Мы все, — я, Щусь, мои и его близкие друзья, — тут же устроили маленькое совещание о выводе его отряда из леса в село и о том, чтобы не теряя попусту времени, заняться организацией дибровских крестьян.

По окончании совещания, Щусь подошел к отряду и спросил у своих бойцов, как они смотрят на то, чтобы выйти из леса в село, раз'яснив им цель этого выхода. Бойцы решение наше одобрили. Я со своими друзьями уехал к своему отряду, а Щусь начал собираться ехать в село.

* * *

У выхода из леса у села Больше-Михайловка встретились теперь два отряда: отряд дибровчан и отряд гуляйпольцев. Они тут же были слиты в одно нераздельное целое. Новый отряд представлял собою сильную духом и волей боевую единицу. Передо мною теперь с еще большей ясностью представилась будущая наша деятельность. Я тут же подумывал (пока что, про себя) о том, чтобы силами этой единицы проделать большой рейд по-над Юзовым, Мариуполем, Бердянском, по всем селам, деревням и хуторам, с целью агитации и организации бунта, революции и собирания оружия и средств для поддержания этого великого дела.

Одно меня тревожило: в отряде Щуся было несколько человек раненых. Их нигде нельзя было, казалось мне, оставить. Их нужно возить с собою. А это явиться, думал я, большим тормозом для нашего рейда между многочисленными вооруженными силами контр-революции, так как на первых порах некому будет за ними ухаживать, но моя тревога скоро рассеялась благодаря тому обстоятельству, что почти у каждого из раненых оказалась в селе невеста. Эти женщины, при выходе из леса отряда, были уже возле раненых своих друзей и мило за ними ухаживали. А те из них, друзья которых были особо тяжело ранены, сейчас же об'явили себя повстанками, желающими разделить участь своих друзей и всего отряда в походах и в боях.

Теперь мы были окружены многочисленной толпой крестьян и крестьянок и вытягивались из-под леса в центр села. А когда вступили в центр, мы увидели уже возле себя почти все трудовое население. Одни просили сказать, что нужно приготовить на ужин для повстанцев. Другие просили принять их в отряд. Жизнь становилась какой-то напряженной и в то же время радостной.

С первых же дней выступления я был противником того, чтобы об'едать трудовое население, когда можно обойтись без этого. Я попросил собравшееся население сказать открыто, где живут кулаки, имеющие овец, телят, чтобы можно было у них взять две-три овцы на суп бойцам. А к супу крестьяне снесут хлеба, и отряд таким образом будет накормлен.

Население указало кулаков, а некоторые из них сами поспешили откликнуться и предложили нам для отряда по одной овце. Так вопрос с кормежкой бойцов отряда был разрешен самим населением, и быстро.

Воспользовавшись громадным сельским сходом, я провел митинг на тему о борьбе с немецко-австрийскими контр-революционными войсками, гетманщиной и организовывавшимися как раз в то время реставрационными силами генерала Деникина. И так как, на мой взгляд, эта последняя организация была более осмотрительна и более предана делу, чем гетманская, то я и остановился в своем выступлении на ней: на том, как она, с помощью своих отрядов в 20–30 человек, под прямым покровительством гетманщины и немецко-австрийского командования, разгуливает по стране, наводя страх на трудовое население и, в то же время, ведя подготовительную работу. Я указывал трудовому населению, как эта организация, в лице полковника Дроздова и его отряда, в Бердянском уезде проводит свое гнусное дело на службе у гетманщины; а в Мелитопольском уезде агенты какого-то генерала Тилло тоже не дремлют, используя глупую и преступную гетманщину для дела остатков русского самодержавия.

— Против немцев, австрийцев, гетмана и гетманщины мы надеемся поднять такой бунт, какого еще никто не устраивал, и их мы победим. Но не нужно упускать из вида, что на Украину обращены взоры атаманов Белого Дона и добровольческой армии генерала Деникина. Шайки бандитов под руководством опытных офицеров уже рейсируют по нашим районам. Деникинщина и Белый Дон поглядывают на наши районы, усыпанные тысячами помещичьих и кулацких гнезд, богатые немецкими колониями, население которых вооружено до зубов приведенными к нам Радю немецко-австрийскими армиями. В этих районах организация реставрации, деникинско-красновская организа-

ция, чувствует для себя почву. Она связывается с ними и духовно, и организационно, несмотря на то, что главной задачей этой организации является сохранить за собою Кубань и Дон и расчистить себе путь к Москве. Без хорошего тыла она не может обойтись, а таким является юг Украины.

— Вот почему, — подчеркивал я крестьянам, — мы должны, борясь против немецко-австрийской оккупации и гетманщины, за одно с корнем вырвать и уничтожить и зародыши этой белой деникинской организации. Все, что имеет отношение к вооруженной силе этой организации, должно быть сметено с нашего пути. Ибо в этой, так сказать, генеральской организации, русско-монархической по духу, мы усматриваем одного из серьезнейших наших врагов, будущность которого несравнима ни с тщедушной гетманщиной, ни преступно распоряжающимися нашими правами и жизнями немецко-австрийскими палачами. Ни тем, ни другим от нас не должно быть пощады!

Таким призывом к жириковскому населению закончил я тогда свое собеседование. И в крестьянской массе долго повторялось: ни тем, ни другим не должно быть пощады.

А когда я встретился со своими друзьями, то они на меня набросились, почему да зачем я говорю крестьянам сразу об этом. Это их, дескать, испугает, и они, подобно многим рабочим, займут выжидательную позицию в отношении своих врагов. А это приведет все наши начинания в борьбе за революцию к нулю.

Такое непонимание крестьян моими друзьями, крестьянами же, сознаюсь, меня испугало. Быть может я на сей раз целиком разделил бы их мнение. Быть может, если бы я не находился на руководящем посту, я поленился бы серьезно разобраться в общей украинской действительности того времени и сказал бы друзьям своим: вы правы. Или, если бы не сказал этого, то молчаливо поддерживал бы те лозунги, которые они выбросили бы вместо моего: ни тем, ни другим из наших врагов не должно быть пощады!

Но инициативная и руководящая роль моя в основной нашей организации, а теперь и в отрядах, принудила меня быть несколько осмотрительнее и, в то же время, решительнее. Подумав, я без колебаний, считаясь с реальной действительностью, ответил друзьям моим:

— События настолько понятны, что заглушевать их с тех сторон, из-за которых они могут пугать широкие крестьянские массы, не приходится. Мы должны считаться с наличием сочувствия масс к нашим революционным начинаниям и на нем строить. Тем более, что лозунги восстания нами уже брошены. Восстание нами организованных крестьян во многих селах уже началось. Кровь полилась, и полилась она под нашим знаменем и под влиянием нашего лозунга: жить свободно и строить новую общественную жизнь на началах свободы, равенства и вольного труда, или умереть в борьбе против тех, кто мешает нам в достижении этой великой цели. Что же нам, организаторам восстания, остается делать, как не сказать честно и во всеулышание: пусть же сильнее разразится буря в этом восстании! И, сказавши это, отдаться целиком борьбе, руководя ею и помогая ей своевременно находить верные пути.

— Ты прав, — ответили мне, в конце концов, мои друзья, и мы не намерены перерешать того, что нами давно решено и согласно чему мы уже действуем. Нас встревожило передаление из уст в уста расходящимися с митинга крестьянами и крестьянками девиза: ни тем, ни другим из наших врагов не должно быть пощады. Нам кажется, — подчеркивали А. Марченко и Шусь (который сам до сего дня действительно никому не давал пощады), что дибривские крестьяне этого испугались и завтра вряд ли соберутся.

Конечно, беспокойство моих друзей оказалось напрасным. На утро вся площадь и улицы, ведущие к ней, были полны крестьянами. Даже из других сел начали съезжаться крестьяне. Одни, чтобы записаться в отряд; другие, чтобы получить оружие и инструкторские указания.

*
* *
*

Так простояли мы в селе Дибривки еще два дня. Отряд наш разросся до полутора тысяч человек, но из этого количества три четверти было без оружия. Безоружных мы брали только на учет, но не вводили, пока что, в действующий отряд.

На третий день я опять на митинге. Крестьяне выделили из своей среды совет. Опять затронули вопросы об орга-

низации повсеместного восстания крестьян против власти гетмана и немецко-австрийского командования. До позднего вечера я проводил этот крестьянский митинг. А потом до поздней ночи писал инструктивного и оперативного характера распоряжения всем нашим отрядам, действовавшим на стороне от нашего штаба и отряда, и рассылал их, через крестьянских гонцов, по всем районам.

И, как никогда прежде, чувствовал я себя почти одиноким. Как никогда, сердился я на всех своих идейных товарищей из городов, которые теперь менее, чем когда-либо, казались мне достойными того, чтобы их эта широкая крестьянская масса уважала; но которые, будь они среди этой массы, могли много полезного — о, как много! — сделать для нашего движения вместе с этой массой.

Теперь мне хотелось говорить: говорить с товарищами Марченко, Каретником, Рябком, Шусем и другими. Но представленный ко мне, с первого же дня существования нашей военно-революционной организации, товарищ Петя Лютый (почти за моего охранителя) сообщил мне, что никого из них в волостном совете, где я помещался, нет. И я, в тоске, распластался на столе, чтобы поспать.

Вдруг я спохватился, что еще не осведомился о том, как расставлены на переправах в село наши заставы. Я встал, надел на себя оружие и пошел, куда нужно, чтобы узнать обо всем этом.

Все оказалось в порядке. Я зашел во двор совета, где, среди двора, лежали раненые повстанцы из отряда Шуся. Один из них, товарищ Петренко, был тяжело ранен и стоял. Невеста его сидела возле него и плакала. Обидно было, что мы не могли положить его в больницу. Но ничего нельзя было сделать.

— Нужно теперь же хорошо уложить его на подводу на ночь, — сказал я дежурившим возле раненых, — ибо, если будет тревога, тогда поздно будет.

Меня заверили, что все наготове на случай тревоги. Раненые быстро и хорошо будут усажены на подводы. Тогда я ушел в здание совета, бывшее волостное управление, и опять улегся, за отсутствием кушетки, на столе, чтобы хотя немного уснуть. Здесь я получил сведения от Марченка, что он, Каретник и Шусь находятся среди бойцов отряда. Это меня совсем успокоило, и я уснул.

Однако, спать пришлось недолго. Лютый сильным стуком в дверь меня разбудил. Проснувшись, я услышал пулеметную стрельбу. Вскрываю, как ошалелый; хватаю оружие и выскакиваю во двор. Повстанцы все, кроме тех, что стоят на заставах, сбегаются к штабу. Я узнаю, что первыми открыли стрельбу наши заставы со стороны Успеновки и Покровского.

— В чем дело?

— Австрийцы наступают.

Тревога ужасная. Противник из-за речки Волчьей обстреливает из пулемета двор Совета. Убил уже нескольких лошадей от подвод раненых. Щусь и Марченко выстраивают отряд. Тов. Каретник уехал на заставу со стороны села Покровского, где усилился огонь. Сбежалось несколько крестьян, спрашивают:

— Что делать?

Паника несколько растерявшихся товарищей рассердила меня. Врываюсь в их гущу и решительно приказываю вскочить во двор, выхватить со двора на руках все тачанки, пустые и с ранеными, и запрягать в них лошадей, какие есть, на улице, под прикрытием домов.

Марченку же и Щусю было дано распоряжение выстроить взвод по направлению стрелявшего неприятельского пулемета и залпами заставить его сняться или перевести огонь со двора, где наши подводы, и куда он метко попадает.

Тем временем товарищ Каретник, со своим подкреплением и заставой на мосту, отбил назойливого противника и выяснил, что между нападавшими есть солдаты в австрийской форме и есть не военные, штатские люди. Но выяснить, кто именно были нападавшие, австрийцы ли или же помещицы, немецких колонистов или кулацкие карательные отряды, определенно не удалось.

Когда подводы были выхвачены из-под обстрела и лошади в них запряжены, мы решили выгодным для наших сил выехать до утра из села в лес. Тихо сняв свои заставы, мы также тихо снялись и из центра села направились к лесу.

Жуткая картина открылась перед нами по дороге к лесу. Дорога заполнена была крестьянами и крестьянками, со своими маленькими детьми. Полукрича, полуплача, крестьяне говорили нам:

— Не покидайте нас на издевательство нашим угнетателям. Общими силами мы их наступление как-нибудь отобьем.

Становилось больно на сердце слышать этот отчаянный стон поработанных. Но, не выяснив, как велики силы нападавших, и кто они в действительности, каким оружием располагают, мы остаемся в центре села до утра ни в коем случае не могли. Мы должны были скрыть свои силы от противника на случай столкновения с ним. Это отставалось всеми нами. А товарищ Щусь даже и не помышлял о том, чтобы можно было дать бой наступающим в самом селе.

Несмотря на плач крестьянок и их детей, я крикнул по частям: „Дать повод!“ И мы все мелкой рысцой направились к воротам, ведущим в лес.

Нападавшие тоже, видимо, чувствовали неуверенность и страх. Вместо того, чтобы подлустить нас к воротам леса тихо и в темноте, они услышав наше приближение к воротам, зажгли один из крестьянских дворов и начали палить из пулеметов и ружей в сторону нашего движения.

Это заставило нас броситься в другую часть села, к другим воротам, ведущим из села в лес. Но здесь мы были более осторожны. Здесь, прежде, чем пропустить наш обоз в лес, я спешил из него человек 30–35 бойцов и поставил их угольником так, чтобы одна сторона его обстреливала лес в направлении, куда нам нужно было двигаться, а другая — хребет, простилавшийся по ту сторону речки Волчьей, понад дорогой из Успеновки в Больше-Михайловку (Дибривки), откуда было начато первое ночное на нас наступление. Это условие давало нам возможность, в случае не слишком сильного обстрела нас в лоб или с правой стороны (по нашему следованию) безболезненно провести наши обозы и малочисленную кавалерию в лес.

Но, увы! Едва я расставил этим углом бойцов, знавших местность (бойцов из отряда товарища Щуся), и успел крикнуть: „Щусь, давай вперед обоз!“, как из лесу раздался залп приблизительно из 15–20 винтовок и ручного пулемета. Затем другой и третий залп, которые быстро превратились, хотя и в беспорядочный, но частый огонь в сторону, где я находился с этими 30–35-ю товарищами повстанцами.

Я крикнул своим: „Ложись!” и затем: „Огонь в сторону неприятеля!” и тут же дал два-три выстрела сам, из своего карабина. Но, к сожалению, я услышал с нашей стороны только эти свои два-три выстрела. Весь мой взвод убежал в сторону, под прикрытие, где стояли все наши остальные части.

Неприятель не переставал обстреливать намеченный нами проход в лес.

Видя себя одиноким на полянке, да еще осыпаям пулями, я тоже схватился и перебежал к частям, под прикрытие.

Бойцы начали волноваться. Приближался рассвет. Рассвет всех нас тревожил. Мы сознавали, что если неприятель окажется регулярными немецко-австрийскими частями, и в достаточном количестве, то он на рассвете поведет наступление и на лес. В особенности он должен будет это сделать, если увидит, хоть приблизительно, количество наших сил. Поэтому все мы, одни сознательно, другие инстинктивно, сознавали необходимость войти в лес до рассвета.

Видя, что бойцы заволновались, я несколько прикрикнул на них, и на их командиров, и тут же отобрал из них опять не больше 30–40 человек. Затем, я установил в одном из крестьянских дворов пулемет „Максим” и указал, как открыть из него бешеный огонь, в известное время в сторону, откуда стреляет неприятель. А сам, с этими 30–40 бойцами, спустился со двора, через глубокий овраг, в лес и, с фланга, в свою очередь наступая, открыл частый огонь в сторону стрелявшего неприятеля. Сочетание огня с двух сторон и, видимо, меткое, дало себя почувствовать неприятелю. Мы, вступившие в лес, как-то быстро достигли места расположения неприятеля и принуждены были дать сигнал своему пулемету прекратить огонь, так как он поражал уже нас.

Но неприятеля на месте не оказалось. Он бросил нам два или три ящика патронов, 8 подседленных и привязанных к деревьям лошадей, а сам куда-то скрылся.

В скором времени мы овладели полностью проходом в лес и начали переправлять через него оставшиеся в селе наши части.

По лошадям, оставленным неприятелем, мы узнали,

что с этой стороны на нас наступали помещичьи и кулацкие гетманские карательные отряды. Теперь нам оставалось лишь выяснить, сами ли только эти отряды наступают на нас или же они поддерживаются регулярными немецко-австрийскими войсками. На выяснении этого все мои друзья настаивали, за исключением товарища Щуся. Последний предлагал нам сейчас же перебраться в его неприступный блиндаж и сидеть в нем, никому не показываясь, пока войска будут находиться в селе Дибривках.

Я товарища Щуся вполне понимал. Сам он был бесстрашен, но он жалел раненых, жалел село, которое (мы все сознавали) должно будет жестоко поплатиться. Из-за этого он и стоял на том, чтобы прятаться в вырытые им действительно неприступные норы и сидеть в них до благоприятного часа, как это он всегда делал до нашего приезда в село.

Но тт. Каретник, Марченко, Рябко, Троян, Лютый, я, весь наш отряд и добрая половина бойцов из отряда т. Щуся стояли за то, чтобы выяснить силы нападавших и, если они равные, или не в пять и в десять раз больше наших сил, дать им решительный бой. Сделать это позволяло нам еще и то обстоятельство, что все трудовое население села целиком стояло на нашей стороне.

Товарищ Щусь в это время еще не думал о том, что штаб нашей организации может притянуть его к делу в порядке организационных обязанностей. Он нашего совещания до конца не дослушал. Он выстроил часть своих людей и танчанки с ранеными и уехал вглубь леса, по направлению к своему блиндажу. Мы же: я, Каретник и П. Петренко (брат раненого), с незначительной частью бойцов, решили снова направиться к тем воротам, куда мы направлялись из села в первый раз, но откуда, вследствие обстрела, свернули в эти, через которые с трудом пробрались в лес.

Тов. А. Марченко шел с остальными бойцами глубиной леса, держа связь с нами, и со Щусем.

У ворот неприятеля уже не было. Хозяин сгоревшего возле этих ворот дома сообщил нам, что на воротах было около полуроты австрийцев и с десяток помещичьих и кулацких сынков, которые вообще, за спиной немецко-австрийских войск, изощрялись в уничтожении революционных крестьян по селам и в порке шомполами тех, кото-

рые, хотя активной революционности и не проявляли, но не могли скрыть своей ненависти к помещикам и властям.

Сюда же, к воротам леса, начали сбегаться из села крестьяне и крестьянки. Одни доносили нам о том, какие силы угнетателей вступили в село; другие просто не хотели видеть этих угнетателей за обысками и расправой над крестьянами: они покидали свои дворы и уходили в лес, с надеждой, что скоро возвратятся обратно в село.

Мы теперь уже знали, что войск в селе всего около батальона австрийцев, затем отряд человек в 80–100 из помещиков, немцев-колонистов и кулаков, да гетманской официальной варты около ста человек. Сила далеко не равная нашим силам, и это нас угнетало. Я лично внешне не хотел с этим соглашаться и послал в село двух разведчиков, опытных, старой службы солдат пограничников: Василия Шкабарню и еще одного, фамилии которого не помню. Посланы они были с наказом точно выяснить количество неприятеля по роду оружия и место его расположения. Одновременно я послал записку товарищу Щусю, чтобы он с людьми прибыл к воротам. Через два с лишним часа разведчики возвратились с донесением, приблизительно совпадавшим с показаниями крестьян.

Товарищ Щусь отказался прибыть к воротам и приглашал меня со всеми бойцами придти к его блиндажу, где до вечера просидим вместе, а с наступлением ночи раз'едемся куда-нибудь.

Этот ответ т. Щуся меня чуть с ума не свел. Тем не менее я нашел в себе волю сдержать гнев и послал вторично и разведку в село, и записку Щусю. Содержание записки было таково: „Т. Щусь, не будьте малодушным мальчиком. Человеку, приобщившемуся к идее революционного воспитания, занявшему серьезное и ответственное место в его передовых рядах, это не подобает. Это может вызвать во многих, не только из нас, но и в рядах Вашего отряда, недоверие к Вам, как к отважному борцу и руководителю. Поэтому я, Вам не лстя, говорю прямо и требовательно: сейчас же прибыть со всеми, оставшимися при Вас бойцами, к воротам. Здесь будет виднее, что нужно предпринять для выхода из создавшегося положения.

Ваш Нестор”.

На сей раз товарищ Щусь прибыл к воротам. В скорости вернулась и вторая наша разведка, которая принесла сведения о численности неприятеля — те же, что и крестьяне, и первая разведка. Но о месте его расположения сведения теперь были более точные. Противник расположился на церковной площади, а его штаб — во дворе Совета.

— Носятся слухи, — донесли мне разведчики, — что неприятель ожидает подкрепления из села Покровского (14 верст от Дибривок).

— Ага, — говорил я тогда своим друзьям, — противник думает окружить лес и уничтожить нас в нем.

Когда мы говорили между собою на эту тему, возле нас находилось много крестьян, некоторые со своими семьями. Чувствуя, что большинство из них заражается моим настроением, притом настолько сильно, что вмешиваются в разговор вооруженных повстанцев, излагают свои соображения и т. д., я предложил всем своим близким и тт. Щусю и Петренко сделать партизанский налет на противника сейчас же, не дожидаясь, пока он начнет свое наступление на лес.

Командиры раздвоились в своих мнениях об этом предложении. Товарищ Щусь решительно высказался против, считая мое предложение чуть ли не безумием.

Я помню, ответил ему, что и я лично считаю свое предложение безумием, но безумием нужным и выполнимым для революционеров. И, не ожидая на это ответа товарища Щуся, я тут же обратился ко всем вооруженным бойцам и присутствовавшим возле нас крестьянам с речью, в которой, без всяких ораторских красот, просто, как всегда мне приходилось выступать перед крестьянской массой, я подчеркнул, что некоторые из товарищей колеблются совершить налет на наших убийц. Я же лично считаю, что они не поняли всю ту глубину моего предложения, которая лишь со стороны, и лишь позже, может быть понята. Я считаю, что для меня, — полного сил и энергии для борьбы с палачами революции, — для меня, при сложившихся условиях, лучше умереть в неравной, но решительной схватке с этими палачами на глазах терзаемого ими трудового народа и этой своей смертью показать народу, как крестьянские революционные сыны умирают за свою и его, трудового народа, свободу, чем сидеть в лесу и ожидать, пока при-

дут буржуазные сылки и наемные убийцы и уничтожат нас.

С главными положениями речи согласились и многие крестьяне, убежавшие из села в лес и группировавшиеся возле нас. Вооруженным одиночкам повстанцев и товарищу Щусю ничего не оставалось больше делать, как только или сейчас же подкрепить чем-либо новым свое несогласие уйти от нас, или же целиком принять мое предложение, принятое почти всеми, и активно принять участие в обсуждении технических сторон дела.

Щусь был искренним и прямым борцом за народ. Он не мог отойти от нас. И он, в конце концов, согласился на налет.

Тогда все присутствующие вооруженные и невооруженные крестьяне заявили мне: — „Мы с вами, товарищ Махно!“

И вот здесь-то, на полянке Дибривского леса, я впервые от всех присутствующих крестьян услышал:

— Отныне ты наш украинский Б а т ь к о, и мы умрем вместе с тобою. Веди нас в село против врага!

Нужно было быть революционером анархической ориентации, чтобы не увлечься и не пасть перед тем, чем тебя, по наивности, но с открытой душой, честно и с глубокой верой, масса тружеников награждала. Кажется, я таковым был. Кажется, все мои действия подтверждают это...

Мы, инициаторы и организаторы, быстро обменялись мыслями о том, кто из нас, с какими силами, и с какой стороны села, пойдет на этот „безумный“ по своей отваге налет. И я тут же дал товарищу Щусю, с несколькими бойцами при одном пулемете „Максима“, распоряжение, согласно которому он должен был выполнить задачу обходного характера и быть в указанном месте как раз в то время, когда я, Каретник, Марченко и Лютый, со всеми остальными бойцами, атакуем наших врагов.

ДИБРИВСКИЙ БОЙ. РОЛЬ ДИБРИВСКИХ КРЕСТЬЯН В НЕМ. ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО БОЯ.

Итак, налет на вступившие в село контр-революционные войска мы сделаем теми силами, которые были выбраны Каретником, Марченко и Лютым из всего нашего объединенного отряда. А т. Щусь, частью отряда, окажет нам помощь с совершенно не подозреваемой неприятелем стороны, и налет закончится с полным успехом. Так представлял я себе его результаты, не скрывая этого перед всеми бойцами в последнюю минуту раздела их на две группы и прощания друг с другом.

Товарищ С. Каретник был угрюм, но определенно соглашался с этим тоже. И, наконец, товарищ Щусь, уходя от нас, сказал мне:

— А дело наше все-таки будет выиграно! Я вижу это по настроению товарищей повстанцев.

— Ваше мнение, товарищ Щусь, меня очень радует, — ответил я ему, и мы разошлись, т. Щусь в одном направлении, а я с главными силами в другом. В группе, шедшей со мною, было два пулемета „Льюиса“. Это для уличного боя тоже было хорошо.

— Пулеметы, бомбы, винтовки с хорошим запасом пуль, все это хорошо, а вот людей-то маловато, — сказал мне теперь только Семен Каретник.

На это я ему ничего не ответил. Мы рассыпались цепью и шли вместе с бойцами через дворы, перелезая, часто с затруднением, через заборы и загалы (соломенные изгороди), теперь уже молча, в направлении расположения неприятеля. На пути, чуть не в каждом квартале, на улице или во дворах, нас встречали крестьяне и крестьянки, сами или подсылали своих взрослых детей, и говорили нам сквозь слезы:

— Куди ви ідете, їх, ворогів ваших, багато. Ви загинете...

Но никто из нас не смущался. Мы были уже все в роли неприклонных мстителей и только просили крестьян:

— Если вы боитесь за нашу судьбу, то оставьте нас в покое, не внушайте нам тревоги!

А сами, скрепя сердце и заглушая в себе все тревожные мысли, шли все вперед и вперед.

Таким образом мы достигли предпоследней улицы от площади, где стояли сознательные и бессознательные наши враги. В это время, со стороны, одна из крестьянок подскочила к нам и крикнула, указывая на бегущую сзади нас женщину, которая, крадучись от нас, старалась проскочить вперед на ту же площадь:

— Задержите, задержите эту женщину скорее! Это — любовница одного из вартовых. Она бежит сообщить ему, что вы наступаете!..

Не видя, что делается впереди, и я, и Каретник, и ряд шедших за нами других товарищей бросились в погоню за этой женщиной. С трудом нагнали ее. Но она уже начала кричать:

— Банды Щуся наступают! Банды вот недалеко наступают!..

Товарищ Марченко не сдержал себя и ударил ее по голове револьвером. Я крикнул друзьям:

— Завяжите ей рот и тащите к отряду! — А сам схватил товарища Марченко за руку и быстро побежал обратно к отряду, еле дыша. И когда подскочил к крайним товарищам, я почти сквозь зубы им крикнул:

— Передавайте по цепи, чтобы быстро продвигались во дворы последней улицы от базара! Иначе опоздаем...

Через пять минут мы все выглядывали из дворов на церковную площадь и осторожно, по одному, проскакивали на базар, под лавочки. Здесь я в последний раз сказал своим друзьям повстанцам:

— Ну, мы в руках смерти. Кто из нас окажется наиболее отважным, того она не возьмет, тот с нею в силах еще сразиться. Будем же, друзья, безумно отважными, этого требует наше дело! — Я тут же расставил смельчаков, очутившихся со мною под лавочками, целью. Сам, с товарищем Лютым, подполз по-под лавочкой на сторону, откуда видны были почти все силы нападавших на нас австрийцев, помещиков и кулаков. Из австрийских солдат кое-кто сидел, а большая часть лежала. Пулеметы стояли прикрытые брезентиками. А помещики и кулаки, с винтовками и

централками за плечами, сустились чего-то, расхаживая, по три и пять человек вместе, взад и вперед.

Я сейчас же вылез из-под лавочки обратно к бойцам. Здесь меня поджидал человек с донесением от Щуся. От него я узнал, что товарищ Щусь с группой повстанцев уже на своем месте. Возле него группируются крестьяне.

Ни слова не отвечая Щусю (план действия не изменен), я махнул рукой в сторону наших людей, оставленных по дворам вокруг площади, чтобы они перебежали ко мне; а к занимавшим позиции при мне, по-над базарными лавочками, обратился с вопросом, готовы ли к атаке, и тут же подал команду:

— Огонь!

Вследствие того, что австрийцы и помещичьи отряды находились от нас всего в 80–100 шагах, наш огонь был настолько меток, что эти непрошенные пришельцы не успевали сразу стрелять в нашу сторону. Увидев это, я крикнул, обращаясь к бойцам:

— В атаку! Ура!

И мы все бросились в атаку на врагов. В это же время, отряд с товарищем Щусем во главе открыл сильный пулеметный и оружейный огонь по врагам справа. И наши враги бросились панически бежать в сторону села Покровского, кто по узким улицам, кто через дворы села, оставив нам пулеметы, массу винтовок с большим запасом патронов и больше 20-ти хороших подседланных кавалерийских лошадей.

Убегая, враги наши кое-где зажигали крестьянские дома и все, что быстро могло воспламениться в дворах. Часть кулаков и вартовых бросилась в сторону речки Волчьей. Здесь наши льюисты ее загнали в речку. Зрелище неописуемое! Эти господа бросают свои винтовки и централки и, захлебываясь водой, стараются спастись через речку в плаву.

Трудовое население села зашевелилось, точно муравейник. Крестьяне и отважные крестьянки выскакивали из своих дворов с вилами, лопатами, топорами, ружьями, и беспощадно убивали панически убегавших мимо них солдат австрийской армии, гетманских вартовых, кулаков. Нашлись среди крестьян и такие, которые высочили на своих лошадях с вилами или железными лопатами в руках

и окружили врагов в поле, стараясь заградить им путь бегства, чтобы наши пулеметчики скорее могли их настигать на удобных для огня равнинах и беспощадно косить.

В этот грозный час для наших убийц, пришедших в село, чтобы раздавить нас, чтобы покарать революционных тружеников села, а после грабить их, забрать у них, посредством контрибуции, жалкие их копейки, набрать скота, нажраться до отвала, побить все в домах и затем, с раскрасневшимися от звериного напряжения инстинктов лицами, с песней победителей идти далее, в другие села и деревушки, издеваться над правом и жизнью тружеников, — в этот грозный для этих сознательных и бессознательных палачей революции час, впереди не видно было пути отступления. Они бежали в направлении села Покровское, а попадали совершенно в другие села. Так, например, многих австрийцев и грозных „мад’яр” из их отряда крестьяне встречали под Успеновой, под Гуляй-Подем, и даже под Времьевкой, район которой был очень не подходящим, чтобы в него отступать. Встречали их крестьяне всех, почти, босыми, без винтовок, без мундиров и... без шапок. И когда их спрашивали: „Пан, где твоя одежда и оружие?”, то получали ответ: — „Там, на Махна.” (Это значило: „Махно отобрал”).

Так, неожиданным для врагов, внезапным и смелым летом мы выбили из села этих прищельцев-убийц и преследовали их жестоко. Мы хотели показать не только им одним, но и тем, кто их прислал, что преданнейшие сыны революционного крестьянства — крестьяне-революционеры — бывают сентиментальны и могут нянчиться со слепыми исполнителями палаческого дела над революцией лишь тогда, когда они, по ошибке, думают, что сознательные, а главное, и бессознательные палачи могут опомниться и остановиться перед своим черным делом. Но когда находят среди крестьян лица, которые быстро освобождаются сами от этих наивных иллюзий и жертвуют собою во имя того, чтобы помочь освободиться от этих иллюзий и другим своим братьям, тогда к сентиментальности подходят более серьезно и в зависимости от реальных обстоятельств. Тогда всенародное революционное дело, судьба и воля трудящихся в практической борьбе за него ставятся несравненно выше жизнью палачей, даже бессознательных.

Тогда они должны умереть на ряду с сознательными палачами. Это — закон борьбы, к которой я долгие годы готовил сам себя и к которой подготавливал более слабых волею, чем я.

Вот почему мы так жестоко атаковали и преследовали в этом дибривском бою австрийских солдат, гетманских вартовых и разнопородную по своему социальному положению буржуазию, с’ехавшуюся на помощь австрийским солдатам и вартовым.

*
*
*

Итак, бой кончен с большим успехом для нас. Теперь только, возвращаясь с поля, я обратил внимание на село, в котором девять крестьянских дворов, заженных разбитыми врагами при отступлении, совсем уже догорали. Их, оказалось, никто не спасал, не тушил. Крестьяне почти все были за селом. Они стягивали сюда пленных австрийцев и вартовых и, избивая их, приговаривали:

— Коли ми вже здихаємося вас, паршиві ви свині!..

И хорошо, что я наткнулся на них как раз в тот момент, когда они поймали человек 20 — 25 из убежавших австрийских солдат и вартовых и, уже раздев и кое-кого из них избив, готовились линчевать их всех.

С трудом отстоял я этих, теперь несчастных и сделавшихся жалкими, жертв от линчевания и, не отходя от них, провел их в центр села. Здесь пришлось им приготовить ужин, накормить, раненых перевязать и всех, под охраной повстанцев кавалеристов, ночью вывести за село, наказав, чтобы больше не шли против революции, или по крайней мере, чтобы больше не попадались нам. Затем их отпустили по дороге на село Малую-Михайловку, недалеко от которой находится станция Просьяная, где, по данным крестьян, находились австрийские штабы.

Вартовых же гетманской службы, в особенности, если они были из среды крестьян или рабочих, неоднократно уже призывавшихся нами к тому, чтобы бросить эту полицейскую службу и бороться против гетманщины, — решено было уничтожить, как подлых и неисправимых изменников. Все захваченные вартовые были самими же повстанцами дибривчанами расстреляны. Вместе с ними была рас-

стреляна и любовница начальника варты, которая во время нашего наступления, бежала сообщить варте, что наступают „банды Щуся”.

После боя был устроен огромный митинг для населения и для вооруженных повстанцев нашего отряда. Я провел его с особым воодушевлением, зовя крестьян, в особенности с'ехавшихся из района, ни часу не оставаясь без дела в селе Дибривки, а раз'ехавшись по своим деревням, собирать везде лучшие, революционные крестьянские трудовые силы и вместе с ними, не боясь того, что их могут постигнуть на первых порах неудачи, восстановить против своих врагов и насильников.

После митинга, казалось, последнее дело, входившее в задачу дня, было сделано. Я, со своими близкими: Исидором Лютым, Марченко, Каретником, Щусем и другими, а также с рядом крестьян, представителей от села, вместе поужинали. Товарищ Щусь и Петр Петренко были в полном восторге от успешного налета. Они готовы были держать меня в своих объятиях до утра и расспрашивать, что предполагаю я сказать им завтра, когда наступит день и перед нами встанут новые задачи.

Не помню точно, что я им отвечал. Но помню, я просил их, как самых близких и дорогих людей, к тому же хорошо знавших все подступы к селу, по которым враги революции могли подвести свои силы и атаковать нас врасплох, чтобы они позаботились понаблюдать за этими подступами серьезнейшим образом сами, не надеясь на других, именно в эту ночь. Потом, в сопровождении товарища Лютого, я ушел в помещение Совета и опять улегся на стол, на сей раз не раздеваясь и не снимая с себя оружие. Как только улегся, сразу же заснул мертвецким сном.

*
* *
*

В день нашего партизанского налета в Дибривках было не так уж много крестьян из района. Но на утро следующего дня крестьяне стали с'езжаться со всех концов. Ряды наших вооруженных сил начали пополняться с невероятной быстротой. Притом, пополнялись крестьянами, которые готовы были каждую минуту оставить, если нужно, свой

район и уехать с нами, куда угодно, целиком подчиняясь нашим организационным и боевым условиям.

И теперь уже, приложенное к моей фамилии слого „Б а т ь к о” не сходило с уст старых и малых крестьян, обывателей и революционных отрядов. Мне лично казалось и странным, и неудобным слышать обращение ко мне крестьян и повстанцев, вместо „товарищ Махно”, *Батько Махно*, а иногда — „товарищ Батько Махно”. Но эпитет „Батько”, помимо моей воли, прилип к моей фамилии, начиная с дня событий в селе Больше-Михайловка (Дибривки). Он стал передаваться крестьянами, крестьянками и даже детьми из уст в уста: в домах, в семьях, на улицах и собраниях. Слово *Батько-Махно* сделалось единым нераздельным словом в устах крестьянской массы. С каким-то особенным уважением и мало понятными для меня любовью и гордостью оно передавалось крестьянами из деревни в деревню, по всей почти левобережной Украине. Подхватывалось оно и всеми решительно революционными повстанцами и их отрядами, о многих из которых я, до присылки ими в штаб движения своих постановлений именоваться „отрядами имени Батька-Махно” и всецело подчиняться его штабу, ничего не слышал, и не знал вообще, что они существуют.

Я часто спрашивал себя: честно ли допускать до того, чтобы меня так возвышали, чтобы, передо мною же, мои братья-труженики мною так благодарственно восторгались, подчеркивая этим, что они видят во мне человека, неизменно преданного им, и сами искренно во всем доверяют мне?

Часто, как еще часто, в эти же дни и в последующие за ними месяцы, я говорил об этом со своими лучшими друзьями в движении. И они мне говорили: „За вами идут массы! Они дали вам это имя, и вы его не отбрасывайте. Задачи организуемого нами повстанческого движения слишком серьезны. Через ваше имя и наши общие революционные действия нужно завоевать у масс доверие полностью и так же полностью его оправдать. Крестьяне верят вам. Они вам доверяют, потому что вы не стремитесь властвовать над ними. Нужно только стараться, чтобы через это их доверие найти пути подлинного практического выражения для нашего движения”. Эти соображения меня успокаивали.

Две ночи и день прошли спокойно. Многие из нас, чувствуя себя победителями в дибривском бою, жили это время с приподнятым настроением. А то, что „всемогущий“ враг не наступал это время, давало право некоторым из нас подумывать даже о наступлении на него.

На следующее утро решено было выехать из Дибривок. Но, ввиду того, что к нам со всех концов начали съезжаться крестьяне, чтобы записаться в отряд и бороться против власти немецко-австрийского юнкерства и гетмана, мы отложили свой отъезд еще на сутки. Это заставило меня, тревожившегося за становившееся уже опасным наше пребывание в Дибривках (я знал, что враги стягивают в районе большие силы), теперь уже самому об'ехать все заставы вокруг села, кое-какие из них усилить, а кое-где поставить новые. А затем я пригласил с собою прапорщика войны, крестьянина Петренко, в качестве „военного эксперта“, и выехал к лесу, чтобы осмотреть его окружение и наметить на всякий случай, более или менее удобную для отряда позицию.

Отъезд мой занял у меня около трех часов времени. За это время наши наблюдатели и конные разведчики открыли наступление наших врагов в двух направлениях, что заставило меня поспешить возвратиться в село.

Но на обратном пути в село меня встретил почти весь наш отряд, который, сняв все свои заставы и оставив центр села, мчался на своих легких тачанках и бешеных конях к воротам.

Здесь я подробно узнал о наступлении на село врагов. Наша кавалерия, в 35–40 человек, под руководством Марченко и Каретника, и с поддержкой пулеметной команды, выскочила было настречу неприятелю, но, отдав себе отчет в его силах, возвращалась к воротам леса.

Теперь я видел перед собой почти всех друзей несколько расстроенными. Я хотел, было, подтронуть кое-над кем из них, желавших не так давно наступать на врагов, но выстрелы и разрывы снарядов со стороны врага помешали. Я, глубоко вздохнувши, сказал:

— Направляйтесь все в такую-то часть леса, — и сказал кучеру повернуть своих лошадей и ехать вслед за ними.

Тем временем, что мы пробирались по селу к лесу, австрийское командование установило другую батарею и открыло бешеный огонь по селу, бросив одновременно, на обхват села и леса, с одной стороны — с батальон пехоты при эскадроне кавалерии, а с другой — батальон пехоты и два-три эскадрона кавалерии.

В то же время показались тянувшиеся к ним на помощь со всех концов Дибривского района многочисленные мелкие помещичьи и кулацкие отрядики и отряды гетманской варты. Тянулись эти отряды и отрядики уверенно и торопливо, не задерживаясь в селе, прямо к лесу, напевая:

Возьмем Щуся и Махно
И порядок наведем!
Мы — отважные гетманцы,
Все разрушим, все сожжем!..

Мы все сознавали теперь, что бессильны этим силам дать отпор. Тем не менее, не теряя ни одной минуты на излишние в такие моменты разговоры, совещания и пересовещания, мы заняли с двух сторон леса позиции, с которых нас можно было выбить врагам лишь в том случае, если бы мы совсем не имели патронов и не хотели бы защищаться. Другие же стороны леса защищались двумя глубокими в этом месте речками: Каменкой и Волчьей. Следовательно, эти стороны нашего расположения требовали от нас не устройства позиции на них, а лишь наблюдения за ними при помощи незначительных вооруженных сил.

Регулярные австрийские части несколько раз, наступая на лес, пытались сбить нас с наших позиций. Но мы каждый раз легко заставляли их своим огнем или убежать в улицы села, или же ложиться и, прижимаясь к земле, не подыматься, когда им этого хотелось бы.

Отряды же гетманской варты и помещичьи, видя, что регулярные части не могут овладеть входами в лес, даже не пытались атаковать наши позиции. Они лишь издалека беспорядочно обстреливали их.

День приближался к вечеру.

Крестьяне целыми семьями непрерывно бегут из села: одни — в лес, другие, на подводах, стараются убежать в какое-либо из соседних сел. Австрийские войска и гетманцы одних из убегающих крестьян заворачивают назад в

село, у других лишь забирают лошадей, а их отпускают, третьих избивают прикладами, иных кладут на землю и порят шомполами и плетьюми, а кое-кого и пристреливают на месте. Нам, с нашей позиции, хорошо видны все эти надругательства над крестьянами. Хочется броситься на убийц, но нет нужных сил.

Мы ничем не могли помочь в этот час своим друзьям и братьям.

В то время, как одни убийцы творили свое черное дело за селом, над жизнями убежавших крестьян, крестьянок и их детей, другие силы наступавших убийц орудовали в селе. Они ходили группами, из двора во двор, с факелами в руках, и зажигали крестьянские дворы подряд. Село превратилось в сплошное огнище, в величайший костер.

Солнце было на заходе. Огромное село горело. Теперь враги перевели огонь одной из батарей с села на лес и нащупывали наше расположение снарядами, беспорядочно, ушаченным огнем, раскидывая их по всему почти лесу.

А когда солнце совсем зашло и наступили сумерки, они перевели на лес огонь и другой своей батарее, пустив теперь и все пехотные свои части на окружение леса со стороны, нами защищаемой.

Однако, врагам нашим не везло — главным образом потому, что они поспешили зажечь село. Им следовало дожидаться ночи и в темную ночь атаковать наши позиции. В сущности, они этой ночи и дожидались, убедившись, в дневных своих атаках, что им нас с наших позиций ни за что днем не сбить. Теперь же, когда наступили сумерки, они оказались в том же положении, ибо сумерки были где-то далеко-далеко от села Дибривки; в селе же, около него, как и в самом лесу, от пылавшего, зловеще подпрыгивая до неба, пламени, охватившего село, был тот же день. Мы по-прежнему, при каждой попытке австрийских солдат или помещичьих и кулацких отрядов приблизиться к нашим позициям, давали им должный отпор.

Но вот, вдруг, один, а в скорости другой и третий батарейный залп попадает в нашу цепь и кое-кого из нас разрывает или зацепляет не очень-то приятными гранатными осколками. Задавает Щуся, меня и Исидора Лютото. К счастью, меня зацепили эти осколки легко; тт. Щуся и Лютото — серьезней. Мы, с помощью тт. Каретника и Петренко, и

по их настоянию, затушеввали перед остальными бойцами наше ранение, объяснив, что нас лишь воздухом опрокинуло, и не настолько сильно, чтобы мы не могли оставаться на позиции. Однако, ввиду нашего ранения, я, узнав от товарища Щуся, в каких местах наиболее надежно можно перебраться через речку Каменку, не отдаляясь далеко от леса, тут же распорядился сняться всему отряду с позиции и тихо, не разговаривая и не поднимая паники, выезжать из леса, чтобы переправиться как можно скорее через речку Каменку и вдоль ее держать путь на село Гавриловку.

Крестьяне и крестьянки, убежавшие днем из села и все время находившиеся возле нас, увидев наш выход из леса, несколько засуетились. Они хотели, чтобы мы оставались в лесу. Мы их просили не падать духом, клялись перед ними, что весь тот кровавый ужас, который наши враги учинили над селом Дибривки и над его населением, не сегодня-завтра обернется против них. Не сегодня-завтра мы все вооружимся против них средствами, соответствующими их действиям против нас и всего трудового населения. Мы просили крестьян терпеть и готовиться к полной поддержке нашей организации в этом направлении.

Тяжело было нам расставаться с ними, этими тружениками села Дибривки. Они группами окружали меня, Щуся, Каретника и Петренко и, простирая к нам руки, просили нас:

— Дайте нам оружие, мы сейчас же пойдем с вами. Мы сейчас всею душою с вами и готовы так же, как и вы, драться и умереть вместе с вами за свободу...

Оружия у нас не было. Теперь только встал передо мною вполне ясно вопрос о собирании оружия. И мы, чуть не со слезами на глазах, принуждены были оставить всех этих крестьян в лесу и только с боевыми силами выезжать из леса.

Глава IX.

В ПУТИ ПО ДИБРИВСКОМУ И ДРУГИМ РАЙОНАМ.

Мы выехали из леса и перебрались через речку, не замеченные нашими врагами. Быстро привели мы в порядок отряд, подсчитали раненых и убитых. Затем, медленно дви-

нулись вслед за нашей конной и пешей разведкой, которая осматривала каждый кустик, каждую горку, каждую балочку, и этим предохраняла весь отряд от засад и внезапных нападений со стороны врагов. Огнище пожара, охватившего село Дибровки, делая ночь днем, помогало разведке своевременно останавливать отряд, иногда свертывать с дороги и двигаться между кустами, вне дороги, но в направлении, отводившем нас от леса и от горевшего села, окруженного со всех сторон врагами.

Так мы добрались до села Гавриловки, расположенного в 12–15 верстах от Дибровок.

Село Гавриловка также освещалось огнем дибровского пожара, и это не давало покоя гавриловскому населению. Оно все вышло из своих дворов на улицы села, и, направив взоры в сторону Дибровок, обменивалось мнениями об ужасе, постигшем Дибровки. А когда наш отряд, узнав, что в селе нет гетманской варты, в'ехал в улицы села и остановился, все население бросилось к нам с расспросами о том, кто мы такие, кем и против кого ведется артиллерийская стрельба в Дибровках?

Отряду было сделано распоряжение, перед в'ездом в село, говорить населению, что мы „Губернияльна Державна Варта“, и спрашивать у крестьян, не бежали ли через село „банды“ Махна и Шуса.

Такое наше заявление о себе и такие расспросы сразу же отпугнули от нас сознательное трудовое население села. На всех улицах нам отвечали одно и то же:

– Мы таких банд не знаем и о них ничего не слышали.

Но, отвечая на наши расспросы, крестьяне тут же ставили нам свои вопросы:

– А что это горит в направлении дибровского леса? Кто устроил это страшное пожарище? Что за стрельба, с чьей стороны и против кого слышится оттуда?

И когда повстанцы отвечали им на вопросы, „что це ми, Губернияльна Державна Варта, та наши добрі спільники, німці та австрійці, запалили село Дібрівки і що то наши гармати бухкають по лісі куди втікли банди Махна та Шуса з підтримуваними їх злиденними селянами та селянками, котрі лютують проти батька всієї України Ясновельможного Пана Гетьмана та проти його законів“, и т. д., и т. д., некоторые из крестьян злорадно повествовали нам:

– Ага, отак їм і треба! Там десь і наші сини поїхали помогати владі побороти дібрівчан, котрі об'єдналися міцно до купи і ввесь час нас лають за те, що влада німців та батька Гетьмана повернула нам відібрану від нас революцією землю та інвентарь...

Большая же часть, а именно – трудовая часть крестьянства, волнуясь и тяжело вздыхая, почти сквозь слезы спрашивала нас своими многочисленными голосами:

– Братіки, та скажіть же правду, та невже ж ото так таки й запалили все село? А де ж ділися селянки зі своїми дітками? Та це ж не можливо, це ж прямо вбивство... – И некоторые из них, чувствовалось, от злости и ненависти плакали, пытаясь прямо сказать нам, что мы им врем, что это злодеяние совершили не мы над Дибровками...

* После долгих объяснений с ними, они прямо сказали мне:

– Та ви ж, дорогенькі, не є голова Державної Варти, ви є Батько-Махно, а от біля вас – товариш Шусь.

Далее скрывать от них имя отряда и свое я не стал. Я тут же распорядился похватать всех кулаков, „литы“ которых поехали под Дибровский лес помогать власти немцев и гетмана издеваться над революционным крестьянством, и потребовать от них оружие, которым, – я знал, – гетманские и в особенности немецко-австрийские карательные отряды их щедро вооружали, надеясь найти себе в них лучшую опору по борьбе с революцией.

Кулаки были схвачены, и от них было потребовано оружие. Те, кто выдавали оружие и патроны к нему сразу, не принуждая нас к обыску, тут же освобождались. Но кто упирался, уверяя, что у него оружия нет, или что оно было, но сын забрал и уехал с ним под Дибровский лес, а при обыске оружие и патроны к нему находились, тех сами бойцы, которым они лгали, и удержать которых от мести в эти часы никто не мог, расстреливали. Если же таковых приводили в штаб отряда, перед которым наиболее ярко вырисовывалась роль кулаков в сожжении села Дибровок (а оно все еще пылало и напоминало нам о себе, о своих перебитых, убитых и изнасилованных жителях), то штаб – ни над чем другим в эти часы не задумываясь, как только над тем, чтобы дать озверевшим врагам почувствовать, что час расплаты настал, что с ними сентиментальничать никто

из революционных борцов-крестьян не намерен, что их злодеяния над революцией не пройдут им безнаказанно, — штаб распорядился расстреливать их тут же, на улицах села.

Смерть! Смерть! Смерть за смерть каждого революционера, смерть за каждую изнасилованную крестьянку должна постигать каждого немецкого и австрийского солдата и офицера, гетманского вартового или кулацкого сына, действующего вооруженно или нанимающего других драгеев против революции.

Таким был наш первый лозунг в тяжелой и неравной борьбе против непрощенных крестьянами хозяев-убийц, казнивших революцию и попиравших права трудящихся на землю, на хлеб и волю.

Этот лозунг продиктован был нам не кабинетными размышлениями людей, стоявших в стороне от практики, развавшей все схемы и планы, построенные этими размышлениями: он был продиктован реальностью фактов, согласно которым помещики и все кулачье, под организационным предводительством немецко-австрийского юнкерства, группировали свои контр-революционные силы против великой Русской Революции и подымавшей Украинской Революции.

Минутами казалось, что такое отношение наше к помещикам и кулакам, к их главной опоре — контр-революционным немецко-австрийским армиям, нужно серьезнейшим образом пересмотреть. Но в эту ночь нашего отступления из-под Дибривок горело село Дибривки, зажженное австрийскими солдатами, помещиками и кулаками. И в селе Гавриловке нами зажигались и разгорались двory всех кулаков, которые сами уехали или послали своих сыновей „качать“ дибривских труженников крестьян, сжигать их дома, вылавливать и уничтожать крестьянские революционные отряды и т. д.

Момент для пересмотра вопроса о том, как наши революционные отряды должны относиться к помещикам и кулакам, ведущим вооруженную борьбу против Революции, был неподходящим.

Мы снялись из села Гавриловки и направились в село Ивановку. И в этом селе, узнав, что из кулаков выехал на помощь властям разбить дибривчан, сжечь их дома, по-

издеваться над ними и над их стремлением освободиться от непрощенных хозяев и властелинов, мы также зажгли их дома и постройки во дворах, забрали нужные нам подводы и лошадей.

Отсюда мы направились в одну из помещичьих усадеб, расположенную в 4-х верстах от села Ивановки, чтобы накормить лошадей и урвать время посоветоваться о дальнейшем нашем пути. Кроме того, все мы были очень уставшими, и нам необходим был хоть маленький отдых.

Глава X.

НАША ОСТАНОВКА В ПОМЕЩИЧЬЕМ ИМЕНИИ

И ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ ПО РАЙОНАМ.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПОМЕЩИКОВ И КУЛАКОВ — УЧАСТНИКОВ НАПАДЕНИЯ НА ДИБРИВКИ.

Подъехав к имению „барина“, наша кавалерия оцепила его и расспросила батраков сторожей, дома ли „барин“ и вся его семья, как он вооружен, бежал ли из имения в дни революции, когда возвратился и т. д.

Оказалось, хозяин имения не убежал. При отобрании земли и урезывания его в живом и мертвом инвентаре, он оставался в имении и приучался сам работать. Но, с приходом немецко-австрийской армии, с восстановлением на Украине царства гетманщины, возвратившей помещикам отобранные у крестьян силою оружия землю и инвентарь, он все это принял и живет опять по-барски, за счет батраков.

Пока разведчики выясняли через сторожей, что нам нужно было знать, в имении поднялся шум. Кое-кто из преданных „барину“ людей бросился бежать, но не удачно: заставы их частью задержали, частью же перестреляли уже в догонку, как проскочивших заставы и не остановившихся и не отозвавшихся на оклик секреток.

По выяснении всего того, что входило в задачу разведчиков, и после случившейся неожиданности, с ненужными, но по положению неизбежными жертвами, отряд вступил в имение и разместился в нем.

Вступление в имение, естественно, вызвало много шума в его дворах.

Хозяин-барин в тревоге. Он выскочил с ружьем на крыльцо и начал было злобно звать к себе сторожей. Но, вместо сторожей, он увидел перед собой товарища Исидора Лютого, Щуся и меня. Я ему сказал:

— Не волнуйтесь и напрасно не кричите. Сторожа ваши указывают нашим солдатам сараи, в которых можно было бы разместить лошадей.

Барин отвел свое ружье в сторону и, не спросив, кто мы, произнес:

— А, милости просим, господин начальник, милости просим в дом!

Исидор Лютый и Щусь расступились и дали мне дорогу вперед. Мы пошли за барином в дом. Не успели войти в залу, как он, „барин-то наш”, кричит жене, детям и горничным:

— Ложитесь и спите спокойно. Это — свои люди.

И повернувшись к нам, спрашивает: — Правда, я не ошибаюсь, вы — военные, свои люди, вероятно из Александровска или из Мариуполя?

— Нет, нет! Мы из Екатеринослава, Державная Варта, — поспешил ответить ему товарищ Щусь.

— Тем лучше. Мы имеем честь видеть в своем доме высшее начальство охраны государства, — полушутя сказал Щусю барин и в то же время побежал из залы в другую комнату.

Во время отсутствия барина из залы, я попросил товарища Лютого снять с меня погоны и спрятать их. Когда барин вскочил к нам вторично в залу, я был уже без шинели и без погон. Это его несколько смутило. Но я дальше не стал уже ждать, пока он придет в себя и начнет нас расспрашивать снова. Я попросил его созвать всех обитателей этого дома в залу, чтобы я мог их предупредить кое о чем.

Барин побелел, как стенка. Ноги его задрожали, и он, расставив руки и полукрича, вот-вот разрыдается, произнес:

— Так в чем же дело, господа? Вам деньги нужны? Я вам дам их сейчас; только, ради Бога, я вас умоляю, не убивайте меня! — И, всхлипывая, нагнув лицо в пол, стал перед нами на колени. Я и товарищ Щусь подскочили к

нему и, схватив его за руки, подняли его. Он весь дрожал и твердил:

— Я шел против народа. Поверьте, что если бы не сама власть отобрала у народа землю и инвентарь, я сам никогда не пошел бы против народа...

И теперь он плакал, словно маленький мальчик.

Товарищ Лютый, зло усмехаясь над барином, над его жалкой трусостью, ни с того ни с сего выпалил:

— Батько, бросьте вы возиться с ним! Поверьте, что он с вами никогда не возился бы, а поспешил бы, если не убить, то дать вам сапогом в лицо или прикладом по голове...

Я несколько укоризненно взглянул на товарища Лютого, и он замолчал.

С большим трудом я и товарищ Щусь уговорили „барина” перестать плакать и свести всю свою семью, со всеми слугами и служанками дома, в залу, чтобы я мог их предупредить, чтобы они не пытались убежать из имения и т. д.

Пока мы возились с „барином”, „барыня” давно оделась и приказала своим слугам одеться. Это ускорило дело, и вышедший за ними хозяин сразу же привел их в залу. Всем им я сказал:

— Господа, не бойтесь и не волнуйтесь. Ничто плохое вас не ожидает. Я только прошу вас всех, за время нашей стоянки здесь, не делать никаких попыток к бегству из имения. В противном случае имение будет сожжено, скот угоним с собою, а убегающих уничтожим, независимо от того, будут ли они сами хозяева, т. е. бары, или их рабыни — прислуги.

Прислуга, по обыкновенной рабско-лакейской своей глупости, выслушав все, что я говорил, посмеивалась. А одна даже заспорила с нами о том, что ей через час нужно будет готовить для „барыни”, и она везде пойдет из дому, и т. д.

Хозяйка долго всматривалась в нас и, после того, как я сказал:

— Теперь вы все свободны, освободите нам залу, — спросила:

— Кто же вы такие, господа?

Это дало мне повод рассказать ей вкратце, что мы — враги помещиков и кулаков, враги их царя-гетмана, враги

посадивших его на трон немецко-австрийских офицеров и исполняющих их распоряжения подчиненных им солдат.

— Мы, — в заключение добавил я „барыне“, — боремся за волю всех униженных и оскорбленных властью людей вашего, мадам, и вам подобного барского положения, силою которого воздвигаются троны дураков, вроде преступного по отношению к трудовому народу Украины гетмана Павла Скоропадского, строятся тюрьмы для того, чтобы гноить в них тех, кого ложь вашего и вам подобного барского положения делает преступниками и ворами, строятся эшафоты, чтобы казнить угнетенных, и вообще строится много, — несравненно больше того, что можно вам, мадам, еще сказать, преступного по отношению к тем, трудом которых вы живете, за счет пота и крови которых вы и вам подобные бездельничаете, и которым, при малейшем вашем капризе, вы находите себя в праве плевать в лицо, выгонять со службы, ничего не уплачивая, или, по крайней мере, стараясь не платить за затраченный ими на вас до этого дня труд...

Барин сидел и плакал. Прислуги и барчат уже не было. Барыня хотела нас еще слушать и когда услышала от меня, что нам нужно отдохнуть („будьте любезны оставить нас одних в зале“), лишь тогда она, кряхтя и краснея, начала подыматься с кресла и, став уже одной ногой за дверь, все-таки не утерпела переспросить нас:

— Так вы, господа, своей честью заверяете нас, что жизнь наша останется неприкосновенной?

— Пока вы не возьмете в руки оружие, — ответил ей товарищ Лютый.

— Ах, кстати, насчет оружия! — воскликнул товарищ Щусь и тут же, подскочив к хозяину, попросил его сию же минуту снести все огнестрельное и холодное оружие, какое имеется в доме, к нам в залу.

Барин совершенно раскис и просил Щуся сказать об этом барыне.

Товарищ Щусь нагнал за дверь барыню, прислушивавшуюся, о чем мы говорим с ее барином, и повторил то же самое ей.

Через 20 минут все оружие: шашки, кинжалы, револьверы были снесены к нам в залу. И теперь только мы могли покинуть дом „барина“ и выйти во двор, чтобы повидать-

ся с тт. Марченко, Каретником и Петренко и посоветовать с ними о дальнейшем нашем движении.

На дворе близилось к рассвету. Часть бойцов, раскинувшись посреди двора, мертвецки спала; другая часть охраняла место нашего расположения; третья же часть, зарезав двух барских бычков, занималась приготовлением завтрака для всего отряда.

Товарищ Петренко указал мне в сторону села Дибривок и сказал:

— А Дибривки горят, батько.

Действительно, огромное зарево виднелось в той стороне. Я только взглянул туда, но ничего не сказал ему в ответ. Надо сказать правду, товарищ Петренко хотел услышать от меня утешительный ответ. Он был немного растерян в это время. Вместо ответа на его ко мне обращение, я предложил всем встретившимся со мною, кроме дежурившего товарища Каретника, идти со мною в дом „барина“, в отведенную нам залу, и ложиться спать. Мы пошли в дом.

До этого, когда я со Щусем и Лютым вышли из дома „барина“, мы оставили у дверей залы, куда было снесено барыней оружие, часового. Барыня не утерпела и попыталась подкупить его, прося сказать ей правду: кто мы, и что мы думаем сделать с ее семьей?

Все это было, конечно, пустяками. Но повстанец часовой толкнул „барыню“ прикладом в грудь. Она разъярилась и, выхватив револьвер, хотела всадить в него пулю, которую повстанец умело отбил, ударив „барыню“ по руке винтовкой. Теперь она находилась в истерическом состоянии.

Вся эта история нас сильно раздосадовала. „Барыня“ не приходила в чувство нормальной женщины. Я сразу бросился к ней с извинениями за часового, но напрасно: барыня настроилась непримиримо и кричала:

— Вон из моего дома! Вон из моего имени!

Махнув на нее рукой и поставив вокруг дома часовых, мы ушли во двор и там легли, чтобы немного поспать.

* * *

Солнце взошло. Я приподнялся и невольно бросил свой взор в сторону Дибривок (25 верст расстояния). Теперь уже никакого огнища оттуда не было видно. Подымались лишь

черные клубы дыма, закрывая собою синеву неба и своей страшной чернотой напоминая нам вчерашний день, который не изгладится из моей памяти всю мою жизнь.

Я долго лежал и думал об этом вчерашнем дне, долго и с болью на сердце думал о том, как реагировать по отношению к нашим врагам, прямым участникам во вчерашних событиях... Однако, усталость брала свое. Я повернулся на другой бок и снова уснул.

Пока я и бойцы спали, наши дежурные разведочные части, находясь в раз'езде, поймали тачанку с тремя вооруженными немцами, кулаками из немецкой колонии Мариентала. Товарищ Каретник сам не решился их опросить и расстрелять. Он разбудил меня и остальных товарищей.

Я уже знал, что задержаны они нашими разведчиками под именем губернской варты и поэтому, как только подошел к ним, я их спросил:

— Вы, бандиты, почему с оружием раз'езжаете? Где были?..

— Мы не бандиты, мы ездили бить бандитов, — услышал я в ответ. Далее я узнал от них, что они ездили в село Дибривки помогать немецко-австрийским войскам поймать Махна и Шуся и проучить дибривских крестьян, не признававших власти гетмана и немецко-австрийского командования.

— И что же, поймали вы Махна и Шуся? — спросил я их.

— Нет, не поймали мы их из-за трусости регулярных австрийских войск, — ответили мне эти „герои“. — Но за то все село сожгли! — воскликнул один из них.

Я начал нервничать и постепенно становился зол. К тому же, по нашим следам прибежало еще несколько человек крестьян из Дибривок, и товарищ Шусь завел их ко мне. Они рассказали мне, что видели всех этих кулаков в селе, как они жгли их дворы, и что село почти все сожжено и догорает.

Далее я прекратил опрашивать этих немецких кулаков. Перестал и держать себя перед ними, как начальник гетманской варты. Я сам сорвал с себя офицерские погоны и тут же заявил им:

— Больше говорить мне с вами, господа, не о чем. Я есть тот самый Махно, которого вы ездили в Дибривки ловить. А это, — указал я на стоящего сбоку меня Шуся, — мой друг,

Федор Шусь. Мы оба — те самые Махно и Шусь, которых вы ездили ловить, чтобы посмеяться над нами, а затем убить нас и с нами всех тех, кого вы считаете крестьянами-бунтовщиками, не признающими власти гетмана и немецко-австрийского командования над революционной страной...

Слушая меня, кулаки-колонисты судорожно согнули свои колени и упали на землю, крича:

— Товарищ Махно, мы... мы пойдем с вами и будем верно служить вашему делу и вам!..

И что-то еще выкрикивали они, но я не мог уже дольше выслушивать их. Услыхав их первые слова, я схватился за голову и заплакал, убегая из помещения от них и от своих друзей. Больше меня уже не интересовали ни их смерть, ни жизнь. Я видел в них дешевых и подлых негодяев и старался не видеть их.

Я выскочил из помещения, без фуражки, на просторный двор барской усадьбы и, точно помешанный, ходил по этому двору нет-нет да и глядя в сторону Дибривок, откуда по-прежнему виднелись подымавшиеся черные клубы дыма, застилая небо... Потом я попытался остановиться, так как почувствовал в себе какие-то новые вопросы. И уже остановился, но, вместо сосредоточения на этих вопросах, я выхватил из кармана браунинг и совершенно безотчетно, то нажимая на курок, то целуя браунинг, приставил его к виску. Но вдруг я отчетливо почувствовал его холодное прикосновение. Во мне подымалось что-то непонятное, страшное. Я испугался сам себя и постарался увидеться с кем-либо из близких мне людей. Направляюсь к навесу, под которым отдыхал. Под навесом много бойцов уже подымалось. По пути я встретился с Каретником. Он шел сообщить мне о том, что наши раз'езды поймали еще несколько тачанок с вооруженными собственниками „хуторянами“ (кулаками), возвращавшимися по домам из села Дибривки.

— А куда вы дели первых трех негодяев? — спросил я Каретника.

— Расстреляли.

— Убейте и этих собак! Никому и никакой пощады из вооруженных врагов революции с сего дня мы не дадим!..

— Такого же мнения и я, — ответил т. Каретник. — Но, — добавил он, — т. Марченко против.

— С т. Марченко мы поговорим сообща. А пока скажи ему от меня: пусть он положит свою сентиментальность в карман! Он занял, кажется, сегодня дежурство по отряду. Пусть приготавливает отряд к выезду по дороге на Комарь (греческое местечко).

И т. Семен Каретник ушел от меня. Я остался опять один, но теперь я уже не волновался. Я обдумывал цель нашего выезда. Она заключалась в том, чтобы как можно скорее облететь районы и информировать крестьянство о том, что совершила буржуазия, вместе с немецко-австрийскими войсками, над населением села Дибривки. За это время отряд выстраивался и поджидал последних своих раз'ездов.

Я подошел к отряду, поздоровался с бойцами и начал с ними беседу о нашем пути и действиях. Пока окружившие меня друзья-повстанцы выслушивали меня, к нам наши раз'езды подвели еще одну тачанку с тремя вооруженными кулаками-колонистами и четвертым, связанным по рукам и ногам и избитым крестьянином из-под Дибривок. Его эти кулаки заподозрили в революционности и при своем возвращении из Дибривок взяли с собою в свою колонию для пыток.

Я закричал на своих разведчиков:

— Почему вы не разоружили их?

А кулаки отвечают мне:

— Мы свои. Нас не нужно разоруживать. Мы оружие получили от властей...

Но мы их все-таки разоружили.

Избитый крестьянин меня узнал и разрыдался. Его развязали. Он рассказал нам о том, что вообще творилось палачами в Дибривках. От него мы узнали, что в селе наиболее свирепствовали немцы-колонисты из колонии „Красный Кут“.

Записав эту колонию и определив ее место расположение, я предложил этому крестьянину сказать откровенно, что хочет он сделать с этими кулаками, которые его взяли на дороге под селом, избили до неузнаваемости, затем связали и везли к себе в колонию для дальнейших пыток. Крестьянин просто и ясно ответил мне:

— Они дураки. Я им ничего худого не хочу делать.

Но другие крестьяне, ранее прибежавшие к нам, его односельчане, да и вооруженные повстанцы кричали на него,

обзывая его глупым и требуя кулаков в свое распоряжение. Они взяли этих кулаков и тут же отрубили им все головы.

Тяжелая это была картина: уничтожение жизней разнузданных в борьбе с революцией кулаков. Но уничтожение это было необходимо, хотя бы уже потому, что не только мы, передовые застрельщики бунта и революции, перестали видеть у врагов революции какое бы то ни было идейное побуждение в борьбе с нею и начали их тем сильнее ненавидеть, но перестала видеть в них идейных врагов и широкая масса украинских тружеников. Их и масса начала ненавидеть так же, как ненавидел каждый из нас, за их гнусные преступления против народа и против всего лучшего, к чему трудовая масса стремилась.

Скоро собрался весь наш отряд, и мы тронулись в путь на Комарь. В последнем разогнали гетманскую варту и создали все население на митинг. Я и товарищ Марченко выступили на этом митинге. Осветили население нападение буржуазии и немецко-австрийских войск на село Дибривки и все то, что нападавшие учинили над населением этого села и самим селом. Потом обратились к трудовой части населения села Комарь с призывом передать по всему Комарскому району об учиненных над дибривскими крестьянами злодеяниях и восстать с оружием в руках, повсеместно, против буржуазии и ее защитников — немецко-австрийских экспедиционных армий.

В селе Комарь к отряду сразу же присоединилось несколько человек греческой крестьянской молодежи на своих лошадях.

Отсюда мы направились на татарское село Богатырь и провели в нем большой митинг. Потом повернули на Большой Янисель (тоже греческое село) и Времьевку. И всюду неся смерть гетманской варты и разрушение ее учреждений, а также разгоняя немецко-австрийские карательные воинские части и уничтожая их штабы, мы проводили митинги, призывая крестьян, рабочих и трудовую интеллигенцию не сидеть молча и сложа руки под гнетом гетманщины, а решительно выступать самим и призывать других к выступлению против нее, беспощадно вырывая и уничтожая на этом пути все, что от нее исходит против революции и что немецко-австрийские штыки вколачивают в нашу трудовую жизнь.

Времьевские крестьяне готовы были в тот же день к открытому выступлению вместе с нами. Но не было достаточного оружия. Тогда они, не считаясь с завтрашним днем, — с тем, что будет им завтра, когда мы оставим их село и выедем далее, — предложили нам вмешаться в их дела с кулаками, отобравшими у них, при помощи немецко-австрийских войск, завоеванные революцией и превращенные в общественное достояние мельницы и маслобойни, где теперь сымалась с крестьян большая плата за помолы и выделение масла.

Мы тогда отдельно созвали богатеев и кулаков и предложили им отказаться от мельниц и маслобоен в пользу всего общества, став равными и свободными членами его.

В результате серьезных и спокойных наших бесед выяснилось, что положение с этими предприятиями таково, что если хозяева и откажутся от них в пользу общества, то все равно общество ими пользоваться не будет. Гетмано-немецко-австрийские власти скорее их закроют, чем допустят, чтобы в конкретной общественной жизни крестьянства на местах торжествовали принципы Революции.

Повстанческая масса, даже ряд командиров, в особенности, беднота села Времьевки настаивали на том, чтобы взорвать и сжечь эти общественные предприятия.

— Раз, — говорили крестьяне, — власть немцев и гетмана отобрала эти предприятия от всего общества, которое завладело ими по праву завоеваний революции, и передала их опять богатым с угрозой, что, если они откажутся от них в пользу общества, то она их опечатает и закроет, то пусть же их не будет совсем в нашем селе. Прогоним власть, тогда построим новые.

Такое намерение крестьян и повстанцев меня несколько встревожило. Я пошел снова на собрание, на общий сход крестьян. И, на сей раз, мы сообща решили установить временно, до изгнания буржуазии и ее власти, минимальную плату за помолы и выделение масла, оставив эти предприятия в ведении их „хозяев“. Одновременно мы поставили богатым, хозяевам их, на вид, что если они с этим постановлением тружеников не примирятся и, чтобы нарушить его, обратятся за силой немецко-австрийских штыков, то они в любой день поплотятся за это своими жизнями, за которыми повстанческие отряды войск имени Батька-Махно всегда смогут сюда прибыть...

Хозяева предприятий поклялись, что они останутся верны народному решению и будут подчиняться ему.

Тут же, в селе Времьевке, повстанцы узнали подробности о колонии „Красный Кут“.

— Это — немецкая колония, — говорили крестьяне: — она вооружена с головы до ног. Она является руководящим центром борьбы кулаков и гетманцев с революционными крестьянами бедняками. Всего несколько дней назад, из этой колонии здесь раз'езжали гонцы. Они собрали всю варту и многих из кулаков по всему району, куда-то увели их с собою и еще не возвратились обратно. Носятся слухи, что они выехали в какие-то другие районы воевать с повстанцами...

Для меня ясно было, куда все эти гетманские отряды выехали. Это они нас атаковали регулярными немецко-австрийскими частями в селе Дибривках. Теперь они остались в Дибривках и грабят село, или же где-либо плетутся по нашим следам, но не успевают настичь нас, отстают.

Я сказал крестьянам, что мы думаем эту колонию разоружить и спрашивал у них, большая ли она.

— О, — зашумели крестьяне: — Вы ее не разоружите. Она хотя и небольшая, всего 60 — 70 дворов, но она хорошо вооружена. Люди ее — отчаянные стрелки и имеют большие запасы оружия. Они часто обучаются стрельбе из пулеметов...

— Ага, с такими хорошо и сразиться! — раздавались голоса в рядах нашего отряда: — Веди нас на эту колонию, Батько!

И мы из Времьевки взяли направление на эту колонию. В дороге я созвал командиров отряда. Мы заранее распределили роли в предстоящем деле окружения и занятия этой колонии по возможности без жертв. В два часа дня мы ее окружили и повели наступление на нее.

Колонисты только что начали с'езжаться из села Дибривок по домам. Они встретили нас сильным ружейным и пулеметным огнем. Мы ответили им тем же. И скоро наша кавалерия, в 35 — 40 человек, ворвалась в колонию. Но, ввиду того, что жители ее засели в бойницах, специально поданных для защиты от возможных наступлений, наша кавалерия была сразу же частью перебита, а частью выброшена метким огнем из колонии.

Ко мне подбежали командиры и просили посоветовать, стоит ли нам эту колонию занимать. Она де хорошо защищается и, вероятно, будет защищаться до конца. Мы напрасно потеряем много бойцов.

Я спокойно стоя, окруженный своими друзьями-помощниками, выслушал их и опять настаивал на том, что мы должны эту колонию взять. Она богата оружием. Мы должны его у нее забрать.

Командиры раз'ехались по своим местам. Я с Каретником, Лютым и другими рядовыми бойцами вскочили с огорода в один двор. Овладев двором, взяли человек пять в плен и вышли с ними на улицу. Огонь, и с той, и с другой стороны, начал затихать. И наша кавалерия снова ворвалась в колонию. А с другой стороны ворвалась и пехота.

Таким образом, колонию взяли. Но случилось нам только четыре человека колонистов. Всего мы насчитали перед собою 10 человек. Остальные — часть еще не возвратилась из своего похода на село Дибривки, а часть, возвратившаяся и теперь борющаяся с нами, попряталась. Однако, мы их не искали. Колония была подвергнута обыску с целью найти оружие. На счет же спрятавшихся колонистов я лишь предупредил командиров и повстанцев быть особенно бдительными и смотреть в оба, чтобы не быть перебитыми из-за углов.

Тем временем, пока отряд возился с обыском и забирал хороших, нужных отряду лошадей, наши заставы вокруг колонии задержали массу колонистов, с'езжавшихся изпод с. Дибривок, из которого они, с помощью регулярных немецко-австрийских войск, нас выбили, и которые сожгли почти все, перестреляв предварительно многих крестьян и переизнасиловав многих крестьянок.

Всех их свели в одну группу и привели ко мне, вместе с подводами патронов, винтовок, седел, шашек и разного калибра немецких и австрийских бомб. Это немецко-австрийское командование наградило их за оказываемое ими его войскам содействие по борьбе с революцией.

Все подведенные ко мне „герои“ борьбы с безоружным населением села Дибривок, и вообще с революционным украинским населением, были запленные и до смерти перепуганные негодяи.

Хотелось посмеяться над этими сознательными и бессо-

знательными исполнителями роли палачей. Однако, мое положение, да и время, мне не позволили заниматься шутками. Я спросил их лишь об одном.

— Для чего вы, господа, свозите такую массу разного оружия?

— Защищаться от всевозможных банд, — ответили они мне.

— А разве население села Дибривки — бандиты? — переспросил я их. Ответа не последовало. Все они молчали.

— Так вот, господа, — сказал я им: — ваше злодейство в отношении населения села Дибривок, в отношении революции и революционеров, поставило нас, революционных повстанцев, на путь отомщения вам, и вашему классу вообще, с оружием в руках действующему против революции.

Они что-то хотели мне сказать, но я ушел от них, чтобы сделать распоряжение по отряду, производившему обыск в колонии: об'явить всему населению колонии выйти из нее в поле, а колонию зажечь.

Через пол-часа все жители колонии и скот были выведены в поле, а колония от края до края охватывалась огнем. Легкий ветерок посодействовал задаче. Колония быстро превратилась в сплошной костер.

И только теперь попрятавшиеся ее защитники выскакивали из своих подземных нор. Но они тут же погибали. Во всех дворах, в скирдах соломы и сена, в клунях и сараях, везде в этой колонии было попрятано множество патронов, всякого оружия, бомб. В одном дворе находились трехдюймовые снаряды. Все это теперь было охвачено сплошным огнем и с силой, почти в каждом дворе, взрывалось. Это не давало никакой возможности ни повстанцам вскакивать в колонию, в ее дворы, чтобы переловить защитников ее, ни этим последним выскочить в те стороны, где не было повстанцев. Защитники ее начали стреляться и, кажется, все пострелялись; или же были убиты тем, что они приготавливали для убийства других.

Находившееся в поле население колонии „Красный Кут“ спрашивало у повстанцев:

— Куда вы нас увезете?

— Мы вас никуда не повезем. Все вы свободны. От вас, вероятно, часовые сейчас отзовутся и вы, — советовали им повстанцы, — идите себе туда, куда пошли дибривские

крестьяне и крестьянки со своими детьми. И делайте вы то же, что будут делать они, дибривские крестьяне и крестьянки, над которыми ваши отцы, мужья и сыновья грубо помялись, которых ваши отцы, мужья и сыновья частью избили, частью переизнасиловали, а хаты сожгли...

Услыхав этот грубоватый, но по существу справедливый ответ повстанцев, я подошел поближе к этой группе жителей, среди которых большинство были женщины, и, извинившись перед ними за то, что мы не нашли данных, чтобы можно было их колонию оставить в неприкосновенности, добавил к совету повстанцев:

— Да, да, повстанцы правильно вам сказали, куда вам идти. Указанный ими путь сроднит вас всех с трудовым крестьянством. Идите странствовать и временно, до торжества революции, быть может, страдать. Но своим, близким вам из буржуазного класса, говорите откровенно, за что мы сожгли ваши богатые дворы, за что уничтожаются жизни ваших отцов, мужей и сыновей. Рассказывайте им правду и внушайте всем вашим близким, поддерживающим гетмана и немецко-австрийское юнкерство в их преступлениях против трудящихся, что на эти их преступления лучшие сыны трудового крестьянства обратили должное внимание. Это их преступления вызовут небывалую в мире месть украинских тружеников всей буржуазии, под нашим организационным руководством. Никто и ничто ее от этого не спасет, если она своевременно не опомнится и добровольно не откажется от своего господского положения в стране.

Жители колонии пошли в направлении других колоний и кулацких хуторов. Больно было смотреть на их, растянувшееся вереницею, шествие. Но иначе поступить в отношении колонии „Красный Кут” мы не могли. Мы не могли оставить ее в неприкосновенности. Мы должны были уничтожить эту колонию вместе с той частью ее хозяев, которая, не будучи никем принужденно мобилизованной, а ради одного только удовольствия поиздеваться над революционным крестьянством, бросила своих жен и детей, бросила свои домашние работы и, взяв в руки оружие, поехало под село Дибривки помогать экспедиционным войскам убивать его трудовое население.

Уничтожением этой колонии и, последовательно, ряда

других кулацких хуторов, по возможности вместе с их хозяевами, прямыми участниками в сожжении села Дибривки, в издевательствах над его жителями, в убийстве лучших из молодежи, мы должны были сделать последнее наше предупреждение буржуазии. Мы должны были дать ей знать, что мы, революционные крестьяне, взяли за оружие с целью решительной и полной победы над нею, над ее строем и политическими режимами; что на этом пути мы ни перед чем не остановимся; что чем больше буржуазия допустит кровавых ужасов и уничтожающих села пожаров, в целях удержания за собою власти произвола и подлости в отношении трудовой части украинского народа, тем с большей ожесточенностью мы будем ее атаковать со всех сторон, на всех путях, уничтожая и ее самое, и ее усадьбы...

* * *

Итак, жители колонии „Красный Кут”, в большинстве своем, ушли. Ушли в другие колонии, в другие хутора района. Вслед за ними была опрошена и отпущена часть схваченных во время боя и на заставах. Часть же, в особенности из тех „героев”, которые были схвачены на заставах с запасами вооружения и снаряжения, полученными ими от австро-немецких штабов после выхода на село Дибривки, была тут же расстреляна...

Теперь наш отряд был пополнен лучшими свежими лошадьми, тачанками и боевым снаряжением. Двинувшись в обход вокруг колонии с целью удалиться от пылавшего костра, он вытягивался на прямую дорогу, в сторону Фесуновских хуторов. Это были хутора крупных собственников-землевладельцев, которые почти все, вместе с колонистами, напали на нас в селе Дибривках. Так же, как и краснокутцы, при занятии этого села, они жестоко расправлялись с трудовой частью его населения; так же, как и краснокутцы, ходили с факелами из двора во двор и поджигали.

По показаниям краснокутцев, задержанных нами под колонией, хуторяне эти оставались еще где-то под селом Дибривки. Но это было утром. Теперь же время подходило

к вечеру. Они должно быть, только-только с'езжаются и готовятся к хорошему ужину, в виде тризны победителей. Ни я, ни штаб, ни отряд не могли исключить их из списка лиц, подлежащих беспощадному уничтожению, как немедленному, по свежим следам, возмездью за их кровавые действия против крестьян.

Я сказал С. Каретнику и Щусю:

– Поспешим на эти хутора, чтобы заскочить в них, к их хозяевам, в хороший вечерний час, словно в гости, без которых, по крестьянскому обычаю добрый хозяин сам не сядет за стол. Поспешим, чтобы хозяева этих хуторов не успели сделать этот первый вечер своего возвращения из похода на с. Дибривки вечером ликования для себя и для прилегающих хуторов. Уничтожим эти подлые гнезда, вырабатывающие в себе силы позора и преступления на свободной земле!..

– Отряд уже вытянулся, – ответил мне Каретник и позвал коноводов с лошадьми.

Мы е-се, словно сговорившись, разом сели на коней и тронулись в путь по следам ушедшего под горку отряда.

Вдруг слышим позади крик: – Стойте! Стойте!

Оглянулись мы и увидели крестьянскую бричку. С нее соскочило три человека крестьян. Оставив лошадей на затынутых вожжах, они бежали к нам, крича:

– Мы к Батьке Махно. Батько Махно нам нужен!

Товарищ Щусь их узнал и сказавши мне: „это дибривские дядьки”, бросился к ним, спросить их, в чем дело.

– Мы к нему, к Батьке Махно, с хлебом солью и с миром приехали, – ответили они товарищу Щусю. Щусь подвел их ближе ко мне. Снявши шапки, они поздоровались со мною. Затем один из них подошел вплотную к моему коню и подал мне большую крестьянскую паляныцю (хлеб), фунтов в семь весом, с воткнутым в нее сверху большим куском соли.

Товарищ Щусь тихо говорит мне:

– Это – дибривские кулаки.

Я дал понять товарищу Щусю, что услышал его, и тут же поставил дядькам вопрос:

– В чем дело? Что вы хотите выразить этим хлебом-солью нам, повстанцам?

И я получил ответ:

– Мы приехали к вам, Батько Махно, чтобы сообщить вам, что мы, селяне дибривчане, помирились с немцами, австрийцами и всеми в окружности хуторянами (читай – собственниками). Мы хотим миру и с вами!..

Я задумался. Товарищ Щусь и каретник не сдержались и нагрубили. Я попросил их извиниться перед дядьками, что они сейчас же и сделали. (Впрочем, дядьки приняли их грубость за шутку). Затем я взял переданный было товарищу Лютому хлеб с солью обратно, в свои руки, и вернул дядькам, заявивши:

– Вашего хлеба с солью я от вас не могу принять. Возвращаю его вам обратно и прошу вас, скажите мне правду, что вас с ним послал к нам?

– Посланы мы к вам, Батько Махно, попом о. Иваном, вместе со с'ехавшимися уже в село селянами.

– Всеми селянами?

– Нет. Теми, которые с'ехались.

– Так вот, – сказал я дядькам, – уезжайте вы обратно в село Дибривки и передайте вашему священнику от меня, чтобы он дурака не валял и глупостями не занимался. В противном случае, если мы заедем в Дибривки, то мы ему так отстегаем задницу за то, что он берется за дело примирения крестьян с их прямыми врагами и убийцами, что он закажет и своим правнукам.

– Та, Батько, мы ж так открыто не можем попу сказать. Вы передайте ему что-либо другое, – просили крестьяне.

– Да вы можете священнику ничего не говорить, – ответил я теперь более спокойно, – но крестьянам всем передайте от меня, чтобы они не слушались глупого попа и вместо мира готовились бы к самой беспощадной борьбе со своими палачами!.. Итак, возвращайтесь обратно в село, и все, все передайте крестьянам. До свидания!..

Я протянул им руку. Они все подошли и, приподнимая шапки, попрощались. Потом ушли к своей подводе.

Щусь сел на лошадь, и мы тронулись с места. А дядьки, став на колени и скрестив руки на груди, крикнули нам вслед:

– Так помагай же вам боже побороти всіх ваших і наших злодіїв!

Мы все тоже сняли шапки и помахали ими в их сторону, а затем прищпорили коней и быстро скрылись от них за

бугорком, где т. Марченко и Петренко, остановив движение отряда, поджидали нас.

Подскочив к отряду, я вкратце рассказал бойцам о том, для чего приезжали эти три кулака из Дибривок, что я им ответил и что передал дибривским крестьянам. Я высказал им также мое предположение, что враги революции дрогнули, узнав о наших действиях в ответ на их злодеяния. И я подчеркнул, что мы менее всего можем с этим считаться именно теперь, когда мы должны полностью использовать момент в целях поднятия восстания против них трудящихся: восстания повсеместного и решительного, в котором бы их строй и силы, защищающие его, нашли себе, действительно, разрушение и смерть...

Отряд с особым вниманием выслушал меня и, в искренних словах, выразил свое удовлетворение.

Теперь мы окончательно дали повод и нигде не задерживались, до самих Фесуновских хуторов.

Валище уже совсем зашло, когда мы окружили эти хутора. Но жителей в них почти не было, в особенности участников нападения и сожжения села Дибривок. Все они, за два часа до нашего прибытия на эти хутора, бежали, кто куда мог.

Здесь, в этих хуторах, отряд сделал маленький привал, чтобы накормить и напоить лошадей.

А через три часа отряд выстроился, выделил из себя команду, которая быстро и все в этих хуторах зажгла, и вытнулся в поле, в направлении села Дибривок.

Всем в отряде хотелось воспользоваться случаем, что вооруженные силы врагов, шедшие по нашим следам, где-то сбились с дороги и потеряли нас из виду. Хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы залететь в Дибривки и всочию убедиться в том, что случилось с селом, как оно разрушено и т. д.

Поэтому, когда Фесуновские хутора были зажжены и охвачены сплошным пламенем, отряд был направлен по дороге на Дибривки, со стороны этих хуторов.

По дороге, в эту темную ночь, мы наткнулись на имение помещика Гизо. Наши конные разведчики схватили самого Гизо, который, по словам его арендаторов, подтвержденным им самим и другим помещиком, его соседом, задержанным вместе с ним, когда они, в эту ночную пору, про-

гуливались по аллеям, только что приехал. У обоих помещиков были револьверы. У Гизо оказалась еще фотографическая карточка товарища Щуся. На поставленный Гизо самим Щусем вопрос, где он, Гизо, взял эту фотографию, Гизо стал врать, будто ему подарили ее близкие знакомые отца Щуся и т. д.

Но когда товарищ Щусь доказал ему, что он лжет, так как это была единственная фотография у Щуся, которую он подарил своей матери и жене, тогда Гизо сознался, что он, присутствуя со всеми помещиками и хуторянами при обысках и сожжении в селе Дибривках дома матери Щуся и интересуясь Щусем, как бесстрашным партизаном, сам снял эту фотографию со стены в доме Щусевых родных.

Показание Гизо свело с ума и самого Щуся, и многих из присутствовавших при его опросе. Каретник и я, и в особенности товарищ Марченко, хотели подробнейшим образом опросить Гизо и его соседа. Но опросить Гизо нам не удалось. Товарищ Щусь, словно лев, набросился на него и безрассудно, с дикой ненавистью, хотел разорвать его. Гизо вырвался и побежал по двору. Повстанцы занялись погоней за ним, бросив второго помещика, соседа Гизо, который, к месту отметить, крепко пристал ко мне и ни на шаг не отходил. Раза два ловили повстанцы Гизо, но он, благодаря своим хорошим собакам, которых он во-время спустил с цепи, оба раза вырвался от них. Это озлило всех. Никто не думал уже о том, чтобы бросить его, пусть-де убегает. Нет, все хотели его поймать. Его арендаторы этому содействовали. Видимо, надоел он им, или же они были так подлы, что думали на его смерти поживиться, не понимая, что революция им этого не позволит, что она выдворит их из этой усадьбы, как выдворила бы и самого Гизо, поскольку он не захотел бы сам трудиться наравне с труженниками. Эти арендаторы, куда бы Гизо ни спрятался, его находили и указывали повстанцам. Ловля его была тяжелой морально и изнурительной физически. Как-то его, в который уже раз, указали арендаторы, и два повстанца бросились в тот угол, где он прилип к стенке сарая. Он бросился от них прямо на меня, стоявшего с товарищем Лютым и соседом Гизо. Я выхватил шашку и кричу: „Стой!“. Он свернул мимо меня, и я его зацепил по затыл-

ку. Удар мой был совсем слаб, но Гизо, все-таки, упал. Это решило его судьбу.

Товарищ Щусь схватил его и приподнял. Повстанцы, в особенности дибривчане, кричали:

— Никакой пощады ему! Смерть ему!..

Товарищ Щусь спрашивал моего мнения. Я, при тех обстоятельствах, при каких был схвачен Гизо с фотографией Щуся, не мог высказаться в его пользу. Каретник и Марченко тоже. И, тогда как другого помещика, соседа Гизо, мы сейчас же освободили, дав ему всадника, чтобы вывести его за наши заставы вокруг имения, Гизо был товарищем Шусем и повстанцами зарублен.

Имения Гизо мы не тронули, а лишь взяли несколько подвод овса для лошадей.

Отсюда мы направились в село Дибривки. В дороге, ввиду ночи, свернули и заехали в имение Серикова, в семи верстах от Дибривок. Здесь мы остановились до утра.

В имении Серикова нас нагнали наши разведчики и гонцы от других наших отрядов, с радостными донесениями в основной наш штаб, гласившими об успехах борьбы отрядов в ряде районов и уездов. Это еще более подбодрило и без того бодрствовавший наш основной штаб и отряд.

Наступало обеденное время. Я всем гонцам от других отрядов дал письма к их командирам и выпроваживал тех из них, кому нужно было скорее возвращаться в свои районы.

Товарищ Щусь с дежурным по отряду, тем временем, приготовили около тридцати всадников и два пулемета на тачанках. Я со Шусем и тридцатью всадниками, при двух пулеметах, сели на лошадей и, вне дорог, полем, поскакали через горку в село Дибривки.

Когда мы перескочили горку, нам открылось село. В нем оказались, то здесь, то там, уцелевшие домики. Церковь и лес говорили за то, что это именно село Дибривки.

Чем ближе мы под'езжали к селу, тем яснее нам становились полуразрушенные стены домов, с их обгоревшими, черными верхушками. Но людей не видно было. На сердце становилось тяжело при виде всего этого. Товарищ Щусь и некоторые из повстанцев дибривчан долго и молча всматривались в село. Затем Щусь, всхлипывая и вытирая слезы, катившиеся из глаз, как у ребенка, спросил у меня:

— Батько, ты видишь, что сделано с селом?

И тут же прилег на переднюю ключицу седла и замолк...

Я повернулся к повстанцам и крикнул: „Повод!“ Это заставило товарища Щуся снова выпрямиться в седле и, прищпорив лошадь, поравняться со мною.

Я повернулся к нему и стал тихо упрекать его за несдержанность перед повстанцами. В то же время я спросил его о том, как он думает насчет нашего в'езда в село: не вскочим ли мы в лапы врагов?

Он был категорически против того, чтобы в'езжать в село.

— Подскочим к мосту. Если кого-либо увидим, то распросим, есть ли неприятель в селе; если же никого не увидим, то посмотрим со стороны на село и возвратимся к отряду, — сказал мне товарищ Щусь.

Однако, другие повстанцы хотели побывать на своих улицах, посмотреть на стены своих домов. Это заставило нас, меня и Щуся, повернуть в сторону от моста и галопом подскочить к селу с противоположной стороны, в случае чего наиболее удобной для бегства.

На этой стороне села мы встретили нескольких крестьян. Бедняги, настрадавшись, бросились сразу же к нам. Но ни один из них не жаловался на свое положение. Лишь указывали нам на свои сожженные и разрушенные дворы, и то, когда мы их спрашивали: „Как ваш двор?“ или „Сожгли ли вас?“ В этом случае они указывали нам, каждый, в сторону своего двора и, пожимая плечами, приговаривали:

— Ничего, перебудуем, а все-таки не станем на сторону гетманцев и их союзников, немцев и австрийцев. Будем страдать, а будем против них, вместе с вами...

Слыша от крестьян эти простые искренние слова, я радовался и, отбросив все расспросы о селе, начал спрашивать их о том, какие силы врагов были в действительности в селе, когда они зажгли его?

— Трудно сказать вам, Батько, нам нельзя было присматриваться, нас избивали, — ответили мне крестьяне: — Во всяком случае, мы должны вам сказать, что немецкие и австрийские солдаты мало палили наши дворы. Их палили наши украинские буржуи из хуторов да из немецких колоний.

— Не знаете, много ли сгорело всех дворов в селе?

— Шестьсот восемь дворов, — получил я ответ.

— А под лесом или в центре села, на площади, нет ли теперь немецких солдат?

— Ни одной души ни солдат, ни варты нету. Все уехали по вашим следам, как говорили, в погоню за вами, — ответили мне крестьяне.

Мы, повстанцы, переглянулись между собою. Я предложил:

— Проскочим, сынки, через село, что-ли, чтобы лучше его развалины разглядеть?

— Проскочим, Батько!

Затем я обратился к крестьянам и пожелал им держать тех намерений неподчинения произволу, которые они мне только что высказывали, и ожидать от нас оружия и общего призыва в поход на врагов.

Эта группа крестьян бодрилась и радостно приветствовала наше обещание явиться к ним с оружием для них. Мы, попрощавшись с ними, прищипорили своих коней и вскочили группами, по пять-шесть человек в каждой, в речку. Переплыли последнюю, вскочили в улицы села и понеслись по ним галопом. Но, по мере того, как мы приближались к подлесью, мы (как выяснилось из наших объяснений друг другу) осаждали лошадей, стараясь присмотреться вперед и по сторонам, нет ли врагов.

В селе крестьян почти не было. А если кто-нибудь и был, то сидел в своем дворе, под разваленными стенами хаты. Многие еще не возвратились из соседних сел и деревушек. Проезжая улицы одну за другою, мы изредка встречали перебежавших через них собак, нехотя, с грустью лаявших на нас, проскакивавших мимо них; или натыкались на бегавших, видимо ничего не евших, хрюкавших свиней и ревелих телят.

Так мы, мало кого замечая в селе, проскочили большую половину его и выскочили на одну из площадей, ведущую прямо в лес. Здесь нас встретил поп с группой, человек в 20, крестьян. Товарищ Щусь с тремя бойцами подскочил к этой группе и расспросил ее, откуда они идут.

Оказывается, поп и его прислужники узнали, что мы приехали в село, еще тогда, когда мы были по ту сторону речки, и, схватив свой крест и два церковных знамени, собрал вокруг себя несколько крестьян-старичков и пошел к лесу, чтобы встретить нас.

Когда т. Щусь подскочил ко мне и доложил об этом, я еще более озлился на этого попа за его дурачество и, волнуясь, задумался, что ему, попу, уже раз предупреденному не заниматься глупостями, сделать.

Щусь, видя меня в состоянии раздумья, предложил мне распорядиться, чтобы повстанцы выпороли попа.

От этого я отказался, заявив, что в такой момент неудобно так поступать с ним.

А поп желал подойти ко мне с намерением что-то сказать мне. Я отказался от этого и передал ему через Щуся последнее свое распоряжение: никогда не выводить на встречу мне крестьян и самому не подходить ко мне с крестом в руке.

Как товарищ Щусь передавал мне, поп обещал больше этого не делать, но теперь просил меня принять хотя бы хлеб-соль от него и от окружавших его крестьян.

Я категорически и от хлеба отказался.

И поп повел своих людишек обратно к церкви. А мы собрался и шагом спустились по направлению к речке, где был брод, который было легко перейти всадникам, не замочившись.

Теперь, по дороге к речке, мы видели уже больше крестьян. Они сидели, каждый под стенами своего сгоревшего дома, кто один, а кто окруженный детками и что-то рассказывая им. Когда замечали нас, подымались и, снимая шапку, помахивали ею в знак приветствия. А детки подбегали к улице и махали своими ручонками. Некоторые сидели, понурих голову, задумчиво и печально глядя в землю, и отключались лишь на зов знавших их повстанцев.

Здесь картина была более жуткая. Она задела мое сердце. Я чувствовал ужасную боль и не мог несколько минут ни с кем ни словом обмолвиться...

Это мое состояние, — состояние расчувствованности, от которого я, став во главе отряда, все время старался быть свободным, — настолько сдавило меня, что я чуть было не заплакал, по примеру товарища Щуся и других повстанцев.

Скоро показалась речка Волчья и спуск к ее берегу. Я подал команду: „Повод!“ Мы быстро вскочили в ее холодную осеннюю воду и остановились лишь на другом берегу.

Затем мы поднялись в гору и на дороге, ведущей к имению Серикова, где стоял и ждал наш отряд, мы еще раз ос-

тановились, чтобы посмотреть на развалины села Дибривки.

У троих из нас были бинокли. Они ходили из рук в руки. Каждый из нас хотел увидеть, кроме развалин, во дворах этого села еще что-то необъяснимое, но определенно вызывавшее в каждом из бойцов бурю гнева и мести к своим врагам.

Стояли мы на этой дороге долго. Бойцам хотелось стоять и стоять, и смотреть на село, хотя все мы были мокрые и мерзли. К счастью, лошади никак не хотели стоять. Они тоже перемерзли и проголодались. Они рванулись в путь, словно зная, что место стоянки недалеко, что они там поедят и согреются.

Мы тронулись с места и теперь уже неслись бешено, ни о чем не говоря между собою, глядя лишь вперед и по сторонам, чтобы не влететь в засаду, к врагам.

Когда мы подскакивали к имению Серикова, оставшийся в нем наш отряд был весь усажен на подводы и на лошадей и начинал вытягиваться в сторону села Дибривки.

— Почему? В чем дело? — спрашивал я разведчиков, ехавших впереди.

— Распоряжение товарища Каретника, — был ответ.

Оказывается, Каретник, Марченко и Петренко потеряли терпение в ожидании нас. Они пришли к мысли, что нас враги или окружили, или схватили сразу всех, или же погнались в другую сторону. Поэтому они решили ехать по нашему пути всем отрядом. Теперь вопрос выяснили, и весь отряд снова расположился по своим местам.

Мы, побывавшие в селе Дибривки и изрядно вымокшие в речке, переоделись и уже согрелись по квартирам, осаждаемые расспросами со стороны оставшихся в имении бойцов.

Я сделал доклад бойцам о том, что буржуазия сделала с селом Дибривки.

Бойцы и до этого доклада были взволнованы нашими рассказами о том, что мы видели в Дибривках. Теперь же, когда все это было связано одной нитью и изложено перед бойцами, рассказ мой их не столько встревожил, сколько взбунтовал. Теперь они все кричали мне:

— Нужно мстить, мстить, мстить! Веди нас, Батько, на врагов, мы им отомстим!..

Надо отметить, что все, содеянное нашими врагами в селе Дибривках, могло послужить лучшей пропагандой бунта и возмущения масс против них. Это я сознавал и раньше, когда наблюдал за их гнусными действиями. Но я знал также и то, что психологически бунт трудовых масс нужно уметь направлять в сторону революции и за революцию. Я, наблюдая за бойцами и слушая их в эти минуты, глубоко почувствовал в себе веру в них и в то, что, встретиться мы сейчас с любым немецким или австрийским полком, мы его разобьем так, как его командиры никогда себе и представить не смогут. Не говоря уже о том, что в эти дни пусть не попадается нам ни один гетманский отряд, ибо он будет на месте раздавлен. Но я хорошо знал, что цель наша не есть специально беспощадная месть врагам. Наша цель была отчетливо сформулирована нашей Гуляй-Польской группой анархистов-коммунистов: физическая сломить силу врагов и духовно преодолеть — или, по крайней мере, наметить общие черты для преодоления той идеи, на которой базируются и сила этих врагов, и вся ложь, охраняемая ею.

Придерживаясь в основном этой главной мысли группы, я, согласно ей, поспешил своевременно внести в ряды повстанцев положения о нашем общем отношении к врагам, которых мы еще только вчера беспощадно уничтожили, вместе с их именными.

Положения эти приводили к отрицанию мести врагам. Цели организованного восстания требовали теперь крутого поворота от вчерашних наших действий в другую сторону: в сторону серьезного разоружения буржуазии и вооружения революционных труженников деревни. И я, на этом же докладе, формулировал этот крутой наш поворот так:

— В задачу Революционно-Повстанческих Отрядов Имени Батько Махно (как они себя тогда называли) отныне должно входить: отобрать от наших врагов как можно больше оружия и денежных средств и как можно скорее поднять крестьянские массы известных нам районов; объединить их, до зубов вооружить и повести широким фронтом против существующего строя и его защитников.

— Мы — я, Каретник, Лютый, Марченко, Щусь и Петренко, — говорил я повстанческой массе, — этот вопрос уже

обсудили. Эти товарищи целиком разделяют мое мнение. Теперь остановка за тем, что вы, бойцы, скажете?..

Многие повстанцы, помню, недоумевали и упорно спрашивали меня о том, как же, мы так и не будем мстить врагам за уничтожение ими села Дибривки, за переизнасилование и расстрелы в нем его жителей и т. д.?

Требовалось осторожное и серьезное разъяснение этого вопроса повстанцами. А это требовало времени.

Между тем, немецко-австрийские войска не спали. Они, узнав, где мы стоим, спешно окружили нас в этом районе. Об этом нам доносили крестьяне со всех сторон, и мы не могли не считаться с этим. В спешном порядке мы приняли по этому вопросу резолюцию:

В целях быстрого вооружения революционного крестьянства, основной штаб повстанческого революционного движения и находящаяся при нем основная повстанческая вооруженная сила постановили, от октября месяца 1918 года, ввести в порядок действий всех наших отрядов правило, согласно которому каждый отряд, занимая тот или другой хутор собственников-землевладельцев, немецкую колонию или помещичье имение, должен в первую очередь созвать всех хозяев этих владений, и, выяснив состояние их богатств, наложить на них денежную контрибуцию и объявить сбор оружия и патронов к нему. Все это должно производиться под непосредственным руководством командиров отрядов и под самой строжайшей революционной ответственностью их, командиров.

При этом, за каждую сданную собственниками-багателями винтовку с пятьюдесятью патронами к ней, отряды должны возвращать им три тысячи рублей из общей контрибуционной суммы.

Если хозяев, желающих сдать оружие, не находится, отряды должны производить у них самые тщательные обыски (опять-таки, под руководством и за ответственностью, в смысле революционной чести, их командиров).

Если при обысках оружие не будет обнаружено, оставлять хозяев этих в покое, неприкосновенными. В противном же случае, каждого, у кого будет обнаружено оружие, расстреливать.

Лошади, необходимые для подвод и всадников организованной нами революционной повстанческой силы, берутся

у упомянутых хозяев по принципу: у кого их свыше 4—5, — одна-две лошади берутся безвозмездно. У кого от двух до четырех, — одна-две берутся взамен другой, худшей лошади.

Тачанки (тип немецких рессорных четырехместных дрожек. У нас они называются еще каретами) берутся безвозмездно.

Брички, у кого одна или две, берутся с заменой. У кого свыше двух, две берутся безвозмездно.

Все активные вооруженные враги нашего движения и революции, которую движение наше подготавливает, расстреливаются на местах их действия и сейчас же после сбора о них сведений через население.

В виде лучшего способа революционного суда над ними, должен практиковаться всегда и всеми отрядами имени Батько Махно предварительный опрос крестьянских сельских сходов тех местностей (сел и деревень), где они действовали и попались нашим отрядам.

Неподчинение этому совету-распоряжению повлечет за собою революционные меры, вплоть до объявления всенародно этих отрядов ничем не связанными с общим штабом революционно-повстанческого украинского движения во главе с Батько Махно.

Подписали эти постановления: я, Щусь, Каретник, Марченко и ряд других повстанцев, уполномоченных бойцами.

В рядах рядовых бойцов сначала видно было разочарование. Некоторые из них сознавались, что теряют надежду отомстить врагам за уничтожение села Дибривки. Но они быстро поняли, что наше вышеотмеченное постановление, при строго последовательном проведении его всеми нашими отрядами в жизнь, окажется более сильным средством для побед нашего движения над палачами революции, чем один-два-пять успешных поражений врагов, непосредственно участвовавших в сожжении села Дибривок.

Как только постановление наше о сборе оружия было принято, подписано и отпечатано на машинке в многочисленных экземплярах, мы сразу же разослали его повсюду при посредстве крестьян и прибывших от наших отрядов гонцов. Сами же решили перестоять еще одну ночь в том же Сериковском имении и рано, на рассвете следующего дня, направиться по кулацким хуторам и колониям Мариупольского уезда за оружием.

Солнце уже „село на землю”, как выражались крестьяне, когда раз'езды наши донесли, что враг нигде не обнаружен. Хотелось как следует поесть и лечь отдохнуть. Все к этому стремились. Поэтому и ужин, и смена застав и раз'ездов приготавливались дружно и быстро.

Вдруг, неожиданно, со стороны села Дибривки раздался свист и взрыв гранатного снаряда. Сперва одного, а затем другого и третьего. И тут же, с другой стороны — со стороны Темировки — затрещал вражеский пулемет, а в ответ ему заговорил наш пулемет на заставе.

Тревога перемешалась с совершенно неожиданной для меня паникой. Бойцы старались схватить лошадей — тактику, которую я в корне осуждал в такие моменты. (Я всегда требовал, чтобы часть бойцов, независимо какого рода оружия, сейчас же старались выйти навстречу врагу и занять удобную для себя позицию. Другая же часть, не теряясь, мужественно должна приготовить ей подводы и лошадей и, доложив кому следует об этом, должна ожидать распоряжения, когда нужно или подать их части, занявшей позицию, или же выйти под указанное прикрытие и поджидать, когда снимется с позиции эта часть и сама подойдет к ним).

К нашему счастью, нападавшие на нас оказались помещичьими отрядами. Наши пулеметчики их быстро рассеяли. Австрийские же части оставались под Дибривками (6 — 7 верст от нас), при батарее, и оттуда без толку, частью с недолетом, частью с перелетом, стреляли снарядами в направлении нашего расположения.

Эту глупость австрийцев быстро заметили сами наши бойцы и скоро восстановили в своих рядах порядок.

Товарищ Каретник в эти сутки был дежурным по отряду и был ужасно зол за тревогу. Долго и деловито упрекал он бойцов за их маленькую растерянность, а они наивно обещали ему, что больше этого не получится.

Наступила ночь, и мы, оградив себя усиленными боковыми раз'ездами, снялись со своей стоянки, как раз в тот момент, когда австрийская батарея стала в другое место и теперь уже попадала прямо по имению. Ночью, когда шрапнель разрывается над головами, люди, даже привычные к ее разрывам, чувствуют себя очень скверно. Тем более неприятно отражалось попадание снарядов на нашем, еще

молодом отряде. К тому же, снаряда два гранатных упали среди нас, снаряда три шрапнельных разорвалось над нами и отняли несколько жизней у нас. Отряд принужден был раза два-три то рассказиваться, то снова собираться в свои колонны, поспешно уносясь из-под обстрела.

Глава XI.

ЗА СБОРОМ ОРУЖИЯ И В НОВЫХ БОЯХ.

Собирание или, вернее, выколачивание оружия у буржуазии, у сторонников гетмана Скоропадского и у агентов немецко-австрийского командования (последние рассматривали Украину не более и не менее как прочный тыл Германии и Австро-Венгрии) было совсем не легким делом. Однако, оно было крайне важно, необходимо для ведения борьбы. Обезоружить буржуазию или вообще врагов революции значит создать возможность трудящимся, даже в условиях политической реакции, находить пути и средства к решительному определению того, что нужно делать, чтобы выйти из этой реакции. Так мыслил я и убеждал в этом других своих близких. И поэтому мы целиком отдались теперь этому делу. Теперь мы мало где останавливались по селам и деревням. Мало где проводили крестьянские митинги. Теперь мы заскакивали в одни только хутора или колонии кулаков и имения помещиков и, каждый раз, собрав этих носителей идеи новоиспеченной украинской гетманской государственности, тут же, вместе с ними, определяли, через особых их и своих уполномоченных, состояние богатства каждого богатея. Затем мы накладывали на них денежную контрибуцию и пред'являли им требование на предоставление нам установленной суммы денег, а также холодного и огнестрельного оружия в течение двух часов времени. Мы быстро все это получали и переезжали в другие хутора. Так переезжали мы из одного района в другой, наводя своим внезапным появлением и своим, иногда чрезмерным, чуждым сентиментальности, решительным требованием страх и ужас не только на буржуазию, но и на ее защитников: слепых, но, по своим действиям против революции, подлых, немецко-австрийских и гетманских солдат.

В течение полутора-двух недель, мы собрали большие денежные суммы и громадное количество огнестрельного оружия: главным образом, винтовок и массу патронов у них. За нами шли уже большие обозы с этим боевым снаряжением, отнятым у буржуазии, а местами и у попадавшихся нам карательных гетманских, немецких и австрийских отрядов.

Эти обозы, а равно и энтузиазм сопровождавших их повстанцев и крестьян-подводчиков, служили ярким показательным примером для трудового и не трудового населения сел, что повстанчество, под руководством Махно, взялось не на шутку за врагов революции.

Осевшая, было снова в своих усадьбах под защитой немецко-австрийского юнкерства, украинская и русская буржуазия, приступившая к отобранию силою от крестьян завоеваний революции, не только вздрогнула перед действиями повстанчества, но начала в спешном порядке опять покидать насиженные контр-революционные гнезда, убегая в районы большого скопления немецко-австрийских войск. Все это облегчало нашу митинговую пропаганду идей повстанчества и содействовало быстрому созданию новых инициативных повстанческих групп, действия которых в идейном и оперативном смысле целиком направлялись нами (т. е. Гуляй-Польским Штабом).

Таким образом, мы, своим легким конно-тачаночным боевым отрядом, из'ездили часть Бердянского, весь Мариупольский и часть Павлоградского уездов. И теперь, будучи убеждены в том, что симпатии трудового крестьянства в этих уездах на нашей стороне, мы возвращались прямо под Гуляй-Поле, чтобы овладеть этим действительно революционным, инициативным центром вольных батальонов и их подсобных отрядов революции и установить в нем главный оперативный штаб движения повстанчества махновцев.

По дороге на Гуляй-Поле, в 40-ка верстах от него, под местечком Старый Кременчик, мы встретились с батальоном австрийцев и отрядом уже денкинских формирований, под командой офицера Шаповала. Мы приняли их атаку против нас. И нужно сказать правду, как ни стоек был этот, денкинской формации, контр-революционный отряд, а возле него австрийские части, мы их так поколотили, что

они, помимо того, что бросили нам три пулемета, массу винтовок и раненых своих бойцов, не задержали своего бегства даже в Старом Кременчике, куда мы и не думали вступать.

Победа над этими частями еще больше подымала революционный дух и была очень показательна для трудового населения данного района, которое активно еще не выступало вместе с нами против контр-революционных сил в стране, но серьезно следило за нашими действиями и готовилось в каждую минуту перейти от пассивной к активной поддержке нас. Теперь уже эта часть населения следила более внимательно и за неприятельскими передвижениями, и быстро сообщала о них нам. Это еще более воодушевляло и нас, уже выступивших и действовавших на пути решительной вооруженной борьбы, и широкое население.

Нужно было только не терять голову, т. е. не увлекаться и, шаг за шагом, идти и неуклонно к намеченной цели.

Из-под Старого Кременчика отряд наш направился через хутора и немецкие колонии, на деревню Темировку, где предполагалось заночевать и дать лошадям и людям дневной отдых, а затем сделать внезапный налет на Гуляй-Поле, в котором стоял один лишь полк немецко-австрийских войск. Овладев Гуляй-Подем, мы предполагали, как я уже отмечал, остановиться в нем на более или менее продолжительное время.

Глава XII.

НАША СТОЯНКА В ДЕРЕВНЕ ТЕМИРОВКЕ. НАЛЕТ НА НАС ОДНОГО ИЗ КАРАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ МАД'ЯРСКИХ ЧАСТЕЙ АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ И ЕГО ПОБЕДА НАД НАМИ.

Деревня Темировка – небольшая деревня. Отряд разместился в ней тесновато, но зато очень хорошо обставил себя заставами со всех сторон деревни. Это позволило даже мне, все эти недели не спавшему раздетым, наконец-то раздеться и хорошо уснуть на крестьянском „поликe”, в

крестьянских подушках, под теплым, из овечьей шерсти сотканным „лижником“, заменяющим собою городское одеяло. Лишь в 4 часа утра я был разбужен дежурным по гарнизону товарищем Марченко, который представил мне помещика Цапко, жившего по соседству с этой деревней и захваченного нашими разведчиками невдалеке от деревни.

Шататься в ночное время возле деревни, это что-то подозрительно, — подумали наши раз'езды, задержали его и привели в деревню.

Товарищ Марченко знал всех Цапко по району. Знал он и об их гнусных действиях вместе с гетманской вартой и немецко-австрийскими войсками во время отобрания у крестьян земли, живого и мертвого инвентаря, отнятых у буржуазии революции и переданных крестьянским обществам. И Марченко хотел было, по его собственному заявлению, вывести этого Цапка за деревню и пустить ему пулю в лоб. Но потом решил завести ко мне, имея в виду, что со мной находятся товарищ Лютый и С. Каретник, и мы сообщим разрешение в вопросе, как поступить с ним.

Сам Цапко оказался неглупым человеком. Он быстро сообразил, как выпутаться из создавшегося положения и заявил, что он шел к Батьке Махно — получить разрешение на переезд через деревню Темировку жениха и невесты, которые должны были ехать рано утром в село Санжаровку, в церковь венчаться.

Это заявление показалось мне уже совсем подозрительным. Я быстро оделся и распорядился по отряду: приготовиться к выезду. Потом заявил гражданину Цапко, что свадьба их может себе ехать горой по дороге, ведущей понад деревней, если она думает ехать до рассвета к церкви. Если же она выедет на рассвете, то тогда нас в деревне уже не будет, и она может ехать через деревню. Тут же я распорядился, чтобы разведчики вывели Цапка за деревню и пустили его на все четыре стороны. Разведчики исполнили мое распоряжение.

Однако сам я, да и товарищи, обидившиеся на меня за то, что я отпустил Цапка, когда его нужно было убить по их мнению, были в тревоге. Хотя и сделали распоряжение по отряду расстановиться снова по своим квартирам до особого распоряжения о выезде, тем не менее не раздевались и не ложились больше. Даже более того, я сделал

предложение товарищу Марченко, как дежурному, распорядиться, чтобы наши раненые бойцы оставались на тачанках, раз уж они погружены, до утра...

Вдруг, всего через 30–40 минут после того, как Цапко был отпущен, со стороны имения Серикова на нашей заставе затрещал пулемет. А вслед за ним затрещали с двух сторон деревни неприятельские пулеметы. Мы все, кто был в моей квартире, выскочили во двор. Пули со стороны неприятеля со свистом перелетали через деревню.

Быстро и решительно делаю распоряжение всем командирам и близко расположенным от стрельбы частям выступить навстречу врагам, а остальному отряду выстроиться и вытягиваться через горку к Малой Темировке, занять удобней под горкой позицию и закрепиться на ней. Сам же, с С. Каретником и Исидором Лютым, бегу к заставе, которая первой открыла огонь. Увы, было уже поздно: наш пулеметчик был ранен и застава отступала. Я оглянулся и увидел, что на улицу выскакивают наши бойцы и спешно вытягиваются за горку, а с другой стороны чуть виднеются в рассветном тумане стройно идущие на деревню боевые мад'ярские стрелки, то стреляя изредка из карабинов, то бросая вперед бомбы по пути своего шествия.

— Хорошие это бойцы, видимо, — сказал я товарищу Каретнику и тут же, обернувшись к Лютому, схватил у него ручной пулемет системы „Люиса“. Лютый быстро стал на колени, я с его плеча прицелился по этим колоннам и начал по ним стрелять. Мне казалось, что я стреляю не удачно; но я быстро заметил, как колонны разореались, и я начал пускать по ним одну ленту за другой.

В это время Марченко выскочил из деревни с нашими бойцами, человек 60–70, и бросился в атаку на неприятеля. Но напрасно. Стрелки в его рядах были меткие и отважные: они как-то быстро отбили нашу атаку и захватили наш пулемет. Мы, группками в 10–15 человек каждая, начали отступать через дворы на противоположную сторону деревни, еле-еле успевая выхватывать своих раненых.

Мад'ярские стрелки уже в деревне. Они хотя и теряют товарищей из своих рядов (мы в них тоже хорошо попадали), но они не останавливаются. Их бомбометчики идут впереди и бомбами очищают им путь вперед по деревне.

— Учитесь, учитесь, сынки, у этих отважных стрелков, как нужно брать села у неприятелей, — кричал я своим друзьям повстанцам. И, в то же время, я старался воодушевить их и, с риском для себя, выскакивал со Щусем, Каретником, Лютым, Петренко и другими рядовыми повстанцами, на улицы деревни и отстреливался от неприятеля, всячески стараясь отбить и приостановить его удачное наступление. Так мы дошли к последним дворам деревни. Дальше поле. Часть бойцов, с Марченко во главе, выскочив на вспаханное поле, залегла в его бороздах. В это же время один, другой, третий повстанцы в связи от частей возле меня падают убитыми. А сестра, она же невеста тяжело раненого еще в Дибривках младшего Петренко, подбегает ко мне и сообщает:

— Ваша, Батько, жена с подводой осталась в деревне.

— Ничего, теперь уже поздно спасти ее, — ответил я и тут же спросил ее:

— А где раненый Петренко?

— Тоже остался в деревне, — услышал я в ответ.

И только что я подскочил к Щусю, который тянул одного из наших раненых повстанцев с улицы в последний двор, в котором мы, находившиеся под ударами мад'ярских стрелков из деревни, группировались, как вдруг товарищ Щусь падает. Пуля попала ему ниже бедра и прошла обе ноги на вылет.

— Петя! — кричу я старшему Петренко: — Бери Щуся на плечи и тащи через гору к обозу.

Сам, с несколькими повстанцами, еще раз выскакиваю на главную улицу деревни и из ручных пулеметов и винтовок осаживаю стрелков неприятеля. Тем временем остальным нашим бойцам было сделано распоряжение отступить с перебежками за горку.

Когда наши бойцы выскочили в поле, им можно было без поражения перебежать через горку. Но они залегли на вспаханной земле, желая теперь дать возможность, своим обстрелом противника, легко отступить со двора мне и оставшимся возле меня повстанцам. Этим самым они навредили себе. Мад'ярские стрелки, потеряв надежду выйти из главной улицы в поле, как-то быстро оказались с другой стороны деревни и теперь уже решительно никому из нас не давали возможности перебежать по полю своим мет-

ким ружейным и пулеметным огнем. Все те из наших бойцов, которые только схватывались с земли, были сейчас же сражены пулями.

Ужасно тяжело становилось на душе. Всюду, на улице, во дворе, в поле, падали наши бойцы, пока товарищ Подгорный не собрал человек 15-ть кучеров из обоза и с одним пулеметом не зашел сбоку этим стрелкам и не начал их поливать градом пуль. Это спасло наше положение. Большая часть бойцов наших перебежала через горку не зацепленные пулями.

Вышли в поле и все повстанцы со двора, под командой Лютого. Лишь я и С. Каретник остались еще во дворе, пытаясь взять с собою трех тяжело раненых повстанцев. И мы их взяли, но — не донесли до обоза, и сами не дошли до него.

За то время, что мы дрались с этим отрядом мад'ярских стрелков, к ним подошли со всех сторон подкрепления, и теперь уже они нас совсем почти окружали. Поэтому наш выход со дворов был кошмарно тяжелым, тем более, что мы, 10 человек, несли троих раненых. Мишень оказалась лучше не надо для врагов. Товарища Каретника сразу ранили. Сестра, которая возилась с ранеными, все время под огнем, была убита наповал. Прошли мы еще немного далее, и было убито еще четыре бойца, из них двое тех, которых мы несли. А еще далее нас осталось живыми всего три человека, вместе с раненым Каретником. Человек пять наших повстанцев из-за горы бросились было к нам, чтобы взять тех из нас, кто послабее, на руки и вынести из-под огня, но трое из них тут же были сражены и упали мертвыми. Теперь мы, оставшиеся три человека, в поле, на версту расстояния от своих и на двести саженей от наступающих врагов, расскочились друг от друга на несколько саженей и, то и дело, то бежали, то падали, когда пули совсем близко ложились возле нас. Наконец, у одного из нас, у товарища Лазаренко из-под Днепра, нервы не выдержали. Он прикладывает к виску свой наган и пускает себе пулю.

Не хотелось оставить врагам его револьвера. Я подскочил к застрелившемуся и забрал его наган. В это время Каретник был уже далеко от меня. Я остался один и бежать дальше не мог. Я начал уже пробовать этот же револьвер, чтобы приложить его к своему виску, ибо увидел сбоку

и спереди меня людей, как будто врагов. И в это время слышу чистый, искренний голос:

— Батько, Батько, сюда!

То кричал Исидор Лютый. Он был с двумя друзьями, Марченко и Петренко. Я к ним подбежал. Они усадили меня на винтовки и бегом унесли через горку к обозам.

Только здесь моя подруга, о которой сестра говорила, что она осталась в деревне с подводой, и вообще командиры и повстанцы, осматривая меня, лежавшего на тачанке, нашли, что я ранен в руку. Верхняя моя одежда и шапка были прострелены в нескольких местах. Я же этого не чувствовал и не замечал...

Но я скоро пришел в себя и увидел всех командиров, оставшихся в живых, вокруг меня. Семена же Каретника я среди них не видел, и это меня очень встревожило. Каретник — один из друзей, в котором я, с первых дней восстания, заметил твердость революционного борца, и это меня с ним особенно сроднило. Я наделал шуму: „Где Каретник?..” Оказывается, он, не перевязавши свою рану, как только добежал до остатков отряда, схватил пулеметчиков с пулеметами и помчался под горку, навстречу победоносным врагам.

Я распорядился, чтобы он снялся с позиции. Когда он прибыл, отряд наш, оставив врага под Старой Темировкой, вытянулся через Малую Темировку на село Санжаровку, не меняя маршрута на Гуляй-Поле.

Я несколько раз отъезжал в сторону от отряда и со стороны смотрел на него, на то, как поредели его ряды. И больно было на сердце, и тяжело отзывалось это на моей усталости. Но я не терял веры в то, что силы наши оправятся и пополнятся новыми, и что победа над палачами все-таки будет на стороне нас, трудящихся, в самые ближайшие недели, и убеждал в этом своих друзей повстанцев, и чувствовал, что они бодрелись и старались делать все для того, чтобы все это сбылось.

В Санжаровке мы встретились со свадьбой, о пропуске которой через Старую Темировку помещик Цапко ночью приходил хлопотать. От ряда лиц из этой веселой свадьбы мы узнали, что отряд мад'ярских стрелков подночевывал в имении Цапко. Вопрос стал ясным. Цапко приходил в Старую Темировку, под предлогом просить пропуск для про-

езда жениха и невесты со всем свадебным поездом, в разведку.

Было сделано распоряжение повстанцам конфисковать все тачанки с лошадьми этой кулацко-помещицкой свадьбы. Повстанцы выполнили распоряжение и любезно предложили этой веселой кулацко-помещицкой толпе проводить жениха и невесту домой пешком, так как их тачанки и хорошие лошади нужны повстанческой армии для посадки на них пулеметов и пулеметчиков.

Отсюда отряд направился в об'езд вокруг Гуляй-Поля, с целью очистить окружность его от снова с'ехавшихся в свои богатые и роскошные усадьбы помещиков и крупных кулаков. Чтобы охранять их, немецко-австрийское командование снова насадило в этих усадьбах свои, теперь уже сводные, конно-пехотные отряды, преступно и глупо надеясь при их помощи приучить крестьянство уважать право помещицко-кулацкой собственности на землю и на паразитические привилегии.

До появления нашего повстанческого отряда под Гуляй-Подем, немецко-австрийские отряды в этих усадьбах и простилавшихся возле них деревушках, и даже в самом Гуляй-Поле, с помощью гетманской варты, торжествовали, ибо ни один из наших многочисленных мелких отрядов не в силах был справиться с ними. Они всегда, при столкновении, брали верх над отрядами и этим несколько запугивали население района.

Это-то и заставило Штаб Повстанчества распорядиться, чтобы район Гуляй-Поля, в первую очередь, был раз и навсегда очищен от помещиков и их охраны — с расчетом, чтобы они никогда уже не могли возвращаться в эти свои гнезда.

Делая этот об'езд вокруг Гуляй-Поля, наш отряд принужден был под каждым именем задерживаться по нескольку часов, выдерживая контратаки помещиков и кулаков, с помощью немецко-австрийских солдат. При этом нам, конечно, пришлось нести большие жертвы. Тем не менее, мы не могли отступить. И мы, в конце концов, всюду врагов окружали и уничтожали.

Эти наши бои вокруг Гуляй-Поля, — повторные и упорные бои повстанцев с врагами революции, с врагами права трудящихся на землю и вольный труд, на свободу и неза-

висимость, с помещиками, кулаками и грубой силой немецко-австрийских штыков, — на сей раз привлекли к себе внимание очень широкой трудовой массы.

Массы стали быстро группироваться вокруг созданных нами инициативных повстанческих групп и начали под их руководством решительно восставать в ряде районов почти одновременно.

Это ошеломило тупое немецко-австрийское и гетманское командование на Екатеринославшине так, что оно в первые дни даже не знало, что, какими силами и в каких местностях прежде всего народное восстание.

Так, Штаб Повстанцев-Махновцев в третий раз осуществил чистку окрестностей Гуляй-Поля от контр-революционных сил и заставил широкие трудовые массы реально выявить свое отношение к этому решительному действию. И когда окружность Гуляй-Поля была очищена от контр-революционных сил, массы не только морально, но и реально поддержали наше дело. На время, по крайней мере, центральные рычаги контр-революционных вооруженных сил были парализованы. И тогда Штаб и главное ядро вооруженных повстанческих сил вступили в Гуляй-Поле с определенными задачами.

Глава XIII.

ТРЕБОВАНИЕ-МАНЕВР К НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИМ И ГЕТМАНСКИМ ВЛАСТЯМ. ПЕРВЫЕ КОМАНДИРЫ БОЕУЧАСТКОВ. ПРОВОКАТОРЫ И ШПИОНЫ.

НАШИ ПЛАНЫ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ БОРЬБЕ С ВОЗВРАТИВШИМИСЯ ПОМЕЩИКАМИ И КУЛАКАМИ. МОЙ ОБЪЕЗД РАЙОНОВ.

Октябрь месяц 1918 года. Отряд вступил в Гуляй-Поле. Созвали большой митинг для повстанцев и населения. Я и товарищ Марченко осветили перед всеми тружениками задачи Повстанчества Махновцев в данный момент. Был затронут вопрос об организации отнятия у буржуазии ору-

жия; о том, что проделал наш отряд на этом пути, и что должны повсеместно по всей Украине проделать все наши отряды, все трудовое население, желающие быть свободными от государства вообще и от гетманской государственности в частности.

Население Гуляй-Поля и повстанцы целиком одобрили задачи нашего Повстанческого Махновского движения. Население, еще не взявшее в руки оружие, постановило поддерживать движение Повстанчества всеми материальными и техническими средствами, заверив при этом, что вся молодежь считает себя от сего дня в распоряжении Штаба Батька Махно.

С этого времени наши подпольные инициативные участковые группы стали открытыми органами формирования революционно-боевых единиц повстанчества. Симпатии, бдительность и активная помощь трудового населения явились их охраной в работе над этим делом. Таким образом, Гуляй-Поле, изменнически преданное немецко-австрийскому и Украинской Центральной Рады командованию в апреле месяце, теперь восстановило свое революционное положение в районе. И снова из него начала исходить проповедь крестьян-анархистов о подлинной революции трудящихся, как о средстве разрушения старого царско-помещичьего строя и создания на его месте строя нового, красивого и свободного от власти собственников и политических авантюристов: подлинного свободного общества тружеников.

В день занятия Гуляй-Поля Повстанческий Штаб обсудил вопрос о судьбе схваченных австрийскими властями наших товарищей: А. Калашникова, секретаря Гуляй-Польской группы анархистов-коммунистов, и о членах этой группы: Савелии Махно, Филиппе Крате, Прохоре Коростелеве и других, заточенных в Александровскую тюрьму.

Теперь мы решили действовать не только на фронте, но и на телеграфе против врагов революции. Мы выработали телеграмму немецко-австрийским и гетманским властям в городе Александровске, которая пред'явила требование об освобождении наших товарищей из тюрьмы. В ней мы говорили им:

„Разбив и разогнав немецко-австрийские и гетманские силы под Гуляй-Подем, Штаб Повстанчества временно за-

держался в Гуляй-Поле, откуда нашел наиболее удобным потребовать от немецко-австрийской и гетманской власти города Александровска немедленного освобождения из тюрьмы всех крестьян Гуляйпольского района. И, в первую очередь, представить из них в Гуляй-Поле: Савву Махно, А. Калашникова, Прохора Коростелева, М. Шрамко, Филиппа Крата. При невыполнении требования Штаба Повстанчества, Штаб принужден будет двинуть свои силы на Александровск, и тогда немецко-австрийское командование и гетманские власти пусть гневаятся сами на себя. Восставший народ не даст им пощады”.

Телеграмма эта пошла за подписью Батька Махно и его адъютанта Щуса.

На это наше требование комендатура города Александровска нам ответила, что она считает требование Штаба Повстанческих Революционных Войск имени Батька Махно вполне резонным при создавшемся положении, но выполнить его не может, так как освобождение требуемых лиц из тюрьмы, — в особенности лиц, поименованных в списке, — не подлежит ее санкции. Комендант города Александровска от себя может сделать лишь то, что ни с одного из поименованных в списке лиц ни один волос с головы не упадет до суда над ними. За это господин Комендант ручается и велел сообщить об этом в Гуляй-Поле, в Штаб Повстанческих Войск.

Ответ из Александровска был для нас показателем того, насколько враги с нами считаются. С этой стороны он нас удовлетворил, и мы полностью использовали его в своих агитационных целях. Здесь же, в Гуляй-Поле, Штаб Движения и представители от повстанцев и всех инициативных групп заслушали мой доклад о необходимости в спешном порядке стянуть все уже организованные и вступившие в открытый бой с врагами революции отряды в районы Чаплино-Гришино и Цареконстантиновка — Пологи — Орехово и создать определенные повстанческие фронты: 1) против немецко-австро-гетманской вооруженной контр-революции; 2) против казачьих отрядов Белого Дона; 3) против Дроздовского отряда со стороны города Бердянска; и 4) против помещицко-кулацких отрядов, под предводительством агентов генерала Тилло, со стороны Крыма.

— Настало время, — говорил я в этом своем деловом докладе, — перейти от отрядов мелкого состава к крупным, вплоть до вольных батальонов большой численности и хорошего боевого качества, которые могли бы выполнять задачи революции в борьбе с контр-революцией в фронтовом порядке. Неузвимо же легкие боевые, коннопехотного состава, с пулеметами на тачанках, партизанского характера отряды займутся делом партизанским по всей левобережной Украине против врага и явятся лучшими подсобными боевыми единицами для батальонов защиты революции на фронте. Враги сильны и человеческим мясом, и техническими средствами. Они строят фронт, и мы не должны упустить момента во-время создать против него свой революционный, трудовой фронт. Иначе наше восстание будет увлечено на путь излишней мести врагам и обессилит себя физически и морально в выполнении своей роли, идя к прямой гибели на этом ложном пути. Фронт против красновщины; фронт против дроздовщины и тилловщины, представляющих собою, как вам известно, деникинщину; фронт против немецко-австрийско-гетманских сил; следовательно — фронт, охраняющий Гуляй-Поле, как идейный вдохновляющий центр нашего восстания и как центр организации и общего руководства восстанием, — вот что должно быть отныне нашим лозунгом дня!

— Это невозможно, мы бессильны выполнить это дело! — раздался голос некоторых товарищей.

— Он с ума сошел, — подавал свой голос товарищ Марченко против меня и выдвинутых мною положений о фронте.

А я, сознавая, что все эти реплики ни на чем не основаны, радовался, ибо видел, что положения эти будут приняты нашим чрезвычайно важным заседанием, и что тот же товарищ Марченко будет ревностно, как подобает истому революционеру, работать над тем, чтобы привить идею этих положений широким трудовым массам и вместе с ними проводить ее в жизнь. Поэтому друзья мои услышали от меня, в ответ на их возражения, следующее:

— Непосильного мы ничего не будем делать. Но то, что нужно, что можно, что должны мы делать, мы все будем делать для того, чтобы широкие трудовые массы деревни, а по возможности и города, проявили, так же, как и мы, и

в том же направлении, что и мы, свой пафос революционного бунта против контр-революции. Воодушевленные этим пафосом широкие массы могут выйти на широкий простор революционных действий и смогут побеждать своих врагов. Пример этому вокруг нас – всюду, где наши отряды проявили максимум своей воли, энергии, отваги и чести в борьбе. Я не буду возражать против того, что выдвинутые мною положения о стягивании отрядов в одно целое и о создании фронтов не требуют от нас больших жертв. Я предвижу все, что от нас, в первую очередь, требуется на этом пути. От нас потребуются акты самопожертвования и жертвы. И я, и вы все до сих пор сознавали и всегда были к этому готовы. Ведь только благодаря вашему, товарищи, самопожертвованию мы до сих пор так стойко держимся в этом серьезном окружении нас нашими врагами. И как еще держимся! Заставляем врагов трепетать перед одним лишь донесением, что мы против них идем, вот-вот недалеко от них. А создание фронта и решительная борьба и в фронтовом порядке, и партизански, лишь даст нашим врагам сильнее почувствовать нашу решимость бороться против них не во имя примирения с ними, а во имя полного уничтожения их, как силы преступной и гибельной для дела освобождения рабов от господ... Правда, товарищ Марченко прав, когда он опасается того, что мы, не имея подготовленных к руководству фронтовыми операциями людей, можем сами нанести нашей организации непоправимый удар на пути фронтовой борьбы с врагами. Но он совершенно не прав, когда, из-за боязни этого, находит меня сошедшим с ума. Я не только верю, но убежден и знаю, что с этим делом, на первых порах его организации и действия наших организационных сил, мы справимся имеющимися в наличии здесь нашими силами. В самом деле: разве товарищи Петренко, С. Каретник, тот же Марченко, Мощенко или младший Тыхенко, – разве все эти товарищи не справятся с начальным делом формирования из мелких отрядов более крупных боевых единиц, чтобы заняться с ними фронтовым делом борьбы? Да и я в вашей среде, друзья, кое-что тоже ведь стою, именно в делах нашей организации. Неужели же мы, которые полны революционной страсти и желания бороться и побеждать, не сможем отдалиться этому крайне необходимому, серьез-

ному, прямому делу трудящихся с той же верой в правоту нашего идеала – революции, с теми же смелостью и самопожертвованием, с которыми мы взяли за организацию партизанских отрядов и с которыми уже ведем дело нашей организации по пути воспитания в массах бунта и революции?! На первое время мы с ним справимся. Я в это глубоко верю. А далее, восставшее революционное крестьянство выдвинет из своей среды новые кадры бойцов, которые или заменят нас, или же будут искренне помогать нам на этом пути. И намеченное нами создание революционных фронтов, – для борьбы, которую мы согласуем с партизанскими действиями наших отрядов специального характера, – поможет нам осуществить наши задачи: изгнать из Украины дикие немецко-австрийские и гетманские орды и не допустить вторгнуться и восторжествовать по их следам таким же, если еще не худшим, ордам Красново-Деникинских контр-революционных формирований. Эту задачу я обдумывал долгие месяцы. Осуществить ее является прямым долгом нашей организации именно теперь. Откладывать это дело наша организация не имеет права. Всякое промедление может явиться величайшим, непоправимым преступлением в отношении революции и на Украине, и в России. Поэтому я лично стою за то, чтобы мы, или вернее ряд наших товарищей, и товарищ Марченко в первую очередь, изгнали из себя дух боязни за то, что у нас нет офицерского кадра для формирования из мелких единиц крупных, чтобы занимать ими фронты, и занялись бы вместе с нами, верящими в самих себя, этим делом. Тогда мы общими усилиями приступим к делу и создадим все то, что условиями момента от нас требуется. Итак, друзья, возьмемся за это великое и неотложное дело с верой, что мы его с успехом выполним в начальных его формах. А там придут широкие массы тружеников, они его закончат.

После меня выступали многие товарищи и высказывались в положительном смысле по этому вопросу.

Товарищ Марченко и Щусь воздержались от выступления, заявив, что они будут делать все, что чрезвычайное наше совещание в большинстве своем решит и возложит на них.

Воздержание товарища Марченко от активного выступления против положения о создании фронтов и фронтовой

борьбы против врагов революции лишь укрепило решение этого важного вопроса. Совещание назначило кандидатов командиров для организации главных, по тому времени, фронтовых боеучастков: Чаплино-Гришино-Очеретенского, с одной стороны, и Цареконстантиновского-Пологово-Ореховского, с другой.

В результате совещания по вопросу о командирах были утверждены: П. Петренко, младший Тыхенко и матрос Красковский. Этим товарищам совещание дало наказ, который в общих чертах гласил:

Боеучастковые командиры в своей инициативе по стягиванию повстанческих отрядов в известной местности в одну боевую группу и по введению в ней революционной дисциплины — самостоятельны. Они вводят и закрепляют в жизни группы эти организационные начала с согласия повстанческой массы данной группы. В оперативном отношении они целиком подчиняются главному Штабу Повстанческих войск имени Батько Махно и самому Батьке непосредственно.

Уполномоченные чрезвычайным совещанием и утвержденные Штабом командиры были: товарищ Петр Петренко — на Чаплино-Гришинское направление, а младший Тыхенко и Красковский — на Полово-Цареконстантиновское.

Ореховское направление Штаб решил временно оставить открытым, без всякого заслона, имея в виду поручить его в ближайшее время формирующейся как раз в этом участке группе Правды.

Таким образом, командиры Петренко, Тыхенко и Красковский выехали в местности указанных выше направлений к нашим инициативным повстанческим группам с самими незначительными силами и занялись, при прямом и полном содействии этих групп, стягиванием мелких отрядов и организацией из них более заметных и в количественном, и в качественном отношении боевых групп, согласно предположению основного Штаба: создать серьезную фронтную линию борьбы на известной территории восставшего крестьянства против власти немецко-австрийского командования и гетмана „всего Украины” Скоропадского и, как я уже подчеркивал выше, против только только подымавшихся контр-революционных сил на Украине красно-деникинской формации.

После всего этого, наше чрезвычайное совещание заслушало мой доклад о необходимости реорганизовать и переименовать все наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного Штаба повстанческих войск. В этой реорганизации и, конечно, в более тесном сцелении их между собою и с основным Штабом я лично усматривал подлинную гарантию, с одной стороны, торжества федеративного принципа в жизни и борьбе повстанчества, а, с другой, того, что все эти действия примут тождественный характер с задачами и целями повстанческой анархо-махновской организации, как таковой.

Эта реорганизация групп в подотделы, на мой взгляд, необходима была еще и для того, чтобы основной Штаб повстанчества мог легче справляться со своими оперативными заданиями однородного ударного характера, не только на определенных своих боевых участках, но и повсеместно, на местах действия бунтующего, восстающего трудового крестьянства против врагов революции и свободы.

Совещание целиком одобрило мой доклад о реорганизации всех наших инициативных повстанческих групп в подотделы основного штаба повстанческих войск и высказало свое положение, чтобы я лично занялся этим делом, как лицо, пользующееся у этих групп абсолютным доверием, и как человек, много рисковавший на революционном пути во имя общего дела трудящихся. Я обещал совещанию все это выполнить в ближайшее время.

*
* * *

Помимо вышеизложенных задач, наше чрезвычайное совещание вменило в обязанность штабу сделать все от него зависящее, чтобы агроном Дмитренко, командир взвода еврейской роты вольного батальона весеннего периода 1918 года Леймонский, Прокофий Хундай-Коростелев и Тихон Бык были уничтожены теперь же, не дожидаясь окончательного установления Штаба в Гуляй-Поле.

За что?

1) Агронома Дмитренко, именовавшегося эсером, за то, что весной, в ночь перед тем, как Штабу Вольных Батальо-

нов Защиты Революции нужно было иметь бесперывную связь с командованием красногвардейского фронта, собрал молодых „шовинистов”, выехал с ними за Гуляй-Поле и перерезал все телеграфные и телефонные провода. Поступок Дмитренко, предательски контр-революционный, принес большой вред. Он крестьянами-революционерами не может быть прощен, тем более, что этот самый Дмитренко отлично жил в Гуляй-Поле при немцах и гетманщине, тогда как все другие революционеры частью были расстреляны этими палачами, частью же принуждены скрываться. И по чьей вине? По вине все того же Дмитренко, раз’езжавшего во главе конного отряда по району и вываливавшего всех их, чтобы выдать на казнь немецко-австрийскому командованию, как союзнику Украинской Центральной Рады, спасавшему, по выражению Дмитренко, „Украину от революции и кацапов”.

2) Леймонского — за то же, за что и Дмитренко. Леймонский, пользуясь доверием еврейской молодежи, занимался со своим взводом, в угоду буржуазии и контр-революционных заговорщиков, нападениями на квартиры членов Гуляйпольского Районного Революционного Комитета и членов Совета Раб. и Крестьянских депутатов, обезоруживал их, затем арестовывал и сводил в штаб заговорщиков для выдачи немецко-австрийским и Центральной Рады палачам. Теперь он служит шпионом в немецко-австрийском районном штабе. Это вызывает сильное возмущение широкого населения уже не только против него, Леймонского, но вообще против евреев, среди которых отдельные негодяи, вроде „анархиста” Льва Шнейдера (который, как известно, первый вскочил с гайдамаками в бюро анархистов, рвал знамена, бил и топтал портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семенюты и, вообще, помогал громить богатейшую библиотеку группы), оказались предателями. Леймонскому, как и Шнейдеру, не может быть пощады, — единогласно решило чрезвычайное совещание.

3) Прокофия Коростелева — за то, что он гетманский шпион.

4) Тихона Быка — за то, что он весной, при заговоре украинских офицеров шовинистов в пользу немецко-австрийской и Центральной Рады контр-революции, был пер-

вым организатором и председателем тайной „от трудового населения Гуляй-Поля и его Района” делегации к командованию контр-революции и, как таковой, вел переговоры с этим командованием по вопросам о сдаче Гуляй-Поля без боя, об отозвании с фронта и разоружении анархического отряда и, вообще, о разоружении вольных батальонов защиты Революции.

Помню, совещание особенно резко высказалось именно против этого Быка. Оно готово было в ту же минуту послать двух своих членов на квартиру Быка, чтобы убить его.

Я поклялся перед совещанием, что все изменники в нашей весенней борьбе с нашествием немецко-австрийских и Центральной Рады банд на революционную Украину будут уничтожены. Но я просил совещание не настаивать на том, чтобы Штаб Повстанчества занялся этим делом теперь, когда он, пока что, состоит всего из трех человек: А. Марченко, Семена Каретника и меня, с двумя моими личными ад’ютантами, тт. Щусем и Исидором Лютым (остальные товарищи: Петренко, Красковский, Тыхенко и другие уже имели определенное занятие на командных постах и не могли приниматься в расчет), и завален вопросами первостепенной важности. Я просил совещание верить моим обещаниям, что в будущем Штаб все предпримет для того, чтобы изменники были уничтожены, и в этом случае представить вопрос на разрешение самому Штабу Повстанчества. Я предлагал ни в коем случае не уничтожать Тихона Быка сейчас же, ибо, если его сейчас уничтожить, то мы должны одновременно уничтожить целый ряд подобных Быку негодяев. А это может непоправимо подорвать симпатии к нам и к делу восстания со стороны населения, которому доказывать целесообразность и, главным образом, правоту наших актов в отношении всей этой нечисти у нас нет ни времени, ни технической возможности.

Товарищи долго спорили между собой и, в конце концов, передали этот вопрос на разрешение штаба.

В это самое время наши заставы на станции поймали в одном из проходящих поездов Прокофия Коростелева и представили его на совещание. При опросе, он дал полное сознание в том, что он, под видом охотника на дичь, зани-

мался шпионскими делами в пользу немецко-гетманских властей, вербовал в шпионскую сеть новых агентов и получал за это приличное вознаграждение.

На вопрос Фомы Рябка: — А молодой Леймонский, взводный командир еврейской роты весеннего периода, тоже агент твоей шпионской сети? — Коростелев заявил, что молодой Леймонский именно и ввел его в эту организацию. Затем, Коростелев раскрыл нам целую группу лиц, занимавшихся шпионским делом по выслеживанию скрывающихся крестьян-революционеров и провокациями разного рода. Руководители этой группы были, большей частью приезжие в Гуляй-Поле люди. Группа имела своих членов, главным образом, в центре села; по раз'ездным делам ею вербовались евреи из спекулянтски-торгашеского мира; по окраинам Гуляй-Поля и по заводам вербовались члены из рабочих и крестьян кулацкого происхождения.

Несмотря на чистосердечное признание Прокофия Коростелева и на раскрытие шпионской организации, революционеры крестьяне не пощадили его. Он был тут же вывезен к месту свалки падали —дохлых лошадей, свиней и т. д. — и расстрелян. А совещание решительно вменило в обязанность Штабу Повстанчества уделить максимум внимания проверке, вылавливанию и беспощадному уничтожению всех членов шпионской группы врагов революции.

Штаб принял настаивания совещания во внимание, но считал более важным дело немедленного об'езда ряда районов, проверки в них деятельности инициативных групп и, затем последовательной неуклонной реорганизации этих групп в подотделы основного штаба разросшегося повстанческого движения.

Поэтому, как только чрезвычайное совещание кончило свои занятия, а санитарный отдел распределил раненых повстанцев — в том числе т. Шуся — по крестьянским избам на излечение, штаб снял главные силы своего отряда с Гуляй-Поля и с хуторов и направился в известные районы, по этому специальному делу. С точки зрения штаба, важно было убедиться непосредственно в плодотворной деятельности инициативных групп и подготовить почву для реорганизации их в его подотделы, чтобы скорее и легче справиться с делом организации повстанческих сил в широком масштабе, для занятия определенных, фронтового харак-

тера, боевых участков против вооруженной контр-революции. Только при таком порядке ведения борьбы можно было надеяться, в это трудное для революции время, что восстание наше оформится в определенную, организационную, организованную революционную силу, создаст себе определенный тыл и сможет наметить общие положительные основания для тех общественных единиц, которые нужны трудовому люду, как средство социального действия на пути определения и создания новых форм нового свободного общества тружеников.

Как ни чувствовали все мы, — и я, ближайшие помощники, — что эти задачи повстанчества слишком ответственны для нас, мы считали своим долгом использовать все то время, в течение которого революция носит социальный характер, надеясь, что нас услышат те из революционеров, с которыми я, во время поездки по России в апреле, мае и июне, встречался, и от которых слышал, что они ищут благодарной почвы для применения своих знаний и сил. Они, эти революционеры, — думалось нам (я тогда не мог еще допускать мысли, что они в большинстве своем — обыкновенные болтуны), — придут к нам и применят на пользу повстанческого движения, его живых и здоровых идей, эти свои знания и силы.

*
* * *

При об'езде интересовавших нас районов Александровского и Павлоградского уездов, нам пришлось вести большие бои с многочисленными немецко-австрийскими и гетманскими вооруженными силами, а также с разного рода отрядами немецких колонистов и кулацких хуторов, вооруженных командованием оккупационных войск и бывшей Центральной Рады. Теперь эти отряды являлись уже скрытыми основными ячейками денкинских военных формирований. Они были уже теперь многочисленны. На каждом шагу они открывали нас и тормозили наше продвижение вперед.

Немецко-австрийские и гетманские войска, пользуясь этими отрядами, местами успешно настигали нас, атаковали и били.

Около трех недель мы рейсировали по районам. Кое-где успешно проводили в жизнь наших групп новые организационные начала. Кое-где успевали только условиться с одиночками, членами этих групп, по важным для дела организации вопросам. Затем мы направились к Днепру, за пулеметами и вообще за оружием, которое бывшими гайдамаками было там попрято. Некоторые из них обещали передать его нам.

В районе Синельниково нам пришлось выдержать серьезный бой с немецко-австрийскими войсками. Мы потеряли здесь много сил убитыми и ранеными.

Бой завязался совершенно неожиданно и с незначительными силами противника. Первое время схватки наш отряд заметно взял перевес. Несколько увлекшись успехом, он скоро попал в опасное окружение и очутился в безвыходном положении. Если бы не подоспели другие наши отряды, со стороны, и не предприняли бы решительных мер с тыла против сил противника, весь наш отряд, вместе с основным Штабом движения, был бы перебит метким ураганным огнем хороших стрелков немецко-австрийских армий. Но многочисленные, хотя, сравнительно, и мелкие наши партизанские отряды, узнав от населения пройденных нами сел, что именно мы окружены немецко-австрийскими войсками, бросились, не щадя своих сил, на противника со всех сторон и принудили его бежать.

Здесь отличился своей боевой стойкостью и умелостью маневрировать под градом вражеских снарядов Ульяновский отряд, в 240–270 человек, поголовно из крестьян, бывших солдат.

Радости нашей не было границ, когда мы выбрались из этого окружения и, прогнав противника верст за 10, встретились с этим Ульяновским отрядом. Но то было время, когда, не только Штаб с командирами, но и каждый рядовой революционный боец сознавал особенность и ответственность положения. Поэтому отряды не могли долго оставаться вместе. Ульяновский отряд получил задание от Штаба уйти в район Чаплино-Гришино и объединиться с группой, восстановившей, под руководством старшего Петренко, фронт против немецко-австрийско-гетманских сил, с одной стороны, и казачьих (со стороны Белого Дона), с другой.

Отряд же, которым начато было дело восстания, то есть основной отряд со Штабом, направился к берегам Днепра, в пути постоянно натываясь то на врагов (и тогда сражаясь с ними), то на своих (и тогда давая им советы о перегруппировании мелких отрядов в более крупные и о подтягивании их к районам, где намечено было создать определенные плацдармы для организации фронтов и их боеучастков).

Как-то раз, переезжая через линию железной дороги Синельниково-Александровск, мы наткнулись на военные эшелоны немецких войск и приняли с ними бой, при следующих обстоятельствах.

Теперь мы лучше знали и немецкое командование, и немецких солдат. Поэтому, наткнувшись на эти эшелоны, мы, прежде всего, повели с ними переговоры о том, чтобы они, оставив себе для самоохранны на каждый эшелон по 10 винтовок и по ящику-два патронов, остальное оружие немедленно сложили перед нами. Однако, несмотря на эти переговоры, мы быстро заготовили все имевшиеся на станции Новогупаловка паровозы, чтобы пустить их навстречу эшелона, если придется применять силу для их разоружения. В то же время, подрывщики были на своем месте. И, вообще, все было приготовлено, что в таких случаях полагается, как с нашей своеобразной крестьянской точки зрения, так и с точки зрения чуждой, местами нам, крестьянам, мало понятной академической стратегии.

В переговорах немецкое командование как будто согласилось с нашими требованиями. Но когда оно отпустило нашу делегацию, то начало высаживать из эшелонов войска и развешивать их во фронт. Это вызвало решительный протест с нашей стороны. Скоро между нами завязался бой — не на жизнь, а на смерть. Наши паровозы, пущенные по обоим путям, сделали все, что надо было. Немецкое командование и его войска жестоко поплатились за свои лицемерные переговоры с нами, за лицемерное соглашение сложить оружие без боя. Поплатились настолько, что оставив нам много вооружения (на поле и в разбитом нашем первом паровозом самом крупном эшелоне), бежали в сторону Александровска.

В эшелоне оказалось, кроме оружия и патронов, тысячи банок разного варенья, настоек, фруктов, которыми рус-

ская буржуазия в Крыму одаривала этих палачей Украинской революции. Не говорю уже о том, сколько здесь было разной обуви и кожи для обуви, т. е. вещей, награбленных немецкими войсками всюду, где можно было: и по магазинам, и у крестьян — при обысках, порке, арестах и расстрелах.

Для того, чтобы широкая крестьянская масса могла видеть, какие вещи были в этом эшелоне, и серьезно подумать о том, где они могли быть приобретены немецко-австрийскими войсками, я распорядился, чтобы местные новогупаловские повстанцы сообщили в село крестьянам, — выйти к эшелону, посмотреть на содержимое в нем, и такие вещи, как кожа, сахар, варенье, забрать и распределить в общественном порядке, между беднейшими в первую очередь. Население все это награбленное богатство эшелона видело и глубоко возмущалось.

А мы ушли далее, к Днепру, к месту днепровских порогов, — туда, где шум быстрых и сильных потоков всегда что-то говорит имеющим силы бороться за широкие просторы и за вольность.

У порогов я лично и отряд повстанцев сели на плоты и двинулись по Днепру, под руководством опытных лодчанов крестьян, чтобы прощупать на дне Днепра пулеметы бывших гайдамаков-синежупанников, заподозренных гетманом и немецко-австрийским командованием в революционности и частью разоруженных, частью же разбежавшихся по Украине с оружием и спрятавших часть этого оружия в Днепре.

Пулеметы мы нащупали и около восьми штук вытащили. Хотя масло с них и было смыто, они еще сохранились и были пригодны на позициях и в боях. Здесь же, у Днепра, крестьяне снесли нам около двадцати ящиков патронов к русским и австрийским винтовкам.

Но здесь же, впервые за время нашего открытого вооруженного выступления против врагов революции и трудящихся, два повстанца (один, между прочим, лучший друг товарища Щуся) опозорили наш отряд, тайком от всех наложив на мельницу денежную контрибуцию в размере 3 000 рублей. Они получили эту сумму и позасиживали ее себе в шапки.

Об этой контрибуции я узнал при моем выступлении с

речью перед крестьянским сходом села Васильевки. Никогда, за все время моей революционной деятельности, я не чувствовал на сердце такой боли, как во время этого своего выступления. Мысль, что в отряде есть люди, которые тайно совершают непозволительные преступные акты, не давала мне покоя. И отряд не вышел из этого села до тех пор, пока лица эти не были раскрыты и, хоть и с болью, но без всяких колебаний расстреляны в этом же селе. Теперь я, братья Каретники, Марченко, Лютый, Мощенко, юный и до бесконечности честный Гаврюша Троян и другие, — все были в тревоге перед сознанием, что в отряд просачивается элемент, преследующий цели грабежа и личной наживы. И мы решили не останавливаться ни перед чем, чтобы с корнем вырвать его из повстанческих рядов и уничтожить.

*
*
*

Изъездив многие районы Павлоградского и Александровского уездов, кое-где реорганизовав наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного Штаба повстанческих Войск Имени Батько-Махно, мы повернули на Гуляй-Поле, опять-таки через село и станцию Новогупаловку.

При стоянке в селе Новогупаловке Штаб выяснил, что по линии Синельниково-Александровск, вот уже несколько дней, почти непрерывно рейсирует подозрительный поезд, в три-четыре вагона. Я лично придал этому поезду известного рода разветвительное значение; однако, не сделав распоряжения подрывщикам конной разведки подложить в известных местах фугасы и взорвать его. Штаб в это время постоянного начальника не имел. Обе функции — и начальника штаба, и командующего — сосредоточивались в моих руках. Поэтому дежурные по Штабу — старший Каретник и А. Марченко — сами тоже не дали распоряжения об этом подрывщикам. Отряд стоял спокойно и пополнял свои ряды свежими, стекавшимися к нам в этом районе, силами.

Целые сутки нас никто из врагов не беспокоил. Но вот мы снялись из села Новогупаловки и направились на переезд через линию железной дороги. Разведчики наши заняли станцию и узнали, что со стороны станции Софиевка

вышел этот же поездок в 3 – 4 вагона. Узнали даже, что он сопровождается несколькими русскими и украинскими (гетманскими) офицерами.

В группе разведчиков имелось, во главе с младшим Каретником и Василием Шкабарней, около двенадцати человек лучших солдат, пограничников старой военной службы, людей очень опытных и серьезных.

Подзываю младшего Каретника и делаю ему распоряжение остановить этот поездок у подхода к вокзалу: – Если не надеешься на свои силы, возьми человек 30-ть из пехоты с пулеметами.

И тут же даю распоряжение товарищу Клерфану отпустить эти силы из пехоты.

Младший Каретник говорит:

– Мы его остановим и возьмем силами разведчиков.

И тотчас бросается галопом к своим людям.

Отряд наш пересек линию и, как будто, начал удаляться от станции. Но как только передние его части скрылись за бугорок, командир Клерфан быстро повернул вправо с целью обойти поездок сзади и отрезать его. Маневр товарища Клерфана оказался, однако, бесполезным. Поездок этот подскочил к станции и как будто начал останавливаться по сигналу подскочивших к нему младшего Каретника, Шкабарни и других. В действительности, он останавливался с целью, чтобы команда его взяла более верный прицел. На этом тихом ходу из поездка посыпался град пулеметных и ружейных пуль, скосивших на месте Шкабарню и с ними еще четырех лучших бойцов. Был также тяжело ранен младший Каретник. Были ранены его и моя лошадь. Обстреляв наших, поездок помчался вперед по направлению Славгорода-Синельниково.

Такая опрометчивость, главным образом моя и младшего Каретника, в распоряжении которого были фугасы, так что он мог впереди посадить подрывщика, глубоко запечатлелась в памяти у меня, и у самого Каретника, с радробленной левой рукой, и у всего отряда. Потеря, в один день, лучших конных разведчиков, преданнейших борцов за народное дело, дня и ночи, и долгое время, мучила меня. С этого времени я глубоко и серьезно затаил в себе мысль о назначении специального отряда для занятия города Александровска и уничтожения в нем всех

офицеров известных мне войск службы гетмана. (Впоследствии читатель увидит, что мысли мои по этому вопросу целиком были осуществлены нашим отрядом, под командой Коробки, при занятии города Александровска).

Подобрав убитых и раненых бойцов, мы отехали от станции Новогупаловки верст за 15-ть и в одной из деревушек оставили убитых при нескольких товарищах, чтобы крестьяне похоронили их за счет Штаба.

Сами мы продвинулись в направлении к селу Лукашево, где имелся хороший хирург, чтобы попытаться спасти руку младшему Каретнику и сделать необходимые операции другим повстанцам. На наше счастье, мы встретили этого доктора хирурга в дороге. Он как раз ехал из Ново-Николаевки домой, в Лукашево. Я ему объяснил положение раненых. Он тотчас же пересел на нашу подводку и быстро помчался в Лукашево. Там он забрал нужные инструменты (перевязочные материалы у нас были) и приехал ночью в указанную мною деревню Алеево, где расположился наш отряд.

Почти всю ночь напролет наш славный доктор провозился с ранеными и оказал всем им и, вообще, отряду неоценимую помощь.

Все это происходило, приблизительно, в 20-ых числах ноября 1918-го года. В этой же деревушке Алеево, на утро, когда, присутствовав всю ночь при производстве операций раненым повстанцам, устав и изнервничавшись, я, наконец, немного отдохнул, я счел нужным устроить митинг крестьянам этой деревни. Я пришел на их сход и начал говорить им об их рабском положении под гнетом гетмана и водрузившего его немецко-австрийского юнкерства, приведенного сюда и посаженного им на шею Центральной Рады.

В этот день в этой деревушке была как раз получена первая телефонограмма из Александровска, сообщавшая „всем, всем, всем” о том, что в Киеве совершен переворот. Гетман Скоропадский низвергнут. Организовалась Украинская Директория под председательством В. Винниченко. Директория объявила всем политическим узникам амнистию и т. д., и т. п.

Помню, с каким воодушевлением один из граждан деревни, учитель, читал эту телефонограмму крестьянскому

собранию. С пафосом незаурядного деревенского оратора и „широко” украинца он произнес затем речь и поставил мне в упор вопрос: — Какую позицию вы, Батько Махно, со своими революционно-повстанческими силами, займете по отношению к Украинской Деректории, во главе которой, как вам теперь известно, стал человек, заслуживающий не только уважения, но и полного доверия от трудового народа.

Сведения о Киевском перевороте меня лично мало тронули. В нем я видел все тот же политический шантаж, какой я видел и в водворении гетмана Павла Скоропадского, шесть месяцев тому назад.

Но вопрос, поставленный мне учителем, застал меня врасплох. В этой деревушке я его не ожидал, и поэтому он меня несколько смутил, — тем более, что на собрании присутствовала масса повстанцев, а вопрос о политическом доверии Винниченко был чрезвычайно серьезным: ответ на него требовал не только правды, но и серьезного, ответственного обоснования. Хорошо помню, как я, начав говорить и, в то же время, обдумывая ответ, вначале нервничал, глотал слова и заикался. Это даже принудило меня остановиться, прекратить речь и попросить кружку воды. Так я выиграл время, овладев своими нервами и, затем, начал отвечать на поставленный мне учителем вопрос.

Украинскими труженикам, — говорил я, — мало когда везло в истории их борьбы. За их спинами почти всегда действовали изменявшие им вассалы, если не польской шляхты, так русских царей. Я конечно, не знаю Винниченко лично, но я знаю, что он — социалист, притом социалист, принимавший и принимающий участие в жизни и борьбе трудящихся. Он обладал и обладает социалистической верой, пафосом чувствования и действия. По крайней мере, я так понял Винниченко. Однако, до политического доверия к нему отсюда еще далеко. Особенно в настоящее время, когда трудовой народ, освободившись от политического рабства в 1917 году, стремится к коренному переустройству социальной жизни, а многие Винниченки ввели его к совсем другим берегам... Я точно не осведомлен о том, какую роль играл Винниченко в деле заключения Украинской Центральной Радой союза с немецким и австрийским царями: союза, приведшего на Украину, против революции, 600 000-ю армию сознательных и бессознательных

убийц, рвущих и топчущих, вот уже около 6 — 8 месяцев, тело украинской революции, убиавших уже десятки тысяч крестьян и рабочих и продолжающих убивать по сей день. Но я знаю, что Петлюра, военный министр бывшей Украинской Центральной Рады во время нашествия этих орд на Украину, шел в авангарде с гайдамацкими бандами, дико расправляющимися с каждым революционно мыслящим крестьянином и рабочим. И я знаю, что теперь Винниченко, рука об руку с этим самым Петлюрой, создает на Украине новое правительство. Где же, — я вас, товарищ, спрашиваю, — в революционных украинских селах и городах среди тружеников такие дураки, которые поверили бы в „социализм” этого петлюровско-винниченковского украинского правительства или „Украинской Деректории”, как оно себя величает?.. Я знаю, что для вас и для ваших друзей, щирых патриотов, Винниченко и Петлюра являлись лучшими представителями украинского дела. Но, по-моему, украинское дело должно быть революционно-освободительным делом самих тружеников, без немецкого царя, который бросил весь немецкий народ в кровавую бойню... Вот почему я не думаю, что революционно-повстанческое движение под моим руководством может найти общий язык с этой Украинской Деректорией; тем более, что нам, повстанцам, неизвестна еще программа Украинской Деректории, равно как и то, кем она избрана. Украинское революционное повстанчество имеет перед собою в настоящее время одну задачу: окончательно деморализовать и разбить немецко-австрийские армии на Украине и раздавить гетманщину. Дело великое, уже повстанчеством начатое. Менять его на задачи Деректории революционному повстанчеству не придется. Деректория ничего живого и здорового, связанного с чаяниями украинских тружеников, не даст, даже если бы и стремились к тому. По примеру всех либеральных правительств, какие иногда бывают в республиканских странах, она скоро делается поборницей прав буржуазии, как класса материально богатого и выгодного для правителей. Она скоро запутается в буржуазных делах и потеряет тот социалистический-демократический характер, какой, — вы верите, — Винниченко своим председательством вложит в нее. Я и революционное повстанчество в эту комедию-чудо не верим. Украинской Ди-

ректории мы признавать не будем. И если, перед лицом более опасных контр-революционных сил на Украине, мы и не будем сейчас вооруженно бороться против Директории, то мы будем дни и ночи не досыпать, будем серьезнейшим образом готовиться к этой борьбе против нее. В лице Украинской Директории, по-моему, неестественно народился и так же неестественно может вырасти и временно окрепнуть новый палач подлинного политического и экономического освобождения украинцев украинцев. Революционное повстанчество, не останавливаясь ни перед какими жертвами, бесстрашно идет вперед и умирает за идеи подлинного освобождения трудящихся от власти имущего буржуазного класса и его наемного слуги — государства. На этом пути повстанчество встретило серьезнейшую преграду в лице немецко-австрийских и гетманских вооруженных сил. Оно проламывает эту преграду вот уже два месяца с лишним. Враги дрогнули и преграда зашаталась. Повстанчество повалит эту преграду и пойдет далее против деникинщины и Украинской Директории с открытым лицом и глубокой верой, что трудящиеся его поддержат в этом деле. „Смерть всем врагам освобождения трудящихся!“ — должен сказать каждый труженик в селе и в городе и, в согласии с этим, действовать против врагов...

Крестьяне деревни Алеєво наградили меня словом:

— Вы, Батько Махно, наш неизменный друг. Мы пойдем все в повстанчество и будем бороться с буржуями и их властью.

Человек, поставивший мне вопрос о Директории и об отношении к ней повстанчества, пожимал плечами, приговаривая, что если, действительно, так может быть с Директорией, он тоже будет против нее...

А мои друзья, в особенности Алексей Марченко, признали мое выступление перед крестьянами по вопросу об Украинской Директории настолько удачным и верным, что готовы были сейчас же снарядить группу всадников и послать меня с нею в специальный повторный об'езд всех районов, с целью изложения широкой крестьянской массе нашей повстанческой точки зрения на организовавшееся в Киеве новое правительство, чтобы, таким образом, раньше, чем правительство выпустит свою программную декларацию, революционное крестьянство было в общих чертах осведомлено об этом правительстве.

Лишь один Каретник, как всегда, был категорически против того, чтобы я вообще отлучался на сторону от основного повстанческого ядра. Он, всегда мало говорящий, если уже говорил о чем-либо, то всегда твердо и конкретно, причем от раз принятой точки зрения на вещи никогда не отходил. Не звавшим его близко, он казался сердитым, но выдержанная ровность его характера скоро раскрывала в нем человека просто чуждого малейшего лицемерия, человека исключительно прямого и целиком сосредоточенного на мысли об успехе движения. Вот этот самый Каретник высказался против такой успешности в приготовлениях к борьбе с Украинской Директорией. Он утверждал, что власть Директории может быть реальной силой только в Киеве и возле него, на всю же Украину она своего влияния не окажет.

— Революция на селе принимает явно противостанционный характер, — подчеркивал товарищ Каретник, — который мы всеми силами и должны поддерживать, стараясь, чтобы он был выражен еще более определенно. В этом — залог тому, что вновь организовавшаяся Украинская шovinистическая власть в Киеве останется властью только для Киева. Крестьянство за ней не пойдет; а опираясь лишь на отравленный и зараженный властническими началами город, она далеко не уйдет. Поэтому я предложил бы всем товарищам отбросить мысль о посылке Батька по районам и ограничиться, пока, выпуском листовки, которая разъяснила бы населению новоиспеченную киевскую власть и ее цели. Отрывать Батька от Штаба теперь, когда организуются боеучастки, нельзя. Он, пока, — фактически Штаб. Об этом мы должны помнить, и не должны бросать его во все стороны.

Большинство товарищей согласились с Каретником и постановили, чтобы, как только приедем в Гуляй-Поле, выпустить листовку против Украинской Директории, как власти вообще, и как власти предателей интересов революции, в частности.

А когда с'ехались повстанцы, оставшиеся в деревушке Н. хоронить убитых конных разведчиков, отряд направилсь на Гуляй-Поле.

„МАХНО УБИТ”. НАПРАСНОЕ ЗЛОРАДСТВО
ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ.

Во время стрельбы по конным разведчикам на ст. Новогупаловке железнодорожники, видя, с какой скорбью повстанцы подбирали павших бойцов, пришли к выводу, что среди погибших находился и сам Батько Махно. Весть эта быстро донеслась до стана врагов и вызвала у них великое ликование. Офицеров, выезжавших поездом и убивших наших разведчиков, чествовали и восхваляли в городе Александровске.

Все кулаки и помещики, группировавшие в городе свои отряды по распоряжению александровского гетманского старосты и немецко-австрийского командования (в ожидании того что отряд наш будет наступать на город), теперь снова рассыпались по уезду. Некоторые раз'ехали даже по своим колониям и хуторам и всюду рассказывали о смерти Махно, о том, что главные его повстанческие силы деморализованы и разбегаются. Всюду наши враги справляли тризну по Махно.

Сам я не читал, но мне передавали из городов Александровска, что в прессе появилась заметка полуофициального характера о том, что „герои” офицеры представлены к награде за убийство Махно.

Слыша обо всем, я, естественно, не мог быть спокоен. Я видел, что враги революции снова подняли головы, как будто с повстанчеством все уже кончено. Снова враги расползались по уезду...

Перед выездом из деревни Алеево я имел уже в своем распоряжении точные данные о том, в каких хуторах и колониях и какие именно вражеские отряды нашему отряду придется встретить.

Женщины-добровольцы контр-разведчицы, — главным образом, из тех, которые фанатично верили в правоту повстанчества, — женщины замужние и девушки, труженицы крестьянки, с искреннего согласия своих мужей и родителей, делали все для того, чтобы всюду прорываться сквозь ротатки контр-революционных сил, разыскивать повстан-

ческие отряды и сообщать им, где и какие стоят силы врагов, куда и какими дорогами направляются, и т. д., и т. д.

Поэтому движение отряда из Алеево было рассчитано так, чтобы всем врагам, справлявшим тризну по моей смерти и смерти повстанчества, дать как можно сильнее почувствовать как их преступления, так и их глупость.

На нашем пути, верстах в 7—10-ти от Алеево, в колонии № 4 находился кулацкий отряд под командой помещика Ленца. Его-то и нужно было уничтожить в первую очередь. Однако помещик Ленц, будучи уверен, что Махно убит, выслал нашему отряду пакет с крестьянином. В пакете мы нашли заявление Ленца о том, что он с махновцами драться не желает, он хочет мира. В доказательство своей искренности, Ленц вывел свой отряд из колонии и дал нам возможность войти в колонию. А затем он попытался со своим отрядом со стороны, и с помощью колонистов изнутри, одним взмахом, если и не совсем уничтожить, то на половину перебить и перекалечить этот опасный махновский отряд.

Но в это время мы уже кое-что понимали в области партизанства и стратегии. Обхват колонии был нами выполнен так, что удар Ленца по нашему отряду и стрельба по нем из домов этой богатейшей колонии привели к полному ее разгрому. Сам Ленц, лишь с несколькими всадниками, еле умчался. Остальные его сподвижники и часть колонии (те, что стреляли по нашим бойцам) были раздавлены на месте, и колония была почти вся сожжена особой командой.

Затем, на зло врагам, главные силы нашего отряда получили от „убитого” Махно следующее задание:

„Командиры и Повстанцы! Враги революции издеваются над нами, над всеми тружениками села и города. Момент настал, когда мы должны их одернуть. Мы встретились сейчас с отрядом помещика Ленца. Отряд раздавлен, Ленц бежал. Чтобы не дать возможности Ленцу сообщить о своем поражении в другие хутора и колонии, другим контр-революционным отрядам, главные силы нашего отряда должны выделить достойный авангард и, по следам, огнем и мечем пронестись в один день через все кулацкие хутора и колонии маршем, который не должен знать никаких остановок перед силами врагов. Т. е., какие бы силы

врагов нас ни встретили, они должны быть раздавлены. Все богатеи, хозяева хуторов и колоний, которые, как вам известно, с'ехали из-под Александровска повеселиться на радостях, что их наемниками убит Махно, должны быть застигнуты нами за их оргиями неожиданно для них. Главные силы отряда пойдут со мною, Каретником и Лютым. Но в авангарде этих сил должны пойти кавалеристы-охотники, под руководством товарища Алексея Марченко. Они должны пройти по улицам хуторов революционно-боевым маршем, ничего не делая, только трубя в сигнальные рожки и стреляя в воздух. Работы по конфискации лошадей, тачанок, разного рода оружия и денежных средств, которые для нашего движения нужны, они оставят для других групп из главных сил, которые, на плечах кавалеристов, займут эти хутора".

И силы наши тронулись в этот тяжелый, но необходимый марш. Я сам видел, как бесстрашные бойцы во главе с Марченко шли впереди и теряли, под градом вражеских пуль, многих славных друзей. Но они не дрогнули и нигде не сбились. Они летели прямо на верную смерть, с глубоким сознанием того, что через свою смерть или победу прокладывают путь для других борцов и к другим победам.

Главные силы отряда входили в хутора, имена и колонии по следам первой группы, сравнительно под слабым встречным огнем.

Хозяева эти могли бы быть все уничтожены, вместе с их усадьбами. В сущности, это было бы ответом на жертвы, понесенные повстанцами при налетах на них помещиков. Но не жизнь этих хозяев нужна была повстанчеству, а реальное воздействие на их психику и та физическая победа над ними, необходимость которой диктовалась моментом. Отнятие жизни у тех, кто, однако, рвет и толчет жизнь других, считалось уже в то время в рядах повстанцев махновцев крайней мерой, применение которой допускалось лишь в отдельных случаях, в отношении одиночек, а не массы людей. Здесь, на пути через хутора, отнятие жизни могло иметь только массовый характер. Этого повстанцы махновцы старались избегать. Они ограничились, как говорилось в распоряжении, конфискацией у хозяев лошадей, тачанок, денежных средств, огнестрельного и холод-

ного оружия. Уничтожались лишь одиночки из них, главным образом те, которые состояли в отрядах, боровшихся против революции, раз'езжая по всему району. Этому элементу не было пощады, ибо его деятельность по селам в отношении революционно настроенных крестьян была слишком хорошо известна повстанцам махновцам. Некоторые из этих кулаков были форменными палачами в отношении крестьян и крестьянок. В районе Гуляй-Поле — Александровск можно было сплошь и рядом встретить, после их прихода, переизнасилованных крестьянок и избитых или загнанных в тюрьмы их мужей, не говоря об убитых.

*
* *
*

Пробег нашего отряда через кулацкие хутора и колонии в Лукашево-Бразоловско-Рождественском районах в боевом порядке произвел должное впечатление на все силы контр-революции, не только в Александровском уезде, но и вообще на Левобережной Украине.

Многие кулаки и помещики, увидев меня во главе отряда столбенели и не скоро приходили в себя. А когда они приходили в себя, то, не стесняясь махновцев, проклинали своих вождей за их ложь об убийстве того, против кого они так долго действовали и готовились выйти с оружием в руках целыми хуторами, и кому в руки теперь так глупо попались, убаюканные ложью о его смерти.

Конечно, с такими людишками повстанцы махновцы менее всего расправлялись. У них лишь конфисковались нужные повстанчеству хорошие лошади и тачанки под пулеметы (для пехоты в сводные конно-пехотные части революционной армии). Хутора теперь уже не сжигались. А хозяевам их, одуревшим при виде Махно, смерти которого они только что радовались, справляя пиры и восхваляя его убийц, делалось серьезнейшее предупреждение о том, чтобы они „подлечились” и занялись своим непосредственно мирным трудом, выбросив из своих деревенских голов всякие мысли о том, что немецко-австрийские армии на Украине непобедимы, и что за их спиной они, эти хозяева, укрепят свои прежние привелегии и власть над трудящимися...

Так, в этот день, с тяжелыми боями и большими жертвами (со стороны повстанцев и со стороны вооруженного кулачества) наш отряд прошел около 40-ка верст и вступил в свое родное по духу село Рождественку, где и расположился на вполне заслуженный отдых.

В селе Рождественке крестьяне дали нам сведения о роли рождественского священника, действовавшего заодно с кулаками и провокаторами в пользу гетманщины и против бедноты. Сведения крестьян об этом священнике, о его личных доносах немецко-австрийским и гетманским карательным отрядам на крестьян, — сведения, нашедшие себе подтверждение в ряде убитых этими отрядами передовых крестьян, — послужил для штаба достоящим основанием, чтобы вызвать священника, опросить его и поставить на очную ставку с несколькими крестьянами.

Священник был опрошен, а затем, как собака, был самими крестьянами и повстанцами повешен.

Казнь рождественского священника была у повстанцев махновцев вторым случаем уничтожения священников за их провокаторскую роль в отношении трудового крестьянства. За аналогичное действие штабом был в свое время схвачен семеновский священник, о котором крестьяне всем своим сходом показывали, что он является организатором кулаков и провокатором по отношению к бедноте. Некоторые из семеновских крестьян рассказывали, как этот „их“ священник расспрашивал женщин о том, чем занимаются их мужья и т. п., и вскоре после этого мужья некоторых женщин арестовывались, ибо „глупые женщины“ перед священником таяли и рассказывали ему, что их мужья говорят против гетмана и немецко-австрийского командования.

Второй, рождественский случай уничтожения священника за провокацию скоро разнесся по району. И священники, начавшие было практиковать в районах повстанчества свои ораторские и провокаторские способности, быстро охладели к этой практике и возвратились к своим церковным делам, держась тише воды, болтаясь в них, не касаясь уже революции, даже когда некоторые старички крестьяне, по своей ли инициативе или по инициативе своих сыновей, насмешливо спрашивали их: — А что ж это вы, отец такой-то, перестали объяснять народу свои мнения

про гетмана и спасших Украину немцев и австрийцев от „кацапсько-жидівського бруду“, что называется революцией?..

Теперь священники или совсем молчали или же становились яркими сторонниками только церковной правды на земле и отделялись от подобных вопросов заявлениями, что канонические дела не позволяют им следить за мирскими общественными и политическими делами; или, что новые распоряжения от церковной епархии требуют от них не вмешиваться в политическую жизнь страны, и т. д., и т. п.

После отдыха в селе Рождественке, отряд вступил в свое родное Гуляй-Поле.

Глава XV.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ИЗ ТЮРЕМ ГУЛЯЙПОЛЬЦЫ. ПОЛОЖЕНИЕ ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА. ЕГО ФРОНТЫ. РОСТ КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ. НЕДОСТАТОК В АНАРХИЧЕСКИХ СИЛАХ. ПЕРЕГОВОРЫ С ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ ВОЙСК ДИРЕКТОРИИ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРИЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДИРЕКТОРИИ И НАЧАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ. НЕДОРАЗУМЕНИЕ С НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ.

Вступление отряда в Гуляй-Поле было на этот раз особо радостным и для его бойцов, и для населения, которому было уже известно, что именно этим основным отрядом повстанческого движения разбиты в целом ряде районов вооруженные контр-революционные силы врагов трудящихся. К этой радости прибавилась радость встречи отряда с освобожденными из александровской тюрьмы членами Гуляй-Польской группы анархистов-коммунистов: А. Калашниковым, Саввой Махно, Филиппом Крагом и другими.

Встреча отряда с этими людьми, томившимися в тюрьме в ожидании смерти, — людьми, дорогими для отряда, как и им дорог был отряд, — произвела оживляющее впечатле-

ние на каждого из нас, переутомленных в боях. Нам чувствовались в этих товарищах новые и серьезные силы, и мы все радовались им, как и они радовались тому, что вырвались из рук палачей невинными и могут снова отдать себя целиком служению революции, задачам нашего революционно-анархического движения в ней.

Приехавшие из тюрьмы товарищи привезли нам некоторые интересные сведения. Они рассказали нам о том, что Украинская Директория, сделав переворот и изгнав гетмана из Киева, поспешила, как будто по долгу социалистов (Винниченко, Петлюра, Макаренко были ведь социалистами, и некоторые ими остались), декретировать освобождение из тюрьмы всех политических заключенных, но не подумала об освобождении организаторши убийства палача революции, немецкого фельдмаршала Эйхгорна, левой соц.-рев-ки Каховской. Левые эсеры были этим чрезвычайно возмущены.

Этот поступок Украинской Директории еще более укрепил мое личное и всех моих друзей убеждение в том, что социалистического и тем более революционно-социалистического в Украинской Директории ничего нет. Ее преступное отношение к товарищу Каховской, в силу которого эта революционерка должна была оставаться в тюрьме, говорило о том, что Украинская Директория, хотя и низвергла гетмана от имени трудового народа Украины, намеревалась, как и Центральная Рада, и как гетман Скоропадский со своим правительством, душиť все, связанное с революцией.

Население Гуляй-Поля и района в подавляющем большинстве разделяло нашу точку зрения в отношении Киевской Директории (по недоразумению назвавшейся „украинской“).

Штаб повстанчества, параллельно со всей своей основной работой, начал работать также и для того, чтобы освобожденные повстанчеством районы правильно поняли Гуляй-Поле на революционном посту и высказались бы определенно о киевской Директории. Существовавшие по районам подотделы основного Штаба Повстанчества блестяще выполнили в этом вопросе задания Штаба. Таким образом, повстанческие районы, с первых же дней возникновения центральной украинской власти в лице киевской

Директории, были направлены нами по пути социальной революции.

Можно только пожалеть о том, что основной Штаб революционно-маховского повстанчества, во-первых, не имел крупных культурных сил и не мог издавать регулярно своих газет, ограничиваясь листовками и воззваниями, а, во-вторых, все еще состоял из тех же пяти человек: меня, двух моих помощников (т. С. Каретник и Марченко) и двух ад'ютантов (т. Щусь и Исидор (П.) Лютый).

Из товарищей, вернувшихся в наши ряды из тюрьмы, Калашников пошел по командной линии, а Савва Махно и Ф. Крат — по хозяйственной. Таким образом, мне, Каретнику и Марченко опять приходилось совершенно выбиваться из сил. Лишь сознание, что, пока, нас никто не может заменить, а также и то обстоятельство, что среди нас не было места ни тщеславию, ни интригам, поддерживали наши силы, и мы несли на себе тяжелую и ответственную работу по штабу и на фронте, который теперь имел уже три определенных боеучастка, как то: 1) Цареконстантиновский (в 45-ти верстах от Гуляй-Поля); 2) по линии Верхний и Большой Токмак (в 40—45 верстах); и 3) Гришинский (в 65—70-ти верстах).

Правда, ко мне начали стекаться мои личные друзья, из левых социалистов-революционеров, но их я не мог выдвигать на ответственные посты в период укрепления революционного повстанчества на его антисоциалистическом пути, и они группировались с свои партийные культурно-просветительные единицы или же раз'езжались снова по городам. Лишь один товарищ Миргородский из'явил согласие работать при мне, в согласии с решениями и постановлениями нашей группы анархистов-коммунистов, и то исключительно в рядах раз'ездных пропагандистов.

Такое положение заставляло меня и моих друзей часто задумываться над тем, вынесем ли мы всю тяжесть и ответственность с честью до конца. Как-то заехал в Гуляй-Поле тов. А. Чубенко, перед от'ездом в Россию. Я категорически запротестовал против его поездки и просил его остаться при штабе. Он остался и был тут же утвержден для особых поручений при мне. А товарищ Щусь был переведен в штаб в качестве члена его.

Момент борьбы был напряженный. Немецко-австрий-

кое командование, не выдержав наших повсеместных атак по селам и деревням, группировало свои силы по линиям железной дороги. Пришлось усилить партизанские отряды и направить их исключительно на разрушение железных дорог, на уничтожение воинских поездов, на решительное и полное разоружение. Одновременно денкинские военные формирования росли, как грибы, и строили против повстанчества новые боеучастки.

Мне, то и дело, приходилось ночью сидеть в штабе и работать, а днем выезжать то на один, то на другой боеучасток фронта, ибо я ведь был и командующим, и начальником Штаба в одно и то же время. Бывали моменты, когда я перебирал в памяти имена всех анархистов, сидевших в городах; но, после наблюдений за ними во время моей поездки по России, я не находил среди них людей, которые отделились бы целиком делу, начатому повстанчеством. По моему глубокому убеждению, они не были ни психологически, ни технически подготовлены к революции широких трудовых масс.

Поэтому я только болел душою, но не верил, что они должным образом услышат голос широких масс, столкнувшихся с практикой революции, и поспешат влить в их ряды достаточное количество своих идейно-революционных и организационных сил.

В городских группах было много анархистов-евреев. Для села, для нееврейского населения деревни, в этот момент бунта и революции, они были, как пропагандисты, не пригодны. После прихода на Украину немецко-австрийских экспедиционных войск, мещанско-купеческое еврейство дало здесь слишком много, в наших районах по крайней мере, шпионов, предателей и провокаторов штабам этих войск. Благодаря этим отдельным негодям, село, видевшее их гнусную роль, относилось с недоверием к евреям вообще. В этой области село нуждалось в серьезной ломке его мнения о евреях вообще. И ломку эту можно было бы сделать скоро и успешно лишь при помощи еврейских же революционеров анархистов, которые не относились бы к широким трудовым массам авантюристически. А таких товарищей евреев я не знал.

Конечно, еврейские революционеры анархисты непонимны в том, что анархические объединения себя организа-

ционно кастрировали для работы среди широких масс. Они не виноваты в том, что анархические ряды, в силу традиции, унаследованной от основоположников анархизма, состояются, даже в моменты революции, из отдельных групп и группок, которые ничем организационно и ответственно не связаны, и каждая из которых носит со своим собственным, часто не продуманным анархизмом, по своему расценивающим и момент, и задачи анархизма. Во всем этом виноваты те, до конца не продуманные основоположниками анархизма философские концепции, в согласии с которыми задолго до революции воспитывались анархисты. Весь их анархический революционизм заключается в проповеди и в толковании трудовых масс на путь революции, но в то же время в отрицании организованного руководства этими массами, в отрицании ответственности, неразрывно связанной с ходом событий и практическим участием в них анархических сил.

Еврейские товарищи в таком положении дел не виноваты. А потому от них нельзя было и требовать больше того, что некоторые из них революции дали. Еврейские товарищи не могли быть в то время ни худшей, ни лучшей средой в рядах революции. Как и подавляющее большинство анархистов вообще, они не понимали ни выгодного для анархических действий исторического момента, ни, тем более, положительных анархических задач этого момента.

Все это было на руку тем темным силам, которые считали анархизм, большевизм и левое народничество вредным явлением на теле революции и действовали против этих движений в целях уничтожения революции и подмены ее лучших идеалов идеалами черносотенно-хулиганско-погромческой вакханалии под знаменами временно „одемократившихся“ белых генералов и республиканцев типа петлюровщины.

Анархизм, не имея в наличии достаточного количества сил, способных понимать момент и своевременно отвечать на запросы дня в революции, первым попал под удары черных сил и оказался наиболее разбитым ими. А большевизм и левое народничество, прибегнув ко всевозможным изгибам, некоторое время держались на своем, а затем пошли по чуждым революции путям, выбирая каждый себе вы-

годное положение и жестоко разя сперва анархизм, а потом и друг друга.

— Итак, из городов никто к нам не приедет, — говорил я своим друзьям: — Поэтому нужно беречь те силы, какие у нас есть, чтобы вывести повстанчество на широкий путь действия и полностью выявить его ближайшие конкретные цели. Повстанчество со временем выделит новых передовых борцов и будет развивать далее свои цели и планы.

И мы, группа гуляйпольских крестьян анархистов-коммунистов, отдались с еще большим революционным энтузиазмом начатому повстанческому делу.

*
* *
*

В то время, когда штаб повстанчества остановился определенно в Гуляй-Поле и направил, помимо своих, уже организованных, большого масштаба повстанческих групп, многочисленных мелкие отряды на атаку немецко-австрийских распоряжений и передвижений; когда, то и дело, повстанческие силы останавливали воинские поезда и разоружали их, или же сплошной цепью, на обширном районе, вели бои с немецко-австрийскими и гетманско-деникинскими отрядами; когда нам удалось схватить в одном из таких поездов пробиравшегося далее важного, очень близкого атаману Белого Дона Краснову, посланца к Украинской Директории, несколько расшифровать планы движения белых генералов и, в связи с этим, удачно зажав в кольцо некоторые группы белых, успешно разбить их, — в это время именно атаман Екатеринославского Кошу войск Украинской Директории Горобець обратился в Гуляй-Поле, в Штаб Повстанческих Войск имени Батько Махно, с двумя, следовавшими одна за другою телеграммами.

В одной из этих телеграмм кошевой атаман предлагал нашему штабу прислать делегацию, чтобы сговориться о совместной борьбе за „Українську Державу” и, конечно, против революции. (Этого последнего пункта он не выразил словами, но его надо было подразумевать, судя по неопровержимым данным о том, что этот атаман войск

Украинской Директории был одним из покровителей формирования в городе Екатеринославе 8-го добровольческого корпуса. Впоследствии молодые украинские офицеры под руководством атамана Руденко выступили сами, помимо воли кошевого атамана, против зачатков этого корпуса).

В другой телеграмме атаман Горобець просил повстанческий штаб распорядиться, чтобы Чаплино-Гришино-Очеретенская группа повстанцев махновцев освободила посланца генерала Краснова, вернув ему все отобранное у него и оказала бы ему, этому посланцу, нужное содействие благополучно доехать в г. Екатеринослав к нему, атаману Горобцу.

Обсудив обе эти телеграммы, повстанческий штаб решил послать от себя делегацию в г. Екатеринослав, в штаб атамана войск Украинской Директории Горобца. В делегацию эту были назначены два человека: т. Алексей Чубенко и т. Миргородский, о котором я упоминал выше.

В задачу делегации, по наказу штаба, входило выяснить, чего штаб кошевого атамана войск Украинской Директории хочет от нас, а также прощупать почву среди солдат екатеринославского гарнизона и молодого командного состава, нет ли среди них противоденикинского настроения, и завязать с ними секретную связь, в целях устройства в городе восстания против деникинской ориентации штаба Горобца, имея в виду разоружение и изгнание из г. Екатеринослава немецко-австрийских штаба и войск и начавшего формироваться 8-го добровольческого белогвардейского корпуса.

Одновременно я поручил товарищу Чубенко заявить лично атаману Горобцу, в виде ответа на его требование, чтобы Чаплинская группа повстанцев освободила посланца генерала Краснова, что у посланца этого отобраны серьезные документы о подпольных белогвардейских организациях по губернии, и он освобожден быть не может. Он будет расстрелян, как сознательный, активный и злостный враг революции и трудящихся.

Делегация выехала в город Екатеринослав и в тот же день сообщила в штаб повстанчества, в Гуляй-Поле, лично Батьке Махно:

„Кошевой атаман Горобець отказывается от того, что он

вызывал из Гуляй-Поля повстанческую делегацию. Мы представили ему и его штабу копии обеих телеграмм в Гуляй-Поле, но он упорствует. Ждем дальнейших указаний.

Чубенко и Миргородский.

Декабрь 1918 года”.

Во время получения этого сообщения от делегации, меня в Гуляй-Поле не было. Вследствие того, что на Царкони-стантинском боеучастке был убит его командир, т. Красковский, я спешно выехал на этот участок непрерывных и ожесточенных боев, чтобы на месте посоветоваться с младшими командирами и повстанцами и утвердить на место убитого другого командира. Так что телеграмма нашей делегации шла из Гуляй-Поля по нахождению меня и немного запоздала. А пока я собирался ответить нашей делегации, мне сообщили, что от нее есть еще одна телеграмма. Меня спрашивали, прислать ли эту телеграмму мне, или я скоро возвращусь в Гуляй-Поле?

Я ответил, что еду в Гуляй-Поле, и в ту же минуту направился с новым командиром на фронт. Об'ехав линию находившегося теперь под его руководством боеучастка и поговорив с бойцами, грудью отстаивавшими каждую пядь освобожденной от насильников революционной территории, я к глубокой ночи вернулся в Гуляй-Поле.

В штабе меня ожидали с нетерпением, в виду накопившихся новых сведений со всех боеучастков повстанческого фронта. Я, не откладывая этих прямых моих дел в сторону и не беря их с собою на свою штаб-квартиру, тут же разделся и занялся их просмотром и надлежащими распоряжениями по ним. Здесь же я просмотрел новую телеграмму от нашей делегации, посланную из Пост-Амура (поселок Екатеринослава), в которой делегаты просили не отзывать их, так как ряд командиров, во главе с атаманом Руденко, опротестовали поведение своего кошевого атамана. По мнению делегатов, необходимо было остаться в городе Екатеринославе еще день-два, чтобы на месте выяснить и характер этого протеста, и то, чем все это кончится, „потому, что только в этом случае можно будет сделать безошибочные выводы нашему штабу, — говорилось в телеграмме, — о контр-революционных силах Екатеринослава”.

Как я, так и все мои помощники в штабе, целиком полагались на стойкость посланных в Екатеринослав товарищей, а потому я распорядился ответить им: — Можете задержаться в городе на несколько дней, но от официальных разговоров с кем бы то ни было воздержитесь, в виду провокаторского поведения кошевого атамана Горобца, или будьте беспощадными в раскрытии их подлой физиономии”.

Итак, делегаты остались в городе. Тем временем, более демократическая и социалистическая часть командного состава Екатеринославского Коша войск Украинской Директории дружнее сплотилась вокруг атамана Руденко и, вопреки воле кошевого атамана, организовала в честь наших делегатов банкет.

На этом банкете т. А. Чубенко, не взирая на присутствие в зале немецко-австрийского и русского белогвардейского 8-го корпуса командования, без всяких стеснений изложил присутствующим нашу, повстанцев махновцев, точку зрения на то, какой должна быть борьба с немецко-австрийскими контр-революционными армиями и, вообще, с поддерживаемой ими контр-революционной сволочью царско-помещичьего строя, и как мы, махновцы, эту борьбу проводим, готовясь одновременно к такой же борьбе с властью и войсками Украинской Директории, как с явно враждебной трудящимся контр-революционной силой.

Некоторые командиры из екатеринославского коша возмутились тем, что наш делегат называл все войска коша контр-революционной силой. Но то, что их кошевой атаман являлся с генералами сформированного в Екатеринославе 8-го белогвардейского корпуса и с немецко-австрийским командованием, для наших делегатов было хорошим аргументом, чтобы умалить их возмущение. И они это поняли, ибо, вместо дальнейшего протеста, они, как один, поднялись и провозгласили свое порицание вышнему своему командиру, атаману коша Горобцу, и потом грянули: „Слава, слава, слава Батьку Махно, его штабу и восставшим под его руководством широким трудовым массам!”

Это выступление произвело переполох среди контр-революционной публики. Белогвардейцы из 8-го корпуса и немецко-австрийские офицеры, так усердно всегда убеж-

давшие своих солдат, что Махно и махновцы никого в плен не берут, всех уничтожат, а потому, дескать, нужно бороться против них не на жизнь, а на смерть, — эти самые офицеры, находясь в зале, где состоялся банкет, повскакивали со своих мест, и одни, взяв под козырек, испуганными глазами искали среди банкетчиков ненавистного Махно, а другие, не оглядываясь, бросились из зала с такой тревогой и быстротой, что одному из делегатов пришлось на весь зал закричать: „Батька Махно здесь нет, и враги революции могут быть, пока что, спокойны за свою шкуру“.

Одновременно наблюдая за всеми, кто участвовал на банкете, нашим делегатам легко было, в беседе с частью командиров Екатеринославского коша войск Украинской Директории, подойти к тому, чтобы получить от них более конкретные сведения об их силах, расположенных в городе Екатеринославе и о силах 8-го белогвардейского корпуса и немецко-австрийских. И когда, — рассказывали по возвращении делегации, товарищ Миргородский, — мы заметили, что наши собеседники рассказывают нам обо всем вполне искренно, тов. Чубенко не выдержал и еще раз сказал им: — Какого же вы чорта смотрите на всю эту русскую белогвардейскую сволочь?.. Зачем допускаете, чтобы она формировала свои контр-революционные силы за вашей спиной против украинской революции? Разоружите ее и выгоните из города!..

Все это положило начало тому, что наши делегаты нашли себе много сторонников среди подчиненных кошевому атаману Горобцу. С ними наши депутаты установили нужную повстанческому штабу связь и возвратились в Гуляй-Поле.

Спустя две недели после этого, украинская молодежь из командного состава, вместе с рядовыми бойцами, под предводительством атамана Руденко, решительно выступила против формирования за их спиной 8-го белогвардейского корпуса.

Они дали частям этого корпуса бой, не дав корпусу окончить свое формирование и принять надлежащий боевой вид. Благодаря этому, они имели успех. Части корпуса принуждены были поспешно выйти из города, чтобы больше в него не возвратиться.

Это обстоятельство было на руку нашему политическому повстанческому Штабу, ибо тем самым войска Директории облегчили нам задачу наблюдения за этим участком фронта революции. Участок этот стал для нас менее опасен, чем он был до этого времени.

После этого украинская социалистическая молодежь из командного состава Екатеринославского Коша войск Директории, да и сам атаман Руденко, поскольку мой Штаб имел сведения, почуствовали себя несколько свободней, так как кошевой атаман Горобець был одернут за его чрезмерные связи с 8-м корпусом не только самим актом выступления его подчиненных против этого корпуса, но и из центра. Благодаря чему он очень присмирел и не мог уже больше пользоваться среди своих подчиненных тем авторитетом, какой за ним признавался до тех пор.

Из этой именно группировки, из Екатеринославского Коша войск Украинской Директории, нашлись люди, которые упорно заботились о том, чтобы как можно скорее сговориться с революционно-повстанческим Штабом на предмет восстановления общего фронта против немецко-австрийских армий и против Деникина.

Но этому плану не суждено было сбыться. Как я, так и все члены революционно-повстанческого Штаба понимали Украинскую Директорию как явление худшее, чем была Украинская Центральная Рада. А против Центральной Рады, против ее политики мы боролись решительно, ибо безошибочно и во время определили ее контр-революционную сущность, которая, как известно, была обнажена впоследствии ею самою союзом с немецким и австрийским царями, а также земельной „реформой“ против революции, против исконных чаяний трудового крестьянства. Следовательно, против Украинской Директории мы, если и не могли начать открытую вооруженную борьбу в эти дни, то должны были к этой борьбе готовиться, чтобы в удобный момент, как только успешно разорвем окружавший нас кольцом деникинский фронт и выйдем из этого окружения все еще путавшиеся немецко-австрийские отряды, начать против нее эту вооруженную борьбу. Эта задача диктовалась нам теми идеями, которые революционное повстанчество провозглашало на своих путях.

Однако, как самая борьба, как и подготовка к ней в то время, когда наш район со всех сторон был окружен и осажден деникинскими отрядами, всюду поддерживавшимися немецко-австрийскими армиями, была слишком тяжелой задачей для революционного повстанчества. Малейшая решительность со стороны Украинской Директории, направленная против нас, могла принудить нас снять целый ряд боевых частей с боеучастков против добровольческих частей деникинской армии и, таким образом, что называется „самих себя ликвидировать” в борьбе против деникинских полчищ, без надежды на победоносный успех в борьбе против войск Директории, так как для того, чтобы его достичь, нужно было иметь в своем распоряжении самое меньшее 70–100-тысячную хорошо вооруженную партизанско-повстанческую армию, силы которой могли бы, с одной стороны, защитить освобожденную территорию от казаков и деникинцев, нападавших со стороны Дона и Крыма, а с другой стороны, сбить и преследовать группировавшиеся по Днепру в Александровске и Екатеринославе войска Украинской Директории. Такой вооруженной силой повстанческий Штаб в то время не располагал, и поэтому мне и всем повстанцам нужно было быть осторожными в своих действиях в отношении войск Украинской Директории. По крайней мере на некоторое время эта осторожность была необходимой для нас.

Осторожность эта, как она ни была полезной, не могла предостеречь освобожденный нами район от кольцевого зажима нашими врагами: карательными немецко-австрийскими отрядами, деникинскими добровольческими полками и красновскими (донскими) казаками.

Нельзя сказать, чтобы Украинской Директории были по душе рост и развитие свободного от государственнической тенденции революционно-повстанческого крестьянского движения. Директория, об'явив вне всяких прав на территории Украины какую бы то ни было вооруженную народную силу, организовавшую без ее, Директории, санкции, поспешила в то же время об'явить мобилизацию новобранцев, надеясь, очевидно, что „молодые казаки” силою штыка закрепят за нею власть на Украине.

Мобилизация эта не могла затронуть нашего района, но окружающие его районы она затронула, и это ставило все

наши боеучастки против красновских казаков и деникинских добровольцев в очень тяжелое положение. Освобожденный нами район располагал рядом узловых станций с железнодорожными депо. Весь железнодорожный состав — паровозы и вагоны — находился в ведении железнодорожных комитетов нашего района. Военские уездные начальники, служившие Директории, могли стягивать мобилизованных только через наш район и, следовательно, по нашим железнодорожным путям. Перед повстанческим Штабом встал вопрос: пропускать ли мобилизованных через район? Вопрос этот требовал быстрого решения. Не пропускать, значило начать сразу же воевать и с Украинской Директорией, как мы уже воевали с Белым Доном и деникинщиной, что для нас, по чисто стратегическим соображениям, было пока не выгодно; а пропускать, значило пополнять силы врага, с которым, так или иначе, воевать придется, только несколько позже.

Над этим вопросом я, со своими товарищами по штабу, пробился почти целую ночь, копясь в соотношениях наших революционно-повстанческих вооруженных сил и сил врагов революции. Нам никак не хотелось пропускать мобилизованных новобранцев в уездные города, но мы все сознавали то, что за этим актом последует немедленное наступление против нас войск Директории, и тогда получится сплошное кольцо вооруженного наступления на революционный район, отбить которое нам вряд ли удастся с тем наличием запасов вооружения, которое мы приобрели в жесточайших боевых схватках путем тяжелых потерь жизнью, быть может, лучших бойцов на фронтах против немецко-австрийских карательных отрядов, против красновцев и деникинцев.

— Да, тяжелый момент подошел для нашего движения, — говорил я в эту ночь друзьям: — но мы должны суметь преодолеть его.

И друзья мои, в конце концов, сошлись со мной на следующем решении: необходимо пропускать мобилизованных властями Украинской Директории новобранцев через наш район, и, если нужно, то давать им и паровозы, и вагоны. Но вменить в обязанность всем командирам боеучастков, через которые эти новобранцы будут проезжать, всем повстанцам и военно-революционным комендантам, охра-

нящим железнодорожные станции и полустанки, *всюду задерживать движение поездов с мобилизованными и проводить с ними митинги.* Разъяснить им, что такое власть вообще и власть Украинской Директории в частности; зачем она их мобилизовала и почему она объявила закон, согласно которому на Украине не может существовать ни одна вооруженная революционная народная организация, организовавшаяся без ее, Директории, разрешения, и т. д., и т. д.

В согласии с этим мы выслали по всем линиям железных дорог пропагандистов, крестьян и рабочих, — главным образом, из Гуляй-Поля, к которому в то время труженики всех районов чутко прислушивались...

.....

(Здесь в рукописи Н. Махно следует перерыв. Две следующие страницы в рукописи отсутствуют. Найти их, к сожалению, до сих пор не удалось. Из дальнейшего текста видно, что на этих страницах рассказывалось о том, как, несмотря на принятое решение, революционное повстанчество вскоре вынуждено было вступить в борьбу с Директорией.)

.....

В связи с решением о наступательном действии против войск Украинской Директории, центр повстанчества — Гуляй-Поле — попадал в полное окружение контр-революционных вооруженных сил...

Чтобы действовать против этих сил правильно и с успехом, необходимо было теперь создать постоянный оперативный отдел, которого до сих пор не было. До сих пор все сведения о силах противника и их передвижениях поступали от командиров боеучастков непосредственно в штаб, в котором я был и начальником, и командующим. И мне приходилось очень трудно, так как все мои помощники были крестьяне и рабочие, военного образования ни один из них не имел. Во всех делах мне приходилось, прежде всего, разбираться самому, а затем уже давать, на свой риск и страх, указания друзьям, в каком порядке эти дела выполнять.

Теперь я пришел к тому, что необходимо создать оперативный отдел из представителей каждой боевой единицы, и в задачу которого должно входить собирание во время точных сведений о силах врагов, на основании которых можно было бы мне строить оперативные планы.

Отдел этот был организован. Его работой руководил мой помощник, И. Чучко. Это несколько освободило меня от излишней на моем посту работы.

И. Чучко все нужные сведения аккуратно группировал и во время препровождал их мне. На основании их я написал оперативные приказы, давал указания по штабу, действовал сам и увлекал в действие всех повстанцев, от командира до рядового бойца включительно.

Так проводилась нами жесточайшая борьба против немцев и австрийцев, с одной стороны; против красновского казачества и деникинщины, с другой. А теперь начиналась такая же борьба и с войсками Украинской Директории.

КОНЕЦ

ГУЛЯЙ-ПОЛЕ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Село Гуляй-Поле — одно из самых больших и, пожалуй, одно из популярнейших, среди трудящихся, сел на весь Александровский уезд Екатеринославской губ. Село это имеет свою особую историческую известность. В нем трудовое крестьянское население не допустило в 1905-м году еврейских погромов, когда небезизвестные в Екатеринославской губернии организаторы и вдохновители „Черной сотни” и еврейских погромов — судебный следователь Александровского 1-го участка г. Майдачевский и молодые представители Александровского кулечества, некие Шикотихин и Минаев — присылали специально своих гонцов в Гуляй-Поле для организации погрома против евреев. Из этого же села, благодаря многолетней в нем пропагандистской работе группы хлеборобов анархистов-коммунистов, был подан крестьянству, в 1906 — 1907-м годах, сигнал к борьбе со стольпинским закреплением земли в собственность. Борьба эта, начавшись с пропаганды, вскоре превратилась в сожжение помещичьих и кулацких хуторов. И отсюда же, из села Гуляй-Поля, был подан и в 1917-м году сигнал крестьянству обширнейших районов Александровского, Мелитопольского, Бердянского, Мариупольского и Павлоградского уездов к борьбе против Временного Правительства, не решавшего начать разрешать земельный вопрос до Учредительного Собрания, к недопущению на его место никакого другого правительства, а также к прекращению арендной платы помещикам на земли у помещиков и монастырей, а фабрик и заводов у фабрикантов и заводчиков.

В этом же самом Гуляй-Поле был выработан в 1917-м году и утвержден крестьянским съездом исторический акт, в согласии с которым трудовое не эксплуатирующее чужого труда крестьянство послало своих делегатов в города к фабрично-городским рабочим, чтобы сговориться с последними об объединении в общий союз, о совместном провозглашении земли, фабрик и заводов общественным достоянием и о совместном построении нового общества на началах подлинного самоуправления трудящихся, без опеки государства и его органов власти.

В Гуляй-Поле родился и воспитывался в крестьянской семье и пишущий эти строки. На мою долю выпало счастье подпасть еще

юнком под идейное влияние анархиста-революционера *Владимира Антони* (известного в революционных рядах под именем „Заратустры”). Благодаря влиянию этого революционера, с одной стороны, а также благодаря тому правительственному террору, который носился в 1906 — 1907 годах по русской земле против просыпающегося народа, я быстро занял последнее место в боевой Гуляй-Польской группе хлеборобов анархистов-коммунистов Екатеринославской организации и долго и упорно боролся с царско-помещичьим строем; и хотя, в конце концов, я все-таки был схвачен сатрапами этого строя и „судим”, но, в силу моего несовершеннолетия, избежал казни, которая постигла лучших из моих идейных друзей... Смертная казнь была заменена мне пожизненной каторгой.

Революция 1917-го года открыла для меня, в ночь с 1-го на 2-е марта, ворота московских Бутырок (Всероссийская Центральная Тюрьма); а дело революции на Украине заставило меня быстро перебраться из Москвы в родное Гуляй-Поле, где я и отдался снова — и с той же любовью, с какой до заточения меня в тюрьму, 9 лет назад — делу организации трудящихся для борьбы за новую свободную жизнь.

В этом самом Гуляй-Поле, по моей инициативе, был создан съезд крупных и мелких собственников-землевладельцев, у которых были отобраны бумаги-купчие на землю и сожжены. А во время корниловского похода на Петроград против Временного Правительства и революции, по инициативе из Гуляй-Поля, была обезоружена вся буржуазия, на большом пространстве уездов, которая сочувствовала „корниловщине”. Из Гуляй-Поля же была подана крестьянству инициатива для организации боевых отрядов, которая полностью была проведена в жизнь, по разоружению всех казачьих войск, сывавшихся с внешнего противогерманского фронта и направлявшихся на Дон, на помощь атаману Каледину, боровшемуся против революции, за реставрацию.

Гуляй-Поле, первое почти на всю Украину, провело уже в это время в жизнь конфискацию заводов в общественную пользу, вводило на них работы и сбывало их продукты под контролем тех, кто на них работал...

А когда правительство Ленина, с одной стороны, и правительство Украинской Центральной Рады, с другой, заключили союз с немецким и австро-венгерским правительствами, согласно которому правительство Ленина должно было оттянуть из Украины вооруженные силы революции, скомплектованные из русских тружеников, а правительство Укр. Центральной Рады вводило на Украину немецко-австро-венгерские экспедиционные полчища для ликвидации революции, Гуляй-Поле первое подало пример организации вольных батальонов защиты революции. И, по инициативе Гуляй-Поля, ба-

тальоны этого рода были созданы в целом ряде районов. И хотя в Гуляйпольском батальоне, благодаря тому, что я лично отсутствовал в то время в Гуляй-Поле (я отлучился по военным делам на несколько дней), шовинистам удалось внести раздор и некоторые его роты повести на измену революции, в пользу немецко-австро-венгерского и Укр. Центр. Рады командования, на основное ядро гуляйпольцев и большинство батальонов по районам оставались до конца на своих революционных постах, и много сотен из их рядов пали смертью храбрых в неравной борьбе с насильниками и убийцами, оккупировавшими революционный край.

Такова в общих чертах роль села Гуляй-Поля и его трудового, политиканством политических партий не отравленного, населения до и во время революции, до конца апреля месяца 1919-го года. А какова была их роль в последующие годы революции, об этом читатели узнают как из моих записок, так и из других материалов.

Париж. 1929 г.

Н. МАХНО.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие т. Волина	3
Глава I. — Под гнетом гетманщины	5
Глава II. — Мое первое нелегальное пребывание в Гуляй-Поле	15
Глава III. — Деревня Терновка и заговор убить меня	27
Глава IV. — Второе тайное пребывание мое в Гуляй-Поле. Встреча со старыми товарищами и первые решения по ряду важнейших вопросов организации восстания крестьян и рабочих	37
Глава V. — В пути: по районам и вокруг Гуляй-Поля	49
Глава VI. — Немецко-австрийские войска в деревне Марфополь после уничтожения нами их отряда. Мы в Гуляй-Поле	64
Глава VII. — Наша остановка в селе Больше-Михайловке. Встреча с отрядом Шуса и присоединение этого отряда к нам	72
Глава VIII. — Дибривский бой. Роль дибривских крестьян в нем. Последствия этого боя	87
Глава IX. — В пути по Дибривскому и другим районам	97
Глава X. — Наша остановка в помещичьем имении и дальнейший путь по районам. Наши действия против помещиков и кулаков — участников нападения на Дибривки	101
Глава XI. — За сбором оружия и в новых боях	129
Глава XII. — Наша стоянка в деревне Темировке. Налет на нас одного из карательных отрядов мад'ярских частей австрийской армии и его победа над нами	131

Глава XIII.	— Требование-маневр к немецко-австрийским и гетманским властям. Первые командиры боеучастков. Провокаторы и шпионы. Наши планы о дальнейшей борьбе с возвратившимися помещиками и кулаками. Мой об'езд районов	138
Глава XIV.	— „Махно убит”. Напрасное злорадство врагов революции	160
Глава XV.	— Освобожденные из тюрем гуляйпольцы. Положение повстанческого Штаба. Его фронты. Рост контр-революции. Недостаток в анархических силах. Переговоры с екатеринославскими военными властями войск Директории. Об'явление Директорией мобилизации. Наше отношение к Директории и начальные методы борьбы с ней. Недоразумение с немецко-австрийским командованием	165
Приложение:	— Гуляй-Поле в русской революции	180

Библиотека репринтных изданий

Махно Нестор
ВОСПОМИНАНИЯ

Книга 2 — 3

Репринтное воспроизведение изданий 1936, 1937 гг.

Дефекты текста, встречающиеся в книге,
обусловлены состоянием оригинала